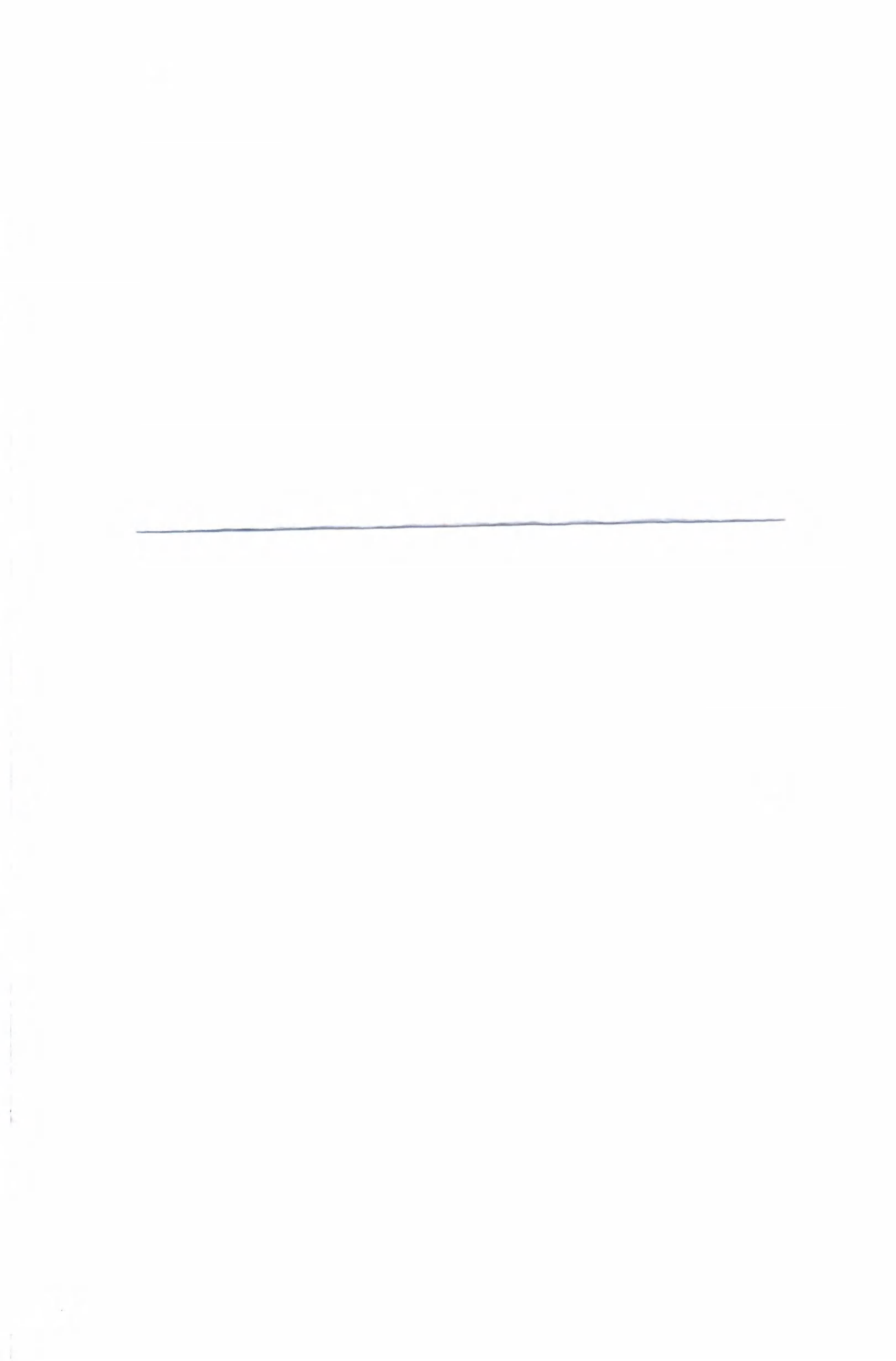
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО



УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Сказки

НЕ УСТОЯТЬ ХУДУ ПРОТИВ ДОБРА

Жила в одной деревне крестьянка, вдова. Жила она долго и сына своего, Ивана, растила.

И вот настала пора – вырос Иван. Радуется мать, что он большой стал, да худо, что он у нее бесталанным[1] вырос. И правда: всякое дело у Ивана из рук уходит, не как у людей; всякое дело ему не в пользу и впрок, а все поперёк.

Поедет, бывало, Иван пахать, мать ему и говорит:

– Сверху-то земля оплошала, поверху она хлебом съедена, ты ее, сынок, поглубже малость паши!

Иван вспашет поле поглубже, до самой глины достанет и глину наружу обернет; посеет потом хлеб – не родится ничего, и семенам извод.

Так и в другом деле: старается Иван сделать по-доброму, как лучше надо, да нет у него удачи и разума мало. А мать стара стала, работа ей непосильна. Как им жить? И жили они бедно, ничего у них не было.

Вот доели они последнюю краюшку хлеба, самую остатнюю. Мать и думает о сыне – как он будет жить, бесталанный! Нужно бы женить его: у разумной жены, гляди-ко, и неудельный муж в хозяйстве работник и даром хлеба не ест. Да кто, однако, возьмет в мужья ее бесталанного сына? Не только что красная девица, а и вдова, поди, не возьмет!

Покуда мать кручинилась так-то, Иван сидел на завалинке и ни о чем не горевал.

Глядит он – идет старичок, собою ветхий, обомшелый, и земля въелась ему в лицо, ветром нагнало.

– Сынок,– старичок говорит,– покорми меня: отощал я за дальнюю дорогу, в суме́ ничего не осталось.

Иван ему в ответ:

– А у нас, дедушка, крошки хлеба нету в избе. Знать бы, что ты придешь, я бы давеча сам последней краюшки не ел, тебе бы оставил. Иди, я тебя хоть умою и рубаху твою ополощу.

---

[1] *Бесталáнный* – неудачник; старинное русское слово *талáн* означало: «удача», «счастье».

Истопил Иван баню, вымыл в бане прохожего старика, всю грязь с него смыл, веником попарил его, а потом и рубаху и порты его начисто ополоскал и спать в избе положил.

Вот старик тот отдохнул, проснулся и говорит:

– Я твое добро упомню. Коли будет тебе худо, пойди в лес. Дойдешь до места, где две дороги расстаются, увидишь, там серый камень лежит,– толкни тот камень плечом и кликни: дедушка, мол,– я тут и буду.

Сказал так старик и ушел. А Ивану с матерью совсем худо стало: все поскрёбышки из ларя собрали, все крошки поели.

– Обожди меня, матушка,– сказал Иван. – Может, я хлеба тебе принесу.

– Да уж где тебе! – ответила мать. – Где тебе, бесталанному, хлеба взять! Сам-то хоть поешь, а я уж, видно, не евши помру... Невесту бы где сыскал себе, – глядь, при жене-то, коли разумница окажется, всегда с хлебом будешь.

Вздохнул Иван и пошел в лес. Приходит он на место, где дороги расстаются, тронул камень плечом, камень и подался. Явился к Ивану тот дедушка.

– Чего тебе? – говорит. – Аль в гости пришел?

Повел дедушка Ивана в лес. Видит Иван – в лесу богатые избы стоят. Дедушка и ведет Ивана в одну избу,– знать, он тут хозяин. Велел старик кухонному мóлодцу да бабке-стряпухе изжарить на первое дело барана. Стал хозяин угощать гостя. Поел Иван и еще просит.

– Изжарь,– говорит,– другого барана и хлеба краюху подай.

Дедушка-хозяин велел кухонному молодцу другого барана изжарить и подать ковригу пшеничного хлеба.

– Изволь,– говорит,– угощайся, сколь у тебя душа примет. Аль не сыт?

– Я-то сыт,– отвечает Иван,– благодарствую тебе, а пусть твой молодец отнесет хлеба краюшку да барана моей матушке, она не евши живет.

Старый хозяин велел кухонному молодцу снести матери Ивана две ковриги белого хлеба и целого барана. А потом и говорит:

– Отчего же вы с матерью не евши живете? Вырос ты большой, гляди – женишься, чем семейство прокормишь?

Иван ему в ответ:

– А незнамо как, дедушка! Да нету жены у меня.

— Эко горе какое! — сказал хозяин. — А отдам-ко я свою дочь тебе в замужество. Она у меня разумница, ее ума-то вам на двоих достанет.

Кликнул старик свою дочь. Вот является в горницу прекрасная де́вица. Такую красоту и не видел никто, и неизвестно было, что она есть на свете. Глянул на нее Иван, и сердце в нем приостановилось.

Старый отец посмотрел на дочь со строгостью и сказал ей:

— Вот тебе муж, а ты ему жена.

Прекрасная дочь только взор потупила.

— Воля ваша, батюшка.

Вот поженились они и стали жить-поживать. Живут они сыто, богато, жена Ивана домом правит, а старый хозяин редко дома бывает: он ходит по миру, премудрость среди народа ищет, а когда найдет ее, возвращается ко двору и в книгу записывает.

А однажды старик принес волшебное круглое зеркальце. Принес он его издалече, от мастера-волшебника с холодных гор,— принес да и спрятал.

Мать Ивана жила теперь сыта и довольна, а жила она, как и прежде, в своей избе на деревне. Сын звал ее жить к себе, да мать не захотела: не по душе ей была жизнь у невестки.

— Боюсь я, сынок,— сказала матушка Ивану. — Ишь она, Еленушка, жена твоя, красавица писаная какая, богатая да знатная,— чем ты ее заслужил? Мы-то с отцом твоим в бедности жили, а ты и вовсе без судьбы родился.

И осталась мать Ивана жить в своей старой избушке. А Иван живет и думает: правду говорит матушка; всего будто довольно у него, и жена ласковая, сло́ва поперек не скажет, а чувствует Иван, словно всегда холодно ему. И живет он так с молодой женой вполжитья-вполбытья, а нет чтобы вовсе хорошо.

Вот приходит однажды старик к Ивану и говорит:

— Уйду я далече, далее, чем прежде ходил, вернусь не скоро. Возьми-ко, на́ тебе, ключ от меня; прежде я при себе его носил, да теперь боюсь потерять: дорога-то мне дальняя. Ты ключ береги и амбар им не отпирай. А уж пойдешь в амбар, так жену туда не веди. А коль не стерпишь и жену поведешь, так цветное платье ей не давай. Время придет, я сам ей выдам, для нее и берегу. Гляди-ко, запомни, что я тебе сказал, а то жизнь свою в смерти потеряешь!

Сказал старик и ушел.

Прошло еще время. Иван и думает: «А чего так! Пойду-ко я в амбар да погляжу, что там есть, а жену не поведу!»

Пошел Иван в тот амбар, что всегда взаперти стоял, открыл его, глядит — там золото кусками лежит, и камни как жар горят, и еще добро, которому Иван и имени не знал. А в углу амбара еще чулан был либо тайное место, и дверь туда вела. Иван открыл только дверь в чулан — и ступить туда не успел, как уже крикнул нечаянно:

— Еленушка, жена моя, иди сюда скорее!

В чулане том висело самоцветное женское платье; оно сияло, как ясное небо, и свет, как живой ветер, шел по нему. Иван обрадовался, что увидел такое платье: оно как раз впору будет его жене и придется ей по нраву.

Вспомнил было Иван, что старик не велел ему платье жене давать,— да что с платьем станется, если он его только покажет!

Пришла жена. Увидала она платье и руками всплеснула.

— Ах,— говорит,— каково платье доброе!

Вот она просит у Ивана:

— Одень меня в это платье да пригладь, чтоб ладно сидело.

А Иван не велит ей в платье одеваться. Она тогда и плачет:

— Ты,— говорит,— знать, не любишь меня: доброе платье такое для жены жалеешь. Дай мне хоть руки продеть, я пощупаю, каково платье,— может, не годится.

Иван велел ей:

— Продень,— говорит, — испытай, каково тебе будет.

Жена продела руки в рукава и опять к мужу:

— Не видать ничего. Вели голову в ворот сунуть.

Иван велел. Она голову сунула, да и дернула платье на себя, да и оболоклась вся в него. Нащупала она, что в одном кармане зеркальце лежит, вынула его и погляделась.

— Ишь,— говорит,— какая красавица, а за бесталанным мужем живет! Стать бы мне птицей, улетела бы я далеко-далеко!

Вскрикнула она высоким голосом, всплеснула руками, глядь — и нету ее. Обратилась она в голубицу и улетела из амбара далеко-далеко в синее небо, куда пожелала. Знать, платье она надела волшебное.

Загоревал тут Иван. Да чего горевать — положил он в котомку хлеба и пошел искать жену.

— Эх,— сказал он,— злодейка какая, отца ослушалась, с родительского двора без спросу ушла! Сыщу ее, научу уму-разуму!

Сказал он так, да вспомнил, что сам живет бесталанным, и заплакал.

Вот идет он путем, идет дорогой, идет тропинкой,– плохо ему, горюет он по жене.

Видит Иван – щука у воды лежит, совсем помирает, а в воду слезть не может.

«Гляди-ко,– думает Иван,– мне-то плохо, а ей того хуже».

Поднял он щуку и пустил ее в воду. Щука сейчас нырнула в глубину да обратно кверху, высунула голову и говорит:

– Я добро твое не забуду. Станет тебе горько – скажи только: «Щука, щука, вспомни Ивана!»

Съел Иван кусок хлеба и пошел дальше. Идет он, идет, а время уже к ночи. Глядит Иван и видит: коршун воробья поймал, в когтях его держит и хочет склевать. «Эх,– думает Иван,– мне беда, а воробью смерть!»

Пугнул Иван коршуна, тот и выпустил из когтей воробья.

Сел воробей на ветку, говорит Ивану:

– Будет тебе нужда – покличь меня: «Эй, мол, воробей, вспомни мое добро!»

Заночевал Иван под деревом, а наутро пошел дальше. И уже далеко он от своего дома отошел, приустал и телом стал тощий, так что и одежду на себе рукой поддерживает, а идти ему было далече. И шел Иван еще целый год и полгода. Прошел он всю землю, дошел до моря,– дальше идти некуда.

Спрашивает он у жителя:

– Чья тут земля, кто тут царь и царица?

Житель отвечает:

– У нас в царицах Елена Премудрая. Она все знает – у нее книга такая есть, где все написано; и она все видит – у нее зеркало такое есть. Она и тебя сейчас видит, небось.

И правда, Елена увидела Ивана в свое зеркальце. У нее была Дарья-прислужница. Вот Дарья обтерла рушником пыль с зеркальца, сначала сама взглянула в него, собой полюбовалась, а потом увидела в нем чужого мужика.

– Никак, чужой мужик идет! – сказала прислужница Елене Премудрой. – Издалека, видать, идет: худой да оплошалый весь и лапти стоптал.

Глянула в зеркальце Елена Премудрая.

– И то,– говорит,– чужой! Это муж мой явился.

Подошел Иван к царскому двору. Видит – двор тыном ого-

рожен. А в тыне колья, а на кольях человечьи мертвые головы; только один кол пустой, ничего нету.

Спрашивает Иван у жителя — чего такое, дескать?

А житель ему:

— А это,— говорит,— женихи царицы нашей, Елены Премудрой. Царица-то наша красоты несказáнной и по уму волшебница. Вот и сватаются к ней женихи, знатные да удалые. А ей нужен такой жених, чтобы ее перемудрил, вот какой! А кто ее не перемудрит, тех она казнит смертью. Теперь один кол остался: это тому, кто еще к ней в мужья придет.

— Да вот я к ней в мужья иду! — сказал Иван.

— Стало быть, и кол пустой тебе,— ответил прохожий и пошел туда, где изба его стояла.

Пришел Иван к Елене Премудрой. А Елена сидит в своей царской горнице, и платье на ней отцовское, в которое она самовольно в амбаре оболоклась.

— Чего тебе надобно? — спрашивает Елена Премудрая. — Зачем явился?

— На тебя поглядеть,— Иван ей говорит,— я по тебе скучаю. Аль ты не жена мне боле?

— Была я тебе жена,— царица ему говорит,— да ведь я теперь не прежняя. Какой ты мне муж — бесталанный мужик! Хочешь меня в жёны, так заслужи меня снова! А не заслужишь, голову с плеч долой! Вон кол пустой в тыне торчит.

— Кол пустой по мне не скучает,— сказал Иван.— Гляди, как бы ты по мне не соскучилась. Скажи: чего тебе исполнить?

Царица ему в ответ:

— Исполни, что я велю! Укройся от меня где хочешь, хоть на краю света, чтоб я тебя не нашла, а и нашла, так не узнала бы. Тогда ты будешь умнее меня и я стану твоей женой. А не сумеешь в тайности быть, угадаю я тебя,— голову потеряешь.

— Дозволь,— попросил Иван,— до утра на соломе поспать и хлеба твоего покушать, а утром я исполню твое желание.

Вот вечером постелила прислужница Дарья соломы в сенях и принесла хлеба краюшку да кувшин с квасом. Лег Иван и стал думу думать.

И видит он: пришла Дарья, села в сенях на крыльцо, распростёрла светлое платье царицы и стала в нем штопать прореху. Штопала-штопала, зашивала-зашивала Дарья прореху, а потом и заплакала.

Спрашивает ее Иван:

— Чего ты, Дарья, плачешь?

— Как мне не плакать,— Дарья отвечает,— если завтра смерть моя будет! Велела мне царица прореху в платье зашить, а иголка не шьет его, а только распарывает: платье-то уж таково нежное, от иглы разверзается. А не зашью, казнит меня наутро царица.

— Дай-ко я шить попробую,— говорит Иван,— может, зашью, и тебе умирать не надо.

— Да как тебе платье такое дать! — Дарья говорит. — Царица сказывала: мужик ты бесталанный... Однако попробуй маленько, а я погляжу.

Сел Иван за платье, взял иглу и начал шить. Видит — и правда, не шьет игла, а рвет: платье-то легкое, словно воздух, не может в нем игла приняться. Бросил Иван иглу и стал руками каждую нить с другой нитью связывать.

Увидела Дарья и рассерчала на Ивана:

— Нету в тебе уменья! Да как же ты руками все нитки в прорехе свяжешь? Их тут тыщи великие!

— А я их с хотеньем да с терпеньем, гляди, и свяжу! — ответил Иван. — А ты иди да спать ложись, к утру-то я, гляди, и отделаюсь.

Всю ночь работал Иван. Месяц с неба светил ему, да и платье светилось само по себе, как живое, и видел он каждую его нить.

К утренней заре управился Иван. Поглядел он на свою работу: нету больше прорехи, повсюду платье теперь цельное. Поднял он платье на руку и чувствует: стало оно словно бы тяжелым. Оглядел он платье: в одном кармане книга лежит — в нее старик, отец Елены, записывал всю мудрость; а в другом кармане — круглое зеркальце, которое старик принес от мастера-волшебника из холодных гор. Поглядел Иван в зеркальце — видно в нем, да смутно; почитал он книгу — не понял ничего. Подумал тогда Иван: «Люди говорят, я бесталанный,— правда и есть».

Наутро пришла Дарья-прислужница; взяла она готовое платье, осмотрела его и сказала Ивану:

— Благодарствую тебе. Ты меня от смерти спас, и я твое добро упомню.

Вот встало солнце над землею, пора Ивану уходить в тайное место, где царица Елена его не отыщет. Вышел он во двор, ви-

дит – стог сена сложен стоит; залег он в сено, думал, что вовсе укрылся, а на него дворовые собаки брешут и Дарья с крыльца кричит:

– Экой бесталанный! Я и то вижу тебя, не токмо что царица! Вылезай оттуда, сено лаптями не марай!

Вылез Иван и думает: куда ему податься? Увидел – море близко. Пошел он к морю и вспомнил щуку.

– Щука,– говорит,– щука, вспомни Ивана!

Щука высунулась из воды.

– Иди,– говорит,– я тебя на дно моря упрячу!

Бросился Иван в море. Утащила его щука на дно, зарыла там в песок, а воду хвостом замутила.

Взяла Елена Премудрая свое круглое зеркальце, навела его на землю: нету Ивана; навела на небо: нету Ивана; навела на море, на воду: и там не видать Ивана, одна вода мутная. «Я-то хитра, я-то умна,– думает царица,– да и он-то не прост, Иван Бесталанный!»

Открыла она отцовскую книгу мудрости и читает там: «Сильна хитрость ума, а добро сильнее хитрости, добро и тварь помнит». Прочитала царица эти слова сперва по писанному, а потом по неписанному, и книга сказала ей: лежит-де Иван в песке на дне морском; кликни щуку, вели ей Ивана со дна достать, а не то, мол, поймаю тебя, щуку, и в обеде съем.

Послала царица Дарью-прислужницу, велела ей кликнуть из моря щуку, а щука пусть Ивана со дна ведет.

Явился Иван к Елене Премудрой.

– Казни меня,– сказывает,– не заслужил я тебя.

Одумалась Елена Премудрая: казнить всегда успеется, а они с Иваном не чужие друг другу, одним семейством жили.

Говорит она Ивану:

– Поди укройся сызнова. Перехитришь ли меня, нет ли, тогда и буду казнить тебя либо миловать.

Пошел Иван искать тайное место, чтобы царица его не нашла. А куда пойдешь! У царицы Елены волшебное зеркальце, она в него все видит, а что в зеркальце не видно, про то ей мудрая книга скажет.

Кликнул Иван:

– Эй, воробей, помнишь ли мое добро?

А воробей уже тут.

– Упади на землю,– говорит,– стань зернышком!

Упал Иван на землю, стал зернышком, а воробей склевал его.

Елена Премудрая навела зеркальце на землю, на небо, на воду – нету Ивана. Все есть в зеркальце, а что нужно, того нет. Осерчала премудрая Елена, бросила зеркальце об пол, и оно разбилось. Пришла тогда в горницу Дарья-прислужница, собрала в подол осколки от зеркальца и унесла их в черный угол двора.

Открыла Елена Премудрая отцовскую книгу. И читает там: «Иван в зерне, а зерно в воробье, а воробей сидит на плетне».

Велела тогда Елена Дарье позвать с плетня воробья: пусть воробей отдаст зернышко, а не то его самого коршун съест.

Пошла Дарья к воробью. Услышал Дарью воробей, испугался и выбросил из клюва зернышко. Зернышко упало на землю и обратилось в Ивана. Стал он, как был.

Вот Иван является опять пред Еленой Премудрой.

– Казни меня теперь,– говорит,– видно, и правда я бесталанный, а ты премудрая.

– Завтра казню,– сказывает ему царица. – Завтрашний день я на остатний кол твою голову повешу.

Лежит вечером Иван в сенях и думает, как ему быть, когда утром надо помирать. Вспомнил он тогда свою матушку. Вспомнил, и легко ему стало – так он любил ее.

Глядит он – идет Дарья и горшок с кашей ему несет.

Поел Иван каши. Дарья ему и говорит:

– Ты царицу-то нашу не бойся. Она не дюже злая.

А Иван ей:

– Жена мужу не страшна. Мне бы только успеть уму-разуму ее научить.

– Ты завтра на казнь-то не спеши. – Дарья ему говорит,– а скажи – у тебя дело есть, помирать, мол, тебе нельзя: в гости матушку ждешь.

Вот наутро говорит Иван Елене Премудрой:

– Дозволь еще малость пожить: я матушку свою увидеть хочу,– может, она в гости придет.

Поглядела на него царица.

– Даром тебе жить нельзя,– говорит. – А ты утаись от меня в третий раз. Не сыщу я тебя – живи, так и быть.

Пошел Иван искать себе тайного места, а навстречу ему Дарья-прислужница.

– Обожди,– велит она,– я тебя укрою. Я твое добро помню.

Дунула она в лицо Ивана, и пропал Иван, превратился он в

теплое дыхание женщины. Вдохнула Дарья и втянула его себе в грудь. Пошла потом Дарья в горницу, взяла царицыну книгу со стола, отерла пыль с нее да открыла ее и дунула в нее: тотчас дыхание ее обратилось в новую заглавную букву той книги, и стал Иван буквой. Сложила Дарья книгу и вышла вон.

Пришла вскоре Елена Премудрая, открыла книгу и глядит в нее: где Иван? А книга ничего не говорит. А скажет — непонятно царице; не стало, видно, смысла в книге. Не знала того царица, что от новой заглавной буквы все слова в книге переменились.

Захлопнула книгу Елена Премудрая и ударила ее обземь.

Все буквы рассыпались из книги, а первая, заглавная буква как ударилась, так и обратилась в Ивана.

Глядит Иван на Елену Премудрую, жену свою, глядит и глаз отвести не может. Засмотрелась тут и царица на Ивана, а засмотревшись, улыбнулась ему. И стала она еще прекраснее, чем прежде была.

— Я думала,— говорит она,— муж у меня мужик бесталанный, а он и от волшебного зеркала утаился, и книгу мудрости перехитрил!

Стали они жить в мире и согласии и жили так до поры до времени. Да спрашивает однажды царица у Ивана:

— А чего твоя матушка в гости к нам не идет?

Отвечает ей Иван:

— И то правда! Да ведь и батюшки твоего нету давно! Пойду-ко я наутро за матушкой да за батюшкой.

А наутро чуть свет матушка Ивана и батюшка Елены Премудрой сами в гости к своим детям пришли. Батюшка-то Елены дорогу ближнюю в ее царство знал,— они коротко шли и не притомились.

Иван поклонился своей матушке, а старику так в ноги упал.

— Худо,— говорит,— батюшка! Не соблюдал я твоего запрету. Прости меня, бесталанного!

Обнял его старик и простил.

— Спасибо тебе,— говорит,— сынок. В платье заветном прелесть была, в книге — мудрость, а в зеркальце — вся видимость мира. Думал я — собрал для дочери приданое, не хотел только дарить его до времени. Все я ей собрал, а того не положил, что в тебе было,— главного талану: доброты. Пошел я было за ним далече, а он близко оказался. Видно, не кладется он и не дарится, а самим человеком добывается.

Заплакала тут Елена Премудрая, поцеловала Ивана, мужа своего, и попросила у него прощения.

С тех пор стали жить они славно – и Елена с Иваном, и родители их. И до сей поры живут.

УМНАЯ ВНУЧКА

Жили старик со старухой, и с ними внучка Дуня жила. И не такая уж Дуня была красивая, как в сказках сказывается, только умная она была и охотная к домашней работе.

Вот раз собираются старики на базар в большое село и думают: как им быть-то? Кто им щи сварит и кашу сготовит, кто корову напоит и подоит, кто курам проса даст и на насест их загонит?

А Дуня им говорит:

– Кто ж, как не я! Я и щи вам сварю и кашу напарю, я и корову из стада встречу и на ночь ее обряжу, я и кур угомоню, я и в избе приберу, я и сено поворошу, пока вёдро[1] стоит во дворе.

– Да ты мала еще, внученька,– говорит ей бабушка,– семь годов всего сроку тебе!

– Семь – не два, бабушка, семь – это много! Я управлюсь!

Уехали дедушка с бабушкой на базар, а к вечеру воротились. Видят они – и правда: в избе прибрано, еда сготовлена, на дворе порядок, скотина и птица сытые, сено просушено, плетень починен (дедушка-то два лета собирался его починить), вокруг колодезного сруба песком посыпано. Наработано столько, словно тут четверо было.

Глядят старик со старухой на свою внучку и думают: жить им теперь да радоваться!

Однако недолго пришлось бабушке радоваться на внучку: заболела бабушка и померла. Остался старик один с Дуней. Трудно было дедушке одному остаться на старости лет. Вот живут они одни, без бабушки. Дуня ублажает дедушку и всякую работу в хозяйстве справляет одна; хоть и мала была, да ведь прилежна.

Случилось дедушке в город поехать, надобность пришла. По дороге он нагнал богатого соседа, тот тоже в город ехал. По-

[1] *Вёдро* – хорошая, ясная погода.

ехали они вместе. Ехали-ехали, и ночь наступила. Богатый сосед и бедный Дунин дедушка увидели огонек в придорожной избе и постучались в ворота. Стали они на ночлег, распрягли лошадей; у Дуниного дедушки-то была кобыла, а у богатого мужика мерин.

Ночью дедушкина лошадь родила жеребенка, а жеребенок несмышлёный, отвалился он от матери и очутился под телегой того богатого мужика.

Проснулся утром богатый.

— Гляди-ко, сосед,— говорит он старику,— у меня мерин жеребенка ночью родил!

— Как можно! — дедушка говорит. — В камень просо не сеют, а мерин жеребят не рожает! Это моя кобыла принесла!

А богатый сосед:

— Нет,— говорит,— это мой жеребенок! Кабы твоя кобыла принесла, жеребенок-то и был бы возле нее! А то ишь где — под моей телегой!

Заспорили они, а спору конца нету: у бедного правда, а у богатого выгода, один другому не уступает.

Приехали они в город. В том городе в те времена царь жил. А царь тот был самый богатый человек во всем царстве, он считал себя самым умным и любил судить-рядить своих подданных.

Вот пришли богатый и бедный к царю-судье. Дунин дедушка и жалуется царю:

— Не отдает мне богатый жеребенка, говорит-де, жеребенка мерин родил!

А царю-судье что за дело до правды: он и так и этак мог рассудить, да ему сперва потешиться захотелось.

И он сказал:

— Вот четыре загадки вам — кто решит, тот и жеребенка получит. Что всего на свете сильней и быстрей? Что всего на свете жирней? А еще: Что всего мягче?—и: Что всего милее?

Дал им царь сроку три дня — на четвертый день чтобы ответ был. А пока суд да дело, царь велел оставить у себя во дворе и дедушкину лошадь с жеребенком и телегой, и мерина богатого мужика: пусть и бедный и богатый пешими живут, пока их царь не рассудит.

Пошли богатый и бедный домой. Богатый думает: пустое, дескать, царь загадал, я отгадки знаю. А бедный горюет: не знает он отгадок.

Дуня встретила дедушку. Рассказал он внучке, как дело было, и заплакал: жалко ему жеребенка.

— А еще,— дедушка говорит,— царь загадки загадал, а я отгадок не знаю. Где уж мне их отгадать!

— А скажи, дедушка, каковы загадки? Не умнее они ума.

Дедушка сказал загадки. Дуня послушала и говорит в ответ:

— Поедешь к царю и скажешь: сильнее и быстрее всего на свете ветер; жирнее всего — земля: что ни растет на ней, что ни живет — все она питает; а мягче всего на свете руки, дедушка: на что человек ни ляжет, все руку под голову кладет; а милее сна ничего на свете не бывает, дедушка.

Через три дня пришли к царю-судье Дунин дедушка и его богатый сосед. Богатый и говорит царю:

— Хоть и мудрые твои загадки, сударь наш судья, а я их сразу отгадал. Сильнее и быстрее всего — так это каряя кобыла из вашей конюшни: коли кнутом ее ударить, так она зайца догонит. А жирнее всего — так это тоже ваш рябой боров: он такой жирный стал, что давно на ноги не подымается. А мягче всего ваша пуховая перина, на которой вы почиваете. А милее всего ваш сынок Никитушка!

Послушал царь-судья — и к старику-бедняку:

— А ты что скажешь? Принес отгадку или нет?

Старик и отвечает, как внучка его научила. Отвечает, а сам боится: должно быть, не так он отгадывает; должно быть, богатый сосед правильно сказал.

Царь-судья выслушал и спрашивает:

— Сам ты придумал ответ иль научил тебя кто?

Старик правду говорит:

— Да где ж мне самому-то, царь-суда́рь! Внучка у меня есть, таково́ смышлёная да умелая, она и научила меня.

Царю любопытно стало да и забавно, а делать ему все равно нечего.

— Коли умна твоя внучка,— говорит царь-судья,— и на дело умелая, отнеси ей вот эту ниточку шелковую. Пусть она соткет мне полотенце узорчатое, и чтоб к утру готово было. Слыхал иль нет?

— Слышу, слышу! — отвечает дедушка царю. — Аль я уж бестолковый такой?

Спрятал он ниточку за пазуху и пошел домой. Идет, а сам

робеет: где уж тут из одной нитки целое полотенце соткать,– того и Дунюшка не сумеет... Да к утру, да еще и с узорами!

Выслушала Дуня своего деда и говорит:

– Не кручинься, дедушка, это не беда еще!

Взяла она веник, отломила от него прутик, подала дедушке и говорит:

– Пойди к царю-судье этому и скажи ему: пусть найдет он такого мастера, который сделает из этого прутика кросны[1], чтобы было мне на чем полотенце ткать.

Пошел старик опять к царю. Идет, а сам другой беды ждет, другой задачи, на которую и ума у Дунюшки не хватит.

Так оно и вышло.

Дал царь старику полтораста яиц и велел, чтобы стариковская внучка к завтрашнему дню полтораста цыплят вывела.

Вернулся дед ко двору.

– Одна беда не ушла,– говорит,– другая явилась.

И рассказал он внучке новую царскую задачу.

А Дуня ему в ответ:

– И это еще не беда, дедушка!

Взяла она яйца, испекла их и к ужину подала.

А на другой день говорит:

– Ступай, дедушка, сызнова к царю. Скажи ему, чтобы прислал он цыплятам на корм однодневного пшена: пусть в один день поле вспашут, просом засеют, созреть дадут, а потом сожнут да обмолотят, провеют и обрушат. Скажи царю: цыплята другого пшена не клюют, того гляди, помрут.

И пошел дед сызнова. Выслушал его царь-судья и говорит:

– Хитра твоя внучка, да и я не прост. Пусть твоя внучка явится утром ко мне – ни пешком, ни на лошади, ни голая, ни одетая, ни с гостинцем, да и не без подарочка!

Пошел дед домой. «Эка прихоть!» – думает.

Как узнала Дуня новую загадку, то загорюнилась было, а потом повеселела и говорит:

– Ступай, дедушка, в лес к охотникам да купи мне живого зайца и перепелку живую... Ан нет, ты не ходи, ты старый, ты уморился ходить, ты отдыхай. Я сама пойду. Я маленькая, мне охотники и даром дадут зайца и перепелку, а покупать их нам не на что.

---

[1] *Кро́сны* – ткацкий стан.

Отправилась Дунюшка в лес и принесла оттуда зайца да перепелку. А как наступило утро, сняла с себя Дуня рубаху, надела рыбацкую сеть, взяла в руки перепелку, села верхом на зайца и поехала к царю-судье.

Царь, как увидел ее, удивился и испугался:

— Откуда страшилище едет такое? Прежде не видано было такого урода!

А Дунюшка поклонилась царю и говорит:

— Вот тебе, батюшка, принимай, что принести велено было!

И подает ему перепелку. Протянул руку царь-судья, а перепелка — порх! — и улетела.

Поглядел царь на Дуню.

— Ни в чем,— говорит,— не отступила: как я велел, так ты и приехала. А чем вы,— спрашивает,— кормитесь с дедом?

Дуня и отвечает царю:

— А мой дедушка на сухом берегу рыбу ловит, он сетей в воду не становит. А я подолом рыбу домой ношу да уху в горсти варю!

Царь-судья осердился:

— Что ты говоришь, глупая! Где это рыба на сухом берегу живет? Где уху в горстях варят?

А Дуня против ему:

— А ты-то ль умен? Где это видано, чтобы мерин жеребенка родил? А в твоем царстве и мерин рожает!

Озадачился тут царь-судья:

— А как узнать было, чей жеребенок? Может, чужой забежал!

Осерчала Дунюшка.

— Как узнать? — говорит. — Да тут бы и дурень рассудил, а ты царь! Пусть мой дедушка на своей лошади в одну сторону поедет, а богатый сосед — в другую. Куда побежит жеребенок, там и матерь его.

Царь-судья удивился:

— А ведь и правда! Как же я-то не рассудил, не догадался?

— А коли бы ты по правде судил,— ответила Дуня,— тебе бы и богатым не быть.

— Ах ты, язва! — сказал царь. — Что далее из тебя выйдет, когда ты большая вырастешь?

— А ты рассуди сперва, чей жеребенок, тогда я и скажу тебе, кем я большая буду!

Царь-судья назначил тут суд на неделе. Пришли на царский

двор Дунин дедушка и сосед их богатый. Царь велел вывести их лошадей с телегами. Сел Дунин дедушка в свою телегу, а богатый в свою, и поехали они в разные стороны. Царь и выпустил тогда жеребенка, а жеребенок побежал к своей матери, дедушкиной лошади. Тут и суд весь. Остался жеребенок у дедушки.

А царь-судья спрашивает у Дуни:

– Скажи теперь, кем же ты большая будешь?

– Судьею буду.

Царь засмеялся:

– Зачем тебе судьею быть? Судья-то ведь я!

– Тебя чтоб судить!

Дедушка видит – плохо дело, как бы царь-судья не рассерчал. Схватил он внучку да в телегу ее. Погнал он лошадь, а жеребенок рядом бежит.

Царь выпустил им вослед злого пса, чтобы он разорвал и внучку и деда. А Дунин дедушка хоть и стар был, да сноровист и внучку в обиду никому не давал. Пес догнал телегу, кинулся было, а дед его кнутовищем, кнутовищем, а потом взял запасную важку-оглобельку, что в телеге лежала, да оглобелькой его – пес и свалился.

А дедушка обнял внучку.

– Никому, никому,– говорит,– я тебя не отдам: ни псу, ни царю. Расти большая, умница моя.

Былина

ТРИ ПОЕЗДКИ ИЛЬИ МУРОМЦА

Из того ли из города из Му́рома,
Из того ли села да Карача́рова,
Была тут поездка богатырская;
Выезжает оттуда да добрый молодец,
Старый казак да Илья Муромец,
На своем ли выезжает на добро́м коне,
И во том ли выезжает во кованом седле,
И он ходил-гулял, да добрый молодец,
От младости гулял да он до старости;
Едет добрый молодец да во чисто́м поле,

И увидел добрый молодец алатырь-камешек[1],
И от камешка лежат три дороженьки,
И на камешке было написано:
«По первой дороженьке ехать — убитым быть,
По другой дороженьке ехать — женатым быть,
По третьей дороженьке ехать — богатым быть».
Стоит старенький да удивляется,
Головой качает, сам выговаривает:
«Сколько лет я во чистóм поле гулял да езживал,
А еще такого чуда не видывал;
Но на что поеду по дороженьке, где богатым быть?
Нет у меня да молодой жены,
И молодой жены да любимой семьи,
Некому держать-тощить[2] да золотую казну,
Некому держать да платья цвéтные!
Но на что мне по дорожке ехать, где женатым быть?
Ведь прошла моя теперь вся молодость;
Как молодую жену взять — да то чужá корысть,
А как старую взять — так на печи лежать,
На печи лежать да киселем кормить!
Разве поеду я, добрый молодец,
А и по той дороженьке, где убитым быть?
А и пожил я, добрый молодец, на этом свете,
И походил-погулял, добрый молодец, во чистóм поле!»

Как поехал добрый молодец по той дорожке, где убитым быть;
Только видели добра молодца сидя́щиим,
Как не видели добра молодца éдущим;
Во чистóм поле да куревá стоит,
Курева стоит да пыль столбом летит!
С горы нá гору добрый молодец поскакивал,
С холма нá холм добрый молодец попрыгивал,
Он ведь реки-то, озера меж ног пропускал,
Он синие моря-то кругом обскакивал;
Лишь проехал добрый молодец Корéлу проклятую,
Не доехал добрый молодец до Индии до богатоей —

[1] *Ала́тырь* — камень на перекрестке дорог.

[2] *То́щить* — тратить, расходовать.

И наехал добрый молодец на грязи на смоленские,
Где стоят ведь сорок тысяч разбойников –
И тех ли ночных татей-подорожников[1];
И увидели разбойники да добра мóлодца,
Старого казака Илью Муромца,
Закричал разбойничий атаман большой:
«А гой же вы, мои братцы-товарищи,
И разудаленькие вы да добры мóлодцы!
Принимайтесь-ка за добра молодца,
Отбирайте у него да платье цвéтное,
Отбирайте у него да что добрá коня!»
Видит тут старый казак да Илья Муромец,
Видит он тут, что беда пришла,
Да беда пришла да неминуема;
И проговорит тут добрый молодец да таково слово:
«А гой же вы, сорок тысяч разбойников,
И тех ли татей ночных да подорожников!
Ведь как бить-трепать вам будет некого,
Ведь взять-то будет вам со старого да нечего:
Нет у старого да золотой казны,
Нет у старого да платья цвéтного,
А и нет у старого да камня драгоценного!
Только есть у старого один ведь добрый конь,
Добрый конь у старого да богатырскиий,
И на добром коне есть седёлышко,
Есть седёлышко да богатырское –
То не для красы, братцы, и не для басы,
Ради крепости да богатырскоей,
И чтоб можно было сидеть да добру молодцу,
Биться добру молодцу да во чистóм поле;
Да еще есть у старого на коне уздечка тесмя́ная,
И во той ли во уздечке да во тéсмяной
    Как зашито есть по камешку по яхонту –
    То не для красы, братцы, не для басы,
    Ради крепости богатырскоей!
    И где ходит-гуляет мой добрый конь,
    И среди ведь ходит ночи темноей –
    И видно его да за пятнадцать верст;

[1] *Тáти-подорóжники* – разбойники, грабившие на дорогах.

Да еще есть у старого на головушке да шело́м-колпак,
Шелом-колпак да сорока пудов;
То не для красы, братцы, не для басы,
Ради крепости да богатырскоей».
Вскричал-сзычал да громким голосом
Разбойничий да атаман большой:
«Ну что ж вы долго дали старому да выговаривать,
Принимайтесь-ка вы, ребятушки, за дело ратное!»
А и тут ведь старому да за беду стало,
И за великую досаду показалося:
Снимал тут старый со буйной главы да шело́м-колпак,
И он начал, старенький, тут шеломом помахивать:
Как в сторону махнет — так тут улица,
А в другую отмахнет — так переулочек!
Видят тут разбойники, да что беда пришла,
И как беда пришла и неминуемая,
Вскричали тут разбойники да зычным голосом:
«Ты оставь-ка, добрый молодец, да хоть на семена!»
Он прибил-прирубил всю силу неверную
И не оставил разбойничков на семена!
Приехал он ко камешку-ала́тырю
И на камешке надпись надписывал:
«И что очищена та дорожка прямоезжая».

Как поехал старенький по той дорожке, где женатым быть,
Выезжает старенький да во чисто́ поле,
Увидал тут старенький палаты белокаменные,
Приезжает старенький к палатам белокаменным,
Увидала тут его да красна девица,
Сильная поля́ница удалая,
И выходила встречать да добра молодца:
«И пожалуй-ка ко мне, да добрый молодец!»
Она бьет челом ему да низко кланяется,
И берет она добра молодца да за белы́ руки,
За белы руки да за златы́ перстни,
И ведет добра молодца да во палаты белокаменные,
Посадила добра молодца да за дубовый стол,
Стала добра молодца она уга́щивать,
Стала у добра молодца выспрашивать:
«Ты скажи-ка, скажи мне, добрый молодец,

Ты какой земли есть, да какой орды,
И ты чьего же отца есть, да чьей матери?
Еще как же тебя, каким именем зовут,
Как величают тебя по отечеству?»
А и тут ответ-то держал добрый молодец:
«И ты почто спрашиваешь о том, да красна девица?
А я теперь устал, да добрый молодец,
А я теперь устал да отдохнуть хочу!»
Как берет тут красна девица да добра молодца,
И как берет его да за белы́ руки,
За белы руки да за златы́ перстни,
Как ведет тут добра молодца
Во ту ли во спальню богато убранную
И кладет тут добра молодца на ту кроваточку обманчивую,
И проговорит тут молодец да таково слово:
«Ай же ты, душечка да красна девица!
Ты сама ложись на ту кроватку на тисо́вую!»
И как схватил тут добрый молодец да красну девицу,
И схватил он ее да под па́зушки,
И бросил на ту на кроваточку;
Как кроваточка-то подвернулася,
И улетела красна девица во тот да во глубок погреб!
Закричал тут старый казак да зычным голосом:
«А гой же вы, братцы мои да все товарищи,
И разудалые да добры молодцы,
Вот лови-хватай да красну девицу!»
Отворяет погреба глубокие,
Выпускает двенадцать он да добрых молодцев,
И всё сильных могучих богатырей;
Бьют они челом да низко кланяются
Да удалому доброму молодцу —
Старому казаку Илье Муромцу!
И приезжает старенький ко камешку-алатырю,
И на камешке он надпись надписывал:
«И как очищена эта дороженька да прямоезжая».

И направляет добрый молодец да своего коня
Как на ту дороженьку, да где богатым быть:
Во чистом поле наехал на три погреба глубокиих,
И которые насыпаны погреба златом-се́ребром,

Златом-серебром, каменьем драгоценныим;
И забирал тут добрый молодец всё злато-серебро,
И раздавал он злато-серебро нищей братии,
И раздавал злато-серебро сиро́там бесприютныим;
Приезжал добрый молодец ко камешку-алатырю
И на камешке он надпись надписывал:
«И как очищена и эта дорожка прямоезжая».

Песни

ПОСЕВ ЛЬНА[1]

Уж я сеяла, сеяла ленок,
Я сеяла, приговаривала,
Чебота́ми[2] приколачивала:

Ты удайся, удайся, ленок!
Ты удайся, мой беленький ленок!
Лен мой, лен!
Белый лен!

Я полола-полола ленок,
Я полола, приговаривала,
Чеботами приколачивала:

Припев

Уж я дергала-дергала ленок,
Я дергала, приговаривала,
Чеботами приколачивала:

Припев

Уж я стлала, я стлала ленок,
Уж я стлала, приговаривала,
Чеботами приколачивала:

Припев

---

[1] Лён — исконно русская сельскохозяйственная культура, поэтому народ сложил о нем много трудовых и игровых песен.

[2] *Чёботы* — сапоги или высокие башмаки с загнутыми кверху носками.

Я сушила-сушила ленок,
Я сушила, приговаривала,
Чеботами приколачивала:

Припев

Уж я мяла-то, мяла ленок,
Уж я мяла, приговаривала,
Чеботами приколачивала:

Припев

Я трепала-трепала ленок,
Я трепала, приговаривала,
Чеботами приколачивала:

Припев

Я чесала-чесала ленок,
Я чесала, приговаривала,
Чеботами приколачивала:

Припев

Уж я пряла-то, пряла ленок,
Уж я пряла, приговаривала,
Чеботами приколачивала:

Ты удайся, удайся, ленок!
Ты удайся, мой беленький ленок!
Лен мой, лен!
Белый лен!

БЕЛАЯ ЛЕБЁДУШКА И СЕРЫЕ ГУСИ

Из-за лесу, лесу темного
Вылетало стадо лебединое,
А другое гусиное.
Отставала лебедушка
Прочь от стада лебединого;
Приставала лебедушка
Что ко стаду да серы́х гусей.

Не умела лебедушка
По-гусиному кричати.
Стали ее щипать и рвать,
А лебедушка просити:
«Не щипите, гуси серые!
Не сама я залетела к вам,
Не своею я волею,
Занесло меня погодою»[1].

[1] Это старинная свадебная песня; пелась она после того, как невесту и жениха обвенчают. Невеста-лебедь отстала от стада лебединого, то есть из девиц стала моло́душкой.

ИЗ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Михаил Васильевич Ломоносов

1711–1765

* * *

Случились вместе два астрóнома в пиру
И спорили весьма между собой в жару.
Один твердил: Земля, вертясь, круг Солнца ходит;
Другой, что Солнце все с собой планеты водит:
Один Коперник[1] был, другой слыл Птоломей[2].
Тут повар спор решил усмешкою своей.
Хозяин спрашивал: «Ты звезд теченье знаешь?
Скажи, как ты о сем сомненье рассуждаешь?»
Он дал такой ответ: «Что в том Коперник прав,
Я правду докажу, на Солнце не бывав.
Кто видел простака из поваров такого,
Который бы вертел очаг кругом жаркого?»

* * *

Ночною темнотою
Покрылись небеса,
Все люди для покою
Сомкнули уж глаза.
Внезапно постучался
У двери Купидон[3],
Приятной перервался
В начале самом сон.
«Кто так стучится смело?» –
Со гневом я вскричал.
«Согрей обмерзло тело,–
Сквозь дверь он отвечал.–
Чего ты устрашился?
Я мальчик, чуть дышу,
Я ночью заблудился,
Обмок и весь дрожу».
Тогда мне жалко стало.
Я свечку засветил.
Не медливши нимало,
К себе его пустил.
Увидел, что крилами
Он машет за спиной.

---

[1] *Копéрник* Николай (1473–1543) – великий польский астронóм (в стихотворении Ломоносова – старинное произношение: *астрóном*).

[2] *Птоломéй* Клавдий (II век н.э.) – греческий астроном, географ, картограф.

[3] *Купидóн* – в античной мифологии – бог любви; изображался в виде красивого мальчика или юноши с луком и стрелами; считалось, что стрела Купидона, попав в сердце, пробуждает любовь.

Колчан набит стрелами,
Лук стянут тетивой.
Жалея о несчастье,
Огонь я разложил
И при таком ненастье
К камину посадил.
Я теплыми руками
Холодны руки мял,
Я крылья и с кудрями
Досу́ха выжимал.
Он чуть лишь ободрился,
«Каков-то, молвил, лук.
В дожде, чать, повредился».
И с словом стре́лил вдруг.
Тут грудь мою пронзила
Преострая стрела
И сильно уязвила,
Как злобная пчела.
Он громко рассмеялся
И тотчас заплясал.
«Чего ты испугался? –
С насмешкою сказал. –
Мой лук еще годится,
И цел и с тетивой;
Ты будешь век крушиться[1]
Отнынь, хозяин мой».

Гавриил Романович Державин

1743–1816

СНЕГИРЬ

Что ты заводишь песню военну
Флейте подобно, милый снегирь?
С кем мы пойдем войной на Гиену?
Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?
Сильный где, храбрый, быстрый Суворов?
Северны громы в гробе лежат.

Кто перед ратью будет, пылая,
Ездить на кляче, есть сухари;
В стуже и в зное меч закаляя,
Спать на соломе, бдеть до зари;
Тысячи воинств, стен и затворов
С горстью россия́н все побеждать?

Быть везде первым в мужестве строгом,
Шутками зависть, злобу штыком,

[1] *Круши́ться* – огорчаться, печалиться.

Рок низлагать молитвой и богом,
Скиптры[1] давая, зваться рабом,
Доблестей быв страдалец единых,
Жить для царей, себя изнурять?

Нет теперь мужа в свете столь славна:
Полно петь песню военну, снегирь!
Бранна музы́ка[2] днесь не забавна,
Слышен отвсюду томный вой лир;
Львиного сердца, крыльев орлиных
Нет уже с нами! — что́ воевать?

Иван Иванович Дмитриев

1760–1837

МУХА

Бык с плугом на покой тащился по трудах[3],
А Муха у него сидела на рогах,
И Муху же они дорогой повстречали.
«Откуда ты, сестра?» — от этой был вопрос.
А та, поднявши нос,
В ответ ей говорит: «Откуда? — Мы пахали!»

От басни завсегда
Нечаянно дойдешь до были.
Случалось ли подчас Вам слышать, господа:
«Мы сбили! Мы решили!»

---

[1] *Ски́петр* — жезл с драгоценными камнями и искусной резьбой, знак царской власти.

[2] *Бра́нна(я) музыка* — военная музыка (старинное русское слово *брань* означало: «война», «сражение»); слово *му́зыка* в XVIII веке и в первой половине XIX века произносилось как *музы́ка.*

[3] *По труда́х* — т. е. по окончании трудов, работы.

Иван Андреевич Крылов

1769–1844

ПЕТУХ И ЖЕМЧУЖНОЕ ЗЕРНО

Навозну кучу разрывая,
Петух нашел Жемчужное Зерно,
И говорит: «Куда оно?
Какая вещь пустая!
Не глупо ль, что его высóко так ценя́т?
А я бы, право, был гораздо боле рад
Зерну ячменному: оно не столь хоть видно,
Да сытно».

Невежи судят точно так:
В чем толку не поймут, то всё у них пустяк.

ЛЮБОПЫТНЫЙ

«Приятель дорогой, здорóво! Где ты был?» –
«В Кунсткамере[1], мой друг! Часа там три ходил;
Всё видел, высмотрел; от удивленья,
Поверишь ли, не станет ни уменья
Пересказать тебе, ни сил.
Уж подлинно, что там чудес палата!
Куда на выдумки природа торовата!
Каких зверей, каких там птиц я не видал!
Какие бабочки, букашки,
Козявки, мошки, таракашки!
Одни как изумруд, другие как коралл!
Какие крохотны коровки!
Есть, право, менее булавочной головки!» –
«А видел ли слона? Каков собой на взгляд!
Я чай, подумал ты, что гору встретил?» –
«Да разве там он?» – «Там». – «Ну, братец, виноват!
Слона-то я и не приметил».

[1] *Кунстка́мера* – в старину: музей, собрание редкостей, диковинок.

КУКУШКА И ПЕТУХ

«Как, милый Петушок, поешь ты громко, важно!» –
«А ты, Кукушечка, мой свет,
Как тянешь плавно и протяжно:
Во всем лесу у нас такой певицы нет!» –
«Тебя, мой куманёк, век слушать я готова». –
«А ты, красавица, божусь,
Лишь только замолчишь, то жду я не дождусь,
Чтоб начала ты снова...
Отколь такой берется голосок?
И чист, и нежен, и высок!..
Да вы уж родом так: собою невелички,
А песни – что твой соловей!» –
«Спасибо, кум; зато, по совести моей,
Поешь ты лучше райской птички.
На всех ссылаюсь в этом я».
Тут Воробей, случась, примолвил им: «Друзья!
Хоть вы охрипните, хваля друг дружку, –
Всё ваша музыка плоха!..»

За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.

Василий Андреевич Жуковский

1783–1852

КУБОК

«Кто, рыцарь ли знатный иль латник[1] простой,
В ту бездну прыгнёт с вышины?
Бросаю мой кубок туда золотой:
Кто сыщет во тьме глубины
Мой кубок и с ним возвратится безвредно,
Тому он и будет наградой победной».

[1] *Ла́тник* – воин, облаченный в латы, то есть в металлические доспехи, броню, защищающую от холодного оружия.

Так царь возгласил, и с высокой скалы,
Висевшей над бездной морской,
В пучину бездонной, зияющей мглы
Он бросил свой кубок златой.
«Кто, смелый, на подвиг опасный решится?
Кто сыщет мой кубок и с ним возвратится?»

Но рыцарь и латник недвижно стоят;
Молчанье — на вызов ответ;
В молчанье на грозное море глядят;
За кубком отважного нет.
И в третий раз царь возгласил громогласно:
«Отыщется ль смелый на подвиг опасный?»

И все безответны... вдруг паж[1] молодой
Смиренно и дерзко вперед;
Он снял епанчу[2], и снял пояс он свой;
Их молча на землю кладет...
И дамы и рыцари мыслят, безгласны:
«Ах! юноша, кто ты? Куда ты, прекрасный?»

И он подступает к наклону скалы
И взор устремил в глубину...
Из чрева пучины бежали валы,
Шумя и гремя, в вышину;
И волны спирались, и пена кипела:
Как будто гроза, наступая, ревела.

И воет, и свищет, и бьет, и шипит,
Как влага, мешаясь с огнем,
Волна за волною; и к небу летит
Дымящимся пена столбом;
Пучина бунтует, пучина клокочет...
Не море ль из моря извергнуться хочет?

И вдруг, успокоясь, волненье легло;
И грозно из пены седой

---

[1] *Паж* — в средние века — молодой человек из дворян, состоящий при знатной особе.

[2] *Епанчá* — длинный и широкий плащ.

Разинулось черною щелью жерло;
И воды обратно толпой
Помчались во глубь истощенного чрева;
И глубь застонала от грома и рева.

И он, упредя разъяренный прилив,
Спасителя-бога призвал,
И дрогнули зрители, все возопив,–
Уж юноша в бездне пропал.
И бездна таинственно зев свой закрыла:
Его не спасет никакая уж сила.

Над бездной утихло... в ней глухо шумит...
И каждый, очей отвести
Не смея от бездны, печально твердит:
«Красавец отважный, прости!»
Все тише и тише на дне ее воет...
И сердце у всех ожиданием ноет.

«Хоть брось ты туда свой венец золотой,
Сказав: кто венец возвратит,
Тот с ним и престол мой разделит со мной! –
Меня твой престол не прельстит.
Того, что скрывает та бездна немая,
Ничья здесь душа не расскажет живая.

Немало судов, закружённых волной,
Глотала ее глубина:
Все мелкой назад вылетали щепой
С ее неприступного дна...»
Но слышится снова в пучине глубокой
Как будто роптанье грозы недалекой.

И воет, и свищет, и бьет, и шипит,
Как влага, мешаясь с огнем,
Волна за волною; и к небу летит
Дымящимся пена столбом...
И брызгнул поток с оглушительным ревом,
Извергнутый бездны зияющим зевом.

Вдруг... что-то сквозь пену седой глубины
    Мелькнуло живой белизной...
Мелькнула рука и плечо из волны...
    И борется, спорит с волной...
И видят — весь берег потрясся от клича —
Он левою правит, а в правой добыча.

И долго дышал он, и тяжко дышал,
    И божий приветствовал свет...
И каждый с весельем: «Он жив! — повторял.—
    Чудеснее подвига нет!
Из темного гроба, из пропасти влажной
Спас душу живую красавец отважный».

Он нá берег вышел; он встречен толпой;
    К царёвым ногам он упал;
И кубок у ног положил золотой;
    И дочери царь приказал
Дать юноше кубок с струей винограда;
И в сладость была для него та награда.

«Да здравствует царь! Кто живет на земле,
    Тот жизнью земной веселись!
Но страшно в подземной таинственной мгле...
    И смертный пред богом смирись:
И мыслью своей не желай дерзновенно
Знать тайны, им мудро от нас сокровенной.

Стрелою, стремглав, полетел я туда...
    И вдруг мне навстречу поток;
Из трещины камня лилася вода;
    И вихорь ужасный повлек
Меня в глубину с непонятною силой...
И страшно меня там кружило и било.

Но богу молитву тогда я принес,
    И он мне спасителем был:
Торчащий из мглы я увидел утес
    И крепко его обхватил;

Висел там и кубок на ветви коралла:
В бездонное влага его не умчала.

И смутно все было внизу подо мной
    В пурпуровом сумраке там;
Все спало для слуха в той бездне глухой;
    Но виделось страшно очам,
Как двигались в ней безобразные груды,
Морской глубины несказанные чуды.

Я видел, как в черной пучине кипят,
    В громадный свиваяся клуб,
И млат водяной, и уродливый скат,
    И ужас морей однозуб;
И смертью грозил мне, зубами сверкая,
Мокой ненасытный, гиена морская.

И был я один с неизбежной судьбой,
    От взора людей далеко;
Один меж чудовищ с любящей душой,
    Во чреве земли, глубоко
Под звуком живым человечьего слова,
Меж страшных жильцов подземелья немого.

И я содрогался... вдруг слышу: ползет
    Стоногое грозно из мглы,
И хочет схватить, и разинулся рот...
    Я в ужасе прочь от скалы!..
То было спасеньем: я схвачен приливом
И выброшен вверх водомета порывом».

Чудесен рассказ показался царю:
    «Мой кубок возьми золотой;
Но с ним я и перстень тебе подарю,
В котором алмаз дорогой,
Когда ты на подвиг отважишься снова
И тайны все дна перескажешь морского».

То слыша, царевна с волненьем в груди,
    Краснея, царю говорит:

«Довольно, родитель, его пощади!
Подобное кто совершит?
И если уж должно быть опыту снова,
То рыцаря вышли, не пажа младого».

Но царь, не внимая, свой кубок златой
В пучину швырнул с высоты:
«И будешь здесь рыцарь любимейший мой,
Когда с ним воротишься, ты;
И дочь моя, ныне твоя предо мною
Заступница, будет твоею женою».

В нем жизнью небесной душа зажжена;
Отважность сверкнула в очах;
Он видит: краснеет, бледнеет она;
Он видит: в ней жалость и страх...
Тогда, неописанной радостью полный,
На жизнь и погибель он кинулся в волны...

Утихнула бездна... и снова шумит...
И пеною снова полна...
И с трепетом в бездну царевна глядит...
И бьет за волною волна...
Приходит, уходит волна быстротечно.
А юноши нет и не будет уж вечно.

Константин Николаевич Батюшков

1787–1855

* * *

Есть наслаждение и в дикости лесов,
Есть радость на приморском бреге,
И есть гармония в сем говоре валов,
Дробящихся в пустынном беге.
Я ближнего люблю, но ты, природа-мать,
Для сердца ты всего дороже!

С тобой, владычица, привык я забывать
И то, чем был, как был моложе,
И то, чем нынче стал под холодом годов.
С тобою в чувствах оживаю.
И выразить душа не знает стройных слов,
И как молчать об них — не знаю.

ПЛЕННЫЙ[1]

В местах, где Рона протекает
По бархатным лугам,
Где мирт душистый расцветает,
Склонясь к ее водам,
Где на горах роскошно зреет
Янтарный виноград,
Златой лимон на солнце рдеет
И яворы[2] шумят,—

В часы вечерния прохлады
Любуяся рекой,
Стоял, склоня на Рону взгляды
С глубокою тоской,
Добыча брани, русский пленный,
Придóнских честь сынов,
С полей победы похищенный
Один — толпой врагов.

Шуми,— пел он,— волнами Рона,
И жатвы орошай,
Но плеском волн — родного Дона
Мне шум напоминай!
Я в праздности теряю время;
Душою в людстве сир;
Мне жизнь — не жизнь, без славы — бремя
И пуст прекрасный мир!

Весна вокруг живит природу,
Яснеет солнца свет,
Все славит счастье и свободу,
Но мне свободы нет!
Шуми, шуми волнами, Рона,
И мне воспоминай
На берегах родного Дона
Отчизны милый край!

Здесь прелесть — сельские девицы!
Их взор огнем горит
И сквозь потупленны ресницы
Мне радости сулит.

---

[1] По словам А. С. Пушкина, Батюшков написал это стихотворение, узнав о том, что брат поэта и партизана Дениса Давыдова, Л. В. Давыдов, в плену у французов говорил: «Верните мне мои морозы!» Стихотворение было написано после окончания Отечественной войны, в 1814 году. Несколько позже Л. В. Давыдов вернулся на родину.

[2] *Явор* — вид клёна, так называемый *белый клён*; растет в местностях с теплым и влажным климатом.

Какие радости в чужбине?
Они в родных краях;
Они цветут в моей пустыне
И в дебрях, и в снегах.

Отдайте ж мне мою свободу!
Отдайте край отцов,
Отчизны вьюги, непогоду,
На родине мой кров,
Покрытый в зиму ярким
снегом!
Ах, дайте мне коня!
Туда помчит он быстрым
бегом
И день и ночь меня!

На родину, в сей терем
древний,
Где ждет меня краса,
И под окном, в часы вечерни,
Глядит на небеса;
О друге тайно помышляет...
Иль робкою рукой
Коня ретивого ласкает,
Тебя, соратник мой!

Шуми, шуми волнами, Рона,
И жатвы орошай;
Но плеском волн — родного
Дона
Мне шум напоминай!
О ветры, с полночи летите
От родины моей,
Вы, звёзды Севера, горите
Изгнаннику светлей!» —

Так пел наш пленник одинокий
В виду лионских стен,
Где юноше судьбой жестокой
Назначен долгий плен.
Он пел — у ног сверкала Рона,
В ней месяц трепетал,
И на златых верхах Лиона
Луч солнца догорал.

Денис Васильевич Давыдов

1784–1839

ГОЛОВА И НОГИ

Уставши бегать ежедневно
По грязи, по песку, по жесткой мостовой,
Однажды Ноги очень гневно
Разговорились с Головой:
«За что мы у тебя под властию такой,
Что целый век должны тебе одной повиноваться;
Днем, ночью, осенью, весной,
Лишь вздумалось тебе, изволь бежать, таскаться
Туда, сюда, куда велишь;

А к этому еще, окутавши чулками,
Ботфортами[1] да башмаками,
Ты нас, как ссылочных невольников, моришь,—
И, сидя наверху, лишь хлопаешь глазами.
Покойно судишь, говоришь
О свете, о людя́х, о моде,
О тихой иль дурной погоде;
Частенько на наш счет себя ты веселишь
Насмешкой, колкими словами,—
И, словом, бедными Ногами,
Как шашками, вертишь». —
«Молчите, дерзкие,— им Голова сказала,—
Иль силою я вас заставлю замолчать!..
Как смеете вы бунтовать,
Когда природой нам дано повелевать?» —
«Все это хорошо, пусть ты б повелевала,
По крайней мере нас повсюду б не швыряла,
А прихоти твои нельзя нам исполнять;
Да, между нами ведь признаться,
Коль ты имеешь право управлять,
Так мы имеем право спотыкаться
И можем иногда, споткнувшись — как же быть —
Твое Величество об камень расшибить».

Смысл этой басни всякий знает...
Но должно — тс! — молчать: дурак — кто всё болтает.

Александр Сергеевич Пушкин

1799—1837

ПИР ПЕТРА ПЕРВОГО

Над Невою резво вьются
Флаги пестрые судов;
Звучно с лодок раздаются
Песни дружные гребцов;

В царском доме пир веселый;
Речь гостей хмельна, шумна;
И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена.

[1] *Ботфо́рты* — в старину: сапоги, имевшие голенища с широкими раструбами выше колен.

Что пирует царь великий
В Петербурге-городке?
Отчего пальба и клики
И эскадра на реке?
Озарен ли честью новой
Русский штык иль русский
флаг?
Побежден ли швед суровый?
Мира ль просит грозный враг?

Иль в отъятый край у шведа
Прибыл Брантов утлый бот[1],
И пошел навстречу деда
Всей семьей наш юный флот,
И воинственные внуки
Стали в строй пред стариком,
И раздался в честь Науки
Песен хор и пушек гром?

Годовщину ли Полтавы
Торжествует государь,
День, как жизнь своей державы
Спас от Карла русский царь?

Родила ль Екатерина?
Именинница ль она,
Чудотворца-исполина
Чернобровая жена?

Нет! Он с подданным
мирится;
Виноватому вину
Отпуская, веселится;
Кружку пенит с ним одну;
И в чело его целует,
Светел сердцем и лицом;
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом.

Оттого-то шум и клики
В Петербурге-городке,
И пальба, и гром музы́ки,
И эскадра на реке;
Оттого-то в час веселый
Чаша царская полна
И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена[2].

ТОВАРИЩАМ

Промчались годы заточенья;
Недолго, мирные друзья,
Нам видеть кров уединенья
И царскосельские поля.

---

[1] *Бра́нтов бот* – небольшое морское судно (ботик) царя Алексея Михайловича, починенное при Петре I голландским корабельным мастером Брантом. В 1723 году Петр устроил боту торжественное чествование, как своему первому кораблю, «дедушке русского флота».

[2] *«Пир Петра Первого»* – стихотворение, которым Пушкин открыл первую книгу основанного им в 1836 году журнала «Современник». Стихотворение напоминало Николаю I, что от него ждут примирения с декабристами, освобождения их из неволи: ведь Петр прощал многих своих противников, приглашал их к столу, пушечной пальбой праздновал примирение с ними.

Разлука ждет нас у порогу,
Зовет нас дальний света шум,
И каждый смотрит на дорогу
С волненьем гордых, юных дум.
Иной, под кивер спрятав ум,
Уже в воинственном наряде
Гусарской саблею махнул —
В крещенской утренней прохладе
Красиво мерзнет на параде,
А греться едет в караул;
Другой, рожденный быть вельможей,
Не честь, а почести любя,
У плута знатного в прихожей
Покорным плутом зрит себя;
Лишь я, судьбе во всем послушный,
Счастливой лени верный сын,
Душой беспечный, равнодушный,
Я тихо задремал один...
Равны мне писари, уланы,
Равны законы, кивера,
Не рвусь я грудью в капитаны
И не ползу в асессора[1];
Друзья! немного снисхожденья —
Оставьте красный мне колпак[2],
Пока его за прегрешенья
Не променял я на шишак[3],
Пока ленивому возможно,
Не опасаясь грозных бед,
Еще рукой неосторожной
В июле распахнуть жилет.

---

[1] *Асéссор*, или *коллéжский асéссор* — в царской России — гражданский чин 8 класса (более подробное пояснение см. на стр. 145).

[2] В молодости А. С. Пушкин был членом литературного общества «Арзамас». На своих заседаниях арзамасцы надевали красные колпаки, как символ свободомыслия. (Красный колпак был таким символом во время Великой Французской революции 1789—1793 годов.)

[3] *Шишáк* — металлический шлем с острием, вершина которого увенчивалась небольшой шишкой; был традиционной принадлежностью военного снаряжения.

К ПОРТРЕТУ ЖУКОВСКОГО

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнет о славе младость,
Утешится безмолвная печаль
И резвая задумается радость.

КИПРЕНСКОМУ

Любимец моды легкокрылой,
Хоть не британец, не француз,
Ты вновь создал, волшебник милый,
Меня, питомца чистых муз,–
И я смеюся над могилой,
Ушед навек от смертных уз.

Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит.
Оно гласит, что не унижу
Пристрастья важных аонид[1].
Так Риму, Дрездену, Парижу
Известен впредь мой будет вид[2].

---

[1] *Аони́ды* – латинское слово, означающее то же, что греческое слово *му́зы*: богини – покровительницы наук и искусств.

[2] О. А. Кипренский, в 1827 году написавший портрет Пушкина, готовился к заграничной выставке своих картин.

Петр Андреевич Вяземский

1792–1878

ЕЩЕ ТРОЙКА[1]

Тройка мчится, тройка скачет,
Вьется пыль из-под копыт,
Колокольчик звонко плачет,
И хохочет, и визжит.

По дороге голосисто
Раздается яркий звон,
То вдали отбрякнет чисто,
То застонет глухо он.

Словно леший ведьме вторит
И аукается с ней,
Иль русалка тараторит
В роще звучных камышей.

Русской степи, ночи темной
Поэтическая весть!
Много в ней и думы томной,
И раздолья много есть.

Прянул месяц из-за тучи,
Обогнул свое кольцо
И посыпал блеск зыбучий
Прямо путнику в лицо.

Кто сей путник? и отколе,
И далек ли путь ему?
По неволе иль по воле
Мчится он в ночную тьму?

---

[1] Стихотворение названо так потому, что уже существовала народная песня «Тройка» («Вот мчится тройка удалая...»); слова ее представляют собой отрывок из стихотворения поэта-декабриста Ф. Н. Глинки «Сон русского на чужбине».

На веселье иль кручину,
К ближним ли под кров родной,
Или в грустную чужбину
Он спешит, голубчик мой?

Сердце в нем ретиво рвется
В путь обратный или вдаль?
Встречи ль ждет он не дождется,
Иль покинутого жаль?..

Ждет ли перстень обручальный?
Ждут ли путника пиры
Или факел погребальный
Над могилою сестры?

Как узнать? уж он далёко!
Месяц в облако нырнул,
И в пустой дали глубоко
Колокольчик уж заснул.

Николай Михайлович Языков

1803–1846

ПЛОВЕЦ

Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно;
В роковом его просторе
Много бед погребено.

Смело, братья! Ветром полный
Парус мой направил я:
Полетит на скользки волны
Быстрокрылая ладья!

Облака бегут над морем,
Крепнет ветер, зыбь черней,
Будет буря: мы поспорим
И помужествуем с ней!

Смело, братья! Туча грянет,
Закипит громада вод,
Выше вал сердитый встанет,
Глубже бездна упадет!

Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна;
Не темнеют неба своды,
Не проходит тишина.

Но туда выносят волны
Только сильного душой!..
Смело, братья, бурей полный,
Прям и крепок парус мой!

ИЗ ПОСЛАНИЯ «Д. В. ДАВЫДОВУ»

Жизни баловень счастливый,
Два венка[1] ты заслужил;
Знать, Суворов справедливо
Грудь тебе перекрестил![2]
Не ошибся он в дитяти:
Вырос ты — и полетел,
Полон всякой благодати,
Под знамёна русской рати,
Горд, и радостен, и смел.

Грудь твоя горит звезда́ми;
Ты геройски до́был их
В жарких схватках со врагами,
В ратоборствах роковых;
Воин смлада знаменитый,
Ты еще под шведом был,
И на финские граниты
Твой скакун звучнокопытый
Блеск и топот возносил.

Жизни бурно-величавой
Полюбил ты шум и труд:
Ты ходил с войной кровавой
На Дунай, на Буг и Прут[3],
Но тогда лишь собиралась
Прямо русская война;[4]
Многогромная скоплялась
Вдалеке — и к нам примчалась
Разрушительно-грозна.

Чу! труба продребезжала!
Русь! тебе надменный зов!
Вспомяни ж, как ты встречала
Все нашествия врагов!
Созови из стран далеких
Ты своих богатырей,
Со степей, с равнин широких,
С рек великих, с гор высоких,
От осьми твоих морей!

Пламень в небо упирая,
Лют пожар Москвы ревет;
Златоглавая, святая,
Ты ли гибнешь? Русь, вперед!
Громче буря истребленья,
Крепче смелый ей отпор!
Это жертвенник спасенья,
Это пламень очищенья,
Это фениксов костер![5]

---

[1] *Два венка* — поэтическая и военная слава героя Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова.

[2] Великий русский полководец А. В. Суворов предсказал тринадцатилетнему Давыдову военную славу и благословил его.

[3] Имеются в виду войны, в которых участвовал Денис Давыдов.

[4] *Прямо русская война* — Отечественная война 1812 года.

[5] *Фе́никс* — сказочная птица; в старости сжигала себя и возрождалась из пепла молодой. (Вспомним также сказки о живой воде. Все это — мотивы, навеянные ежегодным обновлением природы.)

Евгений Абрамович Баратынский

1800–1844

МУЗА

Не ослеплен я Музою моею:
Красавицей ее не назовут,
И юноши, узрев ее, за нею
Влюбленною толпой не побегут.
Приманивать изысканным убором,
Игрою глаз, блестящим разговором
Ни склонности у ней, ни дара нет;
Но поражен бывает мельком свет
Ее лица необщим выраженьем,
Ее речей спокойной простотой;
И он, скорей чем едким осужденьем,
Ее почтит небрежной похвалой.

* * *

Мой дар убог, и голос мой не громок,
Но я живу, и на земли мое
Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах; как знать? душа моя
Окажется с душой его в сношенье,
И как нашел я друга в поколенье,
Читателя найду в потомстве я.

ОСЕНЬ

И вот сентябрь! замедля свой восход,
Сияньем хладным солнце блещет,
И луч его в зерцале зыбком вод
Неверным золотом трепещет.
Седая мгла виется вкруг холмов;

Росой затоплены равнины;
Желтеет сень кудрявая дубов,
И красен круглый лист осины;
Умолкли птиц живые голоса,
Безмолвен лес, беззвучны небеса!

И вот сентябрь! и вечер года к нам
Подходит. На поля и горы
Уже мороз бросает по утрам
Свои сребристые узоры.
Пробудится ненастливый Эол;[1]
Пред ним помчится прах летучий,
Качаяся, завоет роща, дол
Покроет лист ее падучий,
И набегут на небо облака,
И, потемнев, запенится река.

Прощай, прощай, сияние небес!
Прощай, прощай, краса природы!
Волшебного шептанья полный лес,
Златочешуйчатые воды!
Веселый сон минутных летних нег!
Вот эхо в рощах обнаженных
Секирою тревожит дровосек,
И скоро, снегом убеленных,
Своих дубров и хо́лмов зимний вид
Застылый ток туманно отразит.

А между тем досужий селянин,
Плод годовых трудов сбирает:
Сметав в стога скошённый злак долин,
С серпом он в поле поспешает.
Гуляет серп. На сжатых бороздах
Снопы стоят в копнах блестящих
Иль тянутся вдоль жнивы, на возах,
Под тяжкой ношею скрыпящих,
И хлебных скирд золотоверхий град
Подъемлется кругом крестьянских хат.

---

[1] *Эо́л* — в древнегреческой мифологии — бог ветра.

Дни сельского, святого торжества!
Овины весело дымятся,
И цеп стучит, и с шумом жернова
Ожившей мельницы крутя́тся.
Иди, зима! на строги дни себе
Припас оратай[1] много блага:
Отрадное тепло в его избе,
Хлеб-соль и пенистая брага;
С семьей своей вкусит он без забот
Своих трудов благословенный плод!

Вильгельм Карлович Кюхельбекер

1797–1846

19 ОКТЯБРЯ (1838)

Блажен, кто пал, как юноша Ахилл[2],
Прекрасный, мощный, смелый, величавый,
В средине поприща побед и славы,
Исполненный несокрушимых сил!
Блажен! Лицо его, всегда младое,
Сиянием бессмертия горя,
Блестит, как солнце вечно золотое,
Как первая эдемская заря[3].

А я один средь чуждых мне людей
Стою в ночи, беспомощный и хилый,
Над страшной всех надежд моих могилой,
Над мрачным гробом всех моих друзей.
В тот гроб бездонный, молнией сраженный,
Последний пал родимый мне поэт...
И вот опять Лицея день священный;
Но уж и Пушкина меж вами нет.

---

[1] *Ора́тай* — старинное русское слово: пахарь.

[2] *Ахи́лл,* или *Ахилле́с* — герой древнегреческих мифов, прекрасный юноша-воин; погиб в сражении ахе́ян с троянцами.

[3] *Эде́м* — по библейской легенде — земной рай.

Не принесет он новых песней вам,
И с них не затрепещут перси ваши,
Не выпьет с вами он заздравной чаши:
Он воспарил к заоблачным друзьям,
Он ныне с нашим Дельвигом пирует,
Он ныне с Грибоедовым моим;
По них, по них душа моя тоскует;
Я жадно руки простираю к ним.

Пора и мне! Давно судьба грозит
Мне казней нестерпимого удара:
Она того меня лишает дара,
С которым дух мой неразрывно слит.
Так! Перенес я годы заточенья,
Изгнание, и срам, и сиротство́;
Но под щитом святого вдохновенья,
Но здесь во мне пылало божество!

Теперь пора! Не пламень, не перун[1]
Меня убил; нет, вязну средь болота,
Горою давят ну́жды и забота,
И я отвык от позабытых струн.
Мне ангел песней рай в темнице душной
Когда-то созидал из снов златых;
Но без него не труп ли я бездушный
Средь трупов, столь же хладных и немых?

УЧАСТЬ РУССКИХ ПОЭТОВ

Горька судьба поэтов всех племен;
Тяжеле всех судьба казнит Ро́ссию:
Для славы и Рылеев был рожден;
Но юноша в свободу был влюблен...
Стянула петля дерзостную выю.
Не он один; другие вслед ему,
Прекрасной обольщенные мечтою,
Пожалися годиной роковою...
Бог дал огонь их сердцу, свет — уму.

---

[1] *Перу́н (перу́ны)* — образное, поэтическое слово: молния (молнии).

Да! чувства в них восторженны и пылки,–
Что ж? их бросают в черную тюрьму,
Морят морозом безнадежной ссылки...

Или болезнь наводит ночь и мглу
На очи прозорливцев вдохновенных;
Или рука любезников презренных
Шлет пулю их священному челу;
Или же бунт поднимет чернь глухую,
И чернь того на части разорвет,
Чей блещущий перунами полет
Сияньем óблил бы страну родную.

Александр Иванович Одоевский

1802–1839

ОТВЕТ А. С. ПУШКИНУ[1]

Струн вещих пламенные звуки
До слуха нашего дошли,
К мечам рванулись наши руки
И – лишь оковы обрели.

Но будь покоен, бард! – цепями,
Своей судьбой гордимся мы
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями.

Наш скорбный труд не пропадет,
Из искры возгорится пламя,
И просвещенный наш народ
Сберется под святое знамя.

Мечи скуем мы из цепей
И пламя вновь зажжем свободы!
Она нагрянет на царей,
И радостно вздохнут народы!

---

[1] Стихотворение написано ссыльным декабристом А. И. Одóевским в ответ на послание А. С. Пушкина «Во глубине сибирских руд Храните гордое терпенье...».

Алексей Васильевич Кольцов

1809–1842

ЛЕС

Что, дремучий лес,
Призадумался,
Грустью темною
Затуманился?

Что Бова-силач
Заколдованный,
С непокрытою
Головой в бою

Ты стоишь — поник,
И не ратуешь
С мимолетною
Тучей-бурею.

Густолиственный
Твой зеленый шлем
Буйный вихрь сорвал —
И развеял в прах.

Плащ упал к ногам
И рассыпался...
Ты стоишь — поник,
И не ратуешь.

Где ж девалася
Речь высокая,
Сила гордая,
Доблесть царская?

У тебя ль, было́,
В ночь безмолвную
Заливная песнь
Соловьиная...

У тебя ль, было,
Дни — роскошество,—
Друг и недруг твой
Прохлаждаются...

У тебя ль, было,
Поздно вечером
Грозно с бурею
Разговор пойдет;

Распахнет она
Тучу черную,
Обоймет тебя
Ветром-холодом.

И ты молвишь ей
Шумным голосом:
«Вороти назад!
Держи около!»

Закружит она,
Разыграется...
Дрогнет грудь твоя,
Зашатаешься;

Встрепенувшися,
Разбушуешься:
Только свист кругом,
Голоса и гул...

Буря всплачется
Лешим, ведьмою
И несет свои
Тучи за́ море.

Где ж теперь твоя
Мочь зеленая?
Почернел ты весь,
Затуманился...

Одичал, замолк...
Только в не́погодь
Воешь жалобу
На безвременье.

Так-то, темный лес,
Богатырь Бова!
Ты всю жизнь свою
Маял битвами.

Не осилили
Тебя сильные,
Так дорезала
Осень черная.

Знать, во время сна
К безоружному
Силы вражие
Понахлынули.

С богатырских плеч
Сняли голову —
Не большой горой,
А соломинкой...

Михаил Юрьевич Лермонтов

1814–1841

ВОЗДУШНЫЙ КОРАБЛЬ[1]

По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут
в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.

Не гнутся высокие мачты,
На них флюгера[2] не шумят,
И молча в открытые люки[3]
Чугунные пушки глядят.

Не слышно на нем капитана,
Не видно матросов на нем;
Но скалы, и тайные мели,
И бури ему нипочем.

Есть остров на том океане —
Пустынный и мрачный
гранит;
На острове том есть могила,
А в ней император зарыт.

---

[1] Это романтическое стихотворение навеяно судьбой Наполеона Бонапарта — сначала одного из вождей Революции, а затем завоевателя и тирана, ввергнувшего свою страну в катастрофу и погибшего в изгнании. После падения Наполеона новые правители Франции растоптали все завоевания Революции, к которым в той или иной мере был причастен Наполеон, и это наложило отпечаток трагического величия на память о нем,— так считал Лермонтов.

[2] *Флюгера́* — металлические флажки, указывающие направление ветра.

[3] *Лю́ки* — здесь: отверстия в борту корабля для пушечных дул.

Зарыт он без почестей бранных
Врагами в сыпучий песок,
Лежит на нем камень тяжелый,
Чтоб встать он из гроба не мог.

И в час его грустной кончины,
В полнóчь, как свершается год,
К высокому берегу тихо
Воздушный корабль пристает.

Из гроба тогда император,
Очнувшись, является вдруг;
На нем треугольная шляпа
И серый походный сюртук.

Скрестивши могучие руки,
Главу опустивши на грудь,
Идет и к рулю он садится
И быстро пускается в путь.

Несется он к Франции милой,
Где славу оставил и трон,
Оставил наследника-сына
И старую гвардию он.

И только что землю родную
Завидит во мраке ночном,
Опять его сердце трепещет
И очи пылают огнем.

На берег большими шагами
Он смело и прямо идет,
Соратников громко он кличет
И маршалов грозно зовет.

Но спят усачи-гренадеры –
В равнине, где Эльба шумит,
Под снегом холодной России,
Под знойным песком пирамид[1].

И маршалы зова не слышат:
Иные погибли в бою,
Другие ему изменили
И продали шпагу свою.

И, топнув о землю ногою,
Сердито он взад и вперед
По тихому берегу ходит,
И снова он громко зовет:

Зовет он любезного сына,
Опору в превратной судьбе;
Ему обещает полмира,
А Францию только себе.

Но в цвете надежды и силы
Угас его царственный сын[2],
И долго, его поджидая,
Стоит император один –

Стоит он и тяжко вздыхает,
Пока озарится восток,
И капают горькие слезы
Из глаз на холодный песок.

Потом на корабль свой волшебный,
Главу опустивши на грудь,
Идет и, махнувши рукою,
В обратный пускается путь.

---

[1] *Под знойным песком пирамид* – в Египте, куда Бонапарт был послан командовать французскими войсками (Франция и Англия вели в те времена войны за колонии); в 1799 году Бонапарт спешно вернулся во Францию для захвата власти, а бóльшая часть его армии позднее погибла в Африке.

[2] После низложения императора Наполеона Бонапарта его четырехлетний сын, Наполеон II, был отправлен в Австрию; в 1832 году он умер там, в возрасте 21 года.

ТРИ ПАЛЬМЫ

Восточное сказание

В песчаных степях аравийской земли
Три гордые пальмы высóко росли.
Родник между ними из почвы бесплодной,
Журча, пробивался волною холодной,
Хранимый, под сенью зеленых листов,
От знойных лучей и летучих песков.

И многие годы неслышно прошли;
Но странник усталый из чуждой земли
Пылающей грудью ко влаге студёной
Еще не склонялся под кущей[1] зеленой,
И стали уж сохнуть от знойных лучей
Роскошные листья и звучный ручей.

И стали три пальмы на бога роптать:
«На то ль мы родились, чтоб здесь увядать?
Без пользы в пустыне росли и цвели мы,
Колеблемы вихрем и зноем палимы,
Ничей благосклонный не радуя взор?..
Не прав твой, о небо, святой приговор!»

И только замолкли — в дали голубой
Столбом уж крутился песок золотой,
Звонков раздавались нестройные звуки,
Пестрели коврами покрытые вьюки,
И шел, колыхаясь, как в море челнок,
Верблюд за верблюдом, взрывая песок.

Мотаясь, висели меж твердых горбов
Узорные пóлы походных шатров;
Их смуглые ручки порой подымали,
И черные очи оттуда сверкали...
И, стан худощавый к луке[2] наклоня,
Араб горячил вороного коня.

---

[1] *Кýща* — густая листва.

[2] *Лукá* — выступающий изгиб седла.

И конь на дыбы подымался порой,
И прыгал, как барс, пораженный стрелой;
И белой одежды красивые складки
По плéчам фариса[1] вились в беспорядке;
И, с криком и свистом несясь по песку,
Бросал и ловил он копье на скаку.

Вот к пальмам подходит, шумя, караван:
В тени их веселый раскинулся стан.
Кувшины звуча налилися водою,
И, гордо кивая махровой главою,
Приветствуют пальмы нежданных гостей,
И щедро поит их студеный ручей.

Но только что сумрак на землю упал,
По кóрням упругим топор застучал,
И пали без жизни питомцы столетий!
Одежду их сóрвали малые дети,
Изрублены были тела их потом
И медленно жгли их до ýтра огнем.

Когда же на запад умчался туман,
Урочный свой путь совершал караван;
И следом печальным на почве бесплодной
Виднелся лишь пепел седой и холодный;
И солнце остатки сухие дожгло,
А ветром их в стéпи потом разнесло.

И ныне все дико и пусто кругом –
Не шепчутся листья с гремучим ключом:
Напрасно пророка о тени он просит –
Его лишь песок раскаленный заносит,
Да коршун хохлатый, степной нелюдим,
Добычу терзает и щиплет над ним.

---

[1] *Фари́с* – всадник.

Николай Васильевич Гоголь

1809–1852

ЧУДЕН ДНЕПР...

Из «Вечеров на хуторе близ Диканьки»

Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелохнет; ни прогремит. Глядишь, и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому миру. Любо тогда и жаркому солнцу оглядеться с вышины и погрузить лучи в холод стеклянных вод, и прибрежным лесам ярко отсветиться в водах. Зеленокудрые! они толпятся вместе с полевыми цветами к водам и, наклонившись, глядят в них и не наглядятся, и не налюбуются светлым своим зраком, и усмехаются к нему, и приветствуют его, кивая ветвями. В середину же Днепра они не смеют глянуть: никто, кроме солнца и голубого неба, не глядит в него. Редкая птица долетит до середины Днепра. Пышный! ему нет равной реки в мире.

Чуден Днепр и при теплой летней ночи, когда все засыпает, и человек, и зверь, и птица; а бог один величаво озирает небо и землю, и величаво сотрясает ризу. От ризы сыплются звезды. Звезды горят и светят над миром, и все разом отдаются в Днепре. Всех их держит Днепр в темном лоне своем. Ни одна не убежит от него; разве погаснет на небе. Черный лес, унизанный спящими во́ронами и древле разломанные горы, свесясь, силятся закрыть его хотя длинною тенью своею,– напрасно! Нет ничего в мире, что бы могло прикрыть Днепр. Синий, синий, ходит он плавным разливом и середь ночи, как середь дня, виден за столько вдаль, за сколько видеть может человечье око. Нежась и прижимаясь ближе к берегам от ночного холода, дает он по себе серебряную струю; и она вспыхивает, будто полоса дамасской сабли; а он, синий, снова заснул. Чуден и тогда Днепр, и нет реки, равной ему в мире!

Когда же пойдут горами по небу синие тучи, черный лес шатается до корня, дубы трещат, и молния, изламываясь между туч, разом осветит целый мир,– страшен тогда Днепр! Водяные

холмы гремят, ударяясь о горы, и с блеском и стоном отбегают назад, и плачут, и заливаются вдали. Так убивается старая мать козака, выпровожая своего сына в войско. Разгульный и бодрый, едет он на вороном коне, подбоченившись и молодецки заломив шапку; а она, рыдая, бежит за ним, хватает его за стремя, ловит удила, и ломает над ним руки, и заливается горючими слезами.

Дико чернеют промеж ратующими волнами обгорелые пни и камни на выдавшемся берегу. И бьется об берег, поднимаясь вверх и опускаясь вниз, пристающая лодка. Кто из козаков осмелился гулять в челне, когда рассердился старый Днепр?..

Иван Саввич Никитин

1824–1861

* * *

Ярко звезд мерцанье
В синеве небес;
Месяца сиянье
Падает на лес.

В зеркало залива
Сонный лес глядит;
В чаще молчаливой
Темнота лежит.

Слышен меж кустами
Смех и разговор;
Жарко косарями
Разведен костер.

По траве высокой,
С цепью на ногах,
Бродит одиноко
Белый конь впотьмах.

Вот уж песнь заводит
Песенник лихой,
Из кружка выходит
Парень молодой.

Шапку вверх кидает,
Ловит — не глядит,
Пляшет-приседает,
Соловьем свистит.

Песне отвечает
Коростель в лугах,
Песня замирает
Далеко в полях...

Золотые нивы,
Гладь и блеск озер,
Светлые заливы,
Без конца простор,

Звезды над полями,
Глушь да камыши...
Так и льются сами
Звуки из души!

* * *

Падёт презренное тиранство,
И цепи с пахарей спадут,
И ты, изнеженное барство,
Возьмешься нехотя за труд.

Не нам, иному поколенью
Отдашь ты бич свой вековой
И будешь ненавистной тенью,
Пятном в истории родной...

Весь твой разврат и вероломство,
Все козни время обнажит,
И просвещенное потомство
Тебя проклятьем поразит.

Мужик — теперь твоя опора,
Твой вол — и больше ничего —
Со славой выйдет из позора,
И вновь не купишь ты его.

Уж всходит солнце земледельца!..
Забитый, он на месть не скор;
Но знай: на своего владельца
Давно уж точит он топор...

Николай Алексеевич Некрасов

1821—1877

ОРИНА, МАТЬ СОЛДАТСКАЯ

День-деньской моя печальница,
В ночь — ночная богомолица,
Векова́ моя сухотница...

Из народной песни

Чуть живые, в ночь осеннюю
Мы с охоты возвращаемся,
До ночлега прошлогоднего,
Слава богу, добираемся.

— Вот и мы! Здорово, старая!
Что насупилась ты, кумушка!
Не о смерти ли задумалась?
Брось! пустая это думушка!

Посетила ли кручинушка?
Молви — может, и
размыкаю. —
И поведала Оринушка
Мне печаль свою великую.

«Восемь лет сынка не видела,
Жив ли, нет — не откликается,
Уж и свидеться не чаяла,
Вдруг сыночек возвращается.

Вышло мóлодцу в бессрочные...[1]
Истопила жарко банюшку,
Напекла блинов Оринушка,
Не насмотрится на Ванюшку!

Да не долги были радости.
Воротился сын больнёхонек,
Ночью кашель бьет солдатика,
Белый плат в крови
мокрёхонек!

Говорит: «Поправлюсь,
матушка!»
Да ошибся — не поправился,
Девять дней хворал Иванушка,
На десятый день преставился...»

Замолчала — не прибавила
Ни словечка, бесталанная.
— Да с чего же привязалася
К парню хворость окаянная?

Хилый, что ли, был
с рождения?.. —
Встрепенулася Оринушка:
— «Богатырского сложения,
Здоровенный был детинушка!

Подивился сам из Питера
Генерал на парня этого,
Как в рекрутское присутствие
Привели его раздетого...

На избенку эту бревнышки
Он один таскал сосновые...
И вилися у Иванушки
Русы кудри, как шелкóвые...»

И опять молчит несчастная...
— Не молчи — развей
кручинушку!
Что сгубило сына милого —
Чай, спросила ты детинушку?

«Не любил, судáрь,
рассказывать
Он про жизнь свою военную,
Грех мирянам-то показывать
Душу — богу обреченную!

Говорить — гневить
всевышнего,
Окаянных бесов радовать...
Чтоб не молвить слова
лишнего,
На врагов не подосадовать,

Немота перед кончиною
Подобает христианину.
Знает бог, какие тягости
Сокрушили силу Ванину!

Я узнать не добивалася.
Никого не осуждаючи,
Он одни слова утешные
Говорил мне, умираючи.

[1] То есть в бессрочный отпуск с солдатской службы.

Тихо по́ двору похаживал
Да постукивал топориком,
Избу ветхую облаживал,
Огород обнес заборикoм;

Перекрыть сарай задумывал.
Не сбылись его желания:
Слег – и встал на ноги резвые
Только за день до скончания!

Поглядеть на солнце красное
Пожелал,– пошла я с Ванею:
Попрощался со скотинкою,
Попрощался с ригой, с банею.

Сенокосом шел – задумался.
– Ты прости, прости,
полянушка!
Я косил тебя во младости! –
И заплакал мой Иванушка!

Песня вдруг с дороги грянула,
Подхватил, что было голосу
«Не белы снежки», закашлялся,
Задышался – пал на полосу!

Не стояли ноги резвые,
Не держалася головушка!
С час домой мы
возвращалися...
Было время – пел соловушка!

Страшно в эту ночь последнюю
Было: память потерялася,
Всё ему перед кончиною
Служба эта представлялася.

Ходит, чистит амуницию,
Набелил ремни солдатские,
Языком играл сигналики,
Песни пел – такие хватские!

Артикул[1] ружьем выкидывал,
Так, что весь домишка
вздрагивал;
Как журавль, стоял на
ноженьке
На одной – носок вытягивал.

Вдруг метнулся... смотрит
жалобно...
Повалился – плачет, кается,
Крикнул: «Ваше благородие!
Ваше!»... вижу – задыхается:

Я к нему. Утих, послушался –
Лег на лавку. Я молилася:
Не пошлет ли бог спасение?..
К утру память воротилася,

Прошептал: «Прощай,
родимая!
Ты опять одна осталася!..»
Я над Ваней наклонилася,
Покрестила, попрощалася,

И погас он, словно свеченька
Восковая, предыконная...»

Мало слов, а горя реченька,
Горя реченька бездонная!..

---

[1] *Артику́л* (устаревшее слово) – один из «ружейных приемов», военных упражнений с ружьем.

Иван Сергеевич Тургенев

1818–1883

БИРЮК

Из «Записок охотника»

Я ехал с охоты вечером один, на беговых дрожках. До дому еще было верст восемь; моя добрая рысистая кобыла бодро бежала по пыльной дороге, изредка похрапывая и шевеля ушами; усталая собака, словно привязанная, ни на шаг не отставала от задних колес. Гроза надвигалась. Впереди огромная лиловая туча медленно поднималась из-за леса; надо мною и мне навстречу неслись длинные серые облака; ракиты тревожно шевелились и лепетали. Душный жар внезапно сменился влажным холодом; тени быстро густели. Я ударил вожжой по лошади, спустился в овраг, перебрался через сухой ручей, весь заросший лозниками, поднялся в гору и въехал в лес. Дорога вилась передо мною между густыми кустами орешника, уже залитыми мраком; я подвигался вперед с трудом. Дрожки прыгали по твердым корням столетних дубов и лип, беспрестанно пересекавшим глубокие продольные рытвины – следы тележных колес; лошадь моя начала спотыкаться. Сильный ветер внезапно загудел в вышине, деревья забушевали, крупные капли дождя резко застучали, зашлепали по листьям, сверкнула молния, и гроза разразилась. Дождь полил ручьями. Я поехал шагом и скоро принужден был остановиться: лошадь моя вязла, я не видел ни зги. Кое-как приютился я к широкому кусту. Сгорбившись и закутавши лицо, ожидал я терпеливо конца ненастья, как вдруг, при блеске молнии, на дороге почудилась мне высокая фигура. Я стал пристально глядеть в ту сторону – та же фигура словно выросла из земли подле моих дрожек.

– Кто это? – спросил звучный голос.

– А ты кто сам?

– Я здешний лесник.

Я назвал себя.

– А, знаю! Вы домой едете?

– Домой. Да видишь, какая гроза...

– Да, гроза,– отвечал голос.

Белая молния озарила лесника с головы до ног; трескучий и короткий удар грома раздался тотчас вслед за нею. Дождик хлынул с удвоенной силой.

– Не скоро пройдет,– продолжал лесник.

– Что делать!

– Я вас, пожалуй, в свою избу проведу,– отрывисто проговорил он.

– Сделай одолжение.

– Извольте сидеть.

Он подошел к голове лошади, взял ее за узду и сдернул с места. Мы тронулись. Я держался за подушку дрожек, которые колыхались, «как в море челнок», и кликал собаку. Бедная моя кобыла тяжко шлепала ногами по грязи, скользила, спотыкалась; лесник покачивался перед оглоблями направо и налево, словно привиденье. Мы ехали довольно долго; наконец мой проводник остановился: «Вот мы и дома, барин»,– промолвил он спокойным голосом. Калитка заскрипела, несколько щенков дружно залаяло. Я поднял голову и при свете молнии увидал небольшую избушку посреди обширного двора, обнесенного плетнем. Из одного окошечка тускло светил огонек. Лесник довел лошадь до крыльца и застучал в дверь. «Сичас, сичас!» – раздался тоненький голосок, послышался топот босых ног, засов заскрипел, и девочка лет двенадцати, в рубашонке, подпоясанная покромкой, с фонарем в руке, показалась на пороге.

– Посвети барину,– сказал он ей,– а я ваши дрожки под навес поставлю.

Девочка глянула на меня и пошла в избу. Я отправился вслед за ней.

Изба лесника состояла из одной комнаты, закоптелой, низкой и пустой, без полатей[1] и перегородок. Изорванный тулуп висел на стене. На лавке лежало одноствольное ружье, в углу валялась груда тряпок; два больших горшка стояли возле печки. Лучина горела на столе, печально вспыхивая и погасая. На самой середине избы висела люлька[2], привязанная к концу длинного шеста. Девочка погасила фонарь, присела на крошечную скамейку и начала правой рукой качать люльку, левой поправлять лучину. Я

---

[1] *Пола́ти* – дощатый настил под потолком в деревенской избе; на нем можно было спать, туда складывали разные вещи.

[2] *Лю́лька* – детская колыбель, деревянная или сплетенная из прутьев; она свободно подвешивалась под потолком, чтобы ребенка можно было укачивать.

посмотрел кругом – сердце во мне заныло: не весело войти ночью в мужицкую избу. Ребенок в люльке дышал тяжело и скоро.

– Ты разве одна здесь? – спросил я девочку.

– Одна,– произнесла она едва внятно.

– Ты лесникова дочь?

– Лесникова,– прошептала она.

Дверь заскрипела, и лесник шагнул, нагнув голову, через порог. Он поднял фонарь с полу, подошел к столу и зажег светильню.

– Чай, не привыкли к лучине? – проговорил он и тряхнул кудрями.

Я посмотрел на него. Редко мне случалось видеть такого мóлодца. Он был высокого роста, плечист и сложен на славу. Из-под мокрой замашной рубашки[1] выпукло выставлялись его могучие мышцы. Черная курчавая борода закрывала до половины его суровое и мужественное лицо; из-под сросшихся широких бровей смело глядели небольшие карие глаза. Он слегка уперся руками в бока и остановился передо мною.

Я поблагодарил его и спросил его имя.

– Меня зовут Фомой,– отвечал он,– а по прозвищу Бирюк[2].

– А, ты Бирюк?

Я с удвоенным любопытством посмотрел на него. От моего Ермолая и от других я часто слышал рассказы о леснике Бирюке, которого все окрестные мужики боялись как огня. По их словам, не бывало еще на свете такого мастера своего дела: «Вязанки хворосту не даст утащить; в какую бы ни было пору, хоть в самую полночь, нагрянет, как снег на голову, и ты не думай сопротивляться,– силён, дескать, и ловок как бес... И ничем его взять нельзя: ни вином, ни деньгами; ни на какую приманку не идет. Уж не раз добрые люди его сжить со свету собирались, да нет – не дается».

Вот как отзывались соседние мужики о Бирюке.

– Так ты Бирюк,– повторил я,– я, брат, слыхал про тебя. Говорят, ты никому спуску не даешь.

– Должность свою справляю,– отвечал он угрюмо,– даром господский хлеб есть не приходится.

---

[1] *Замáшная рубашка* – рубашка из домотканого полотна (из конопли).

[2] *Бирюком* называется в Орловской губернии человек одинокий и угрюмый. – *Примечание И. С. Тургенева.*

Он достал из-за пояса топор, присел на пол и начал колоть лучину.

— Аль у тебя хозяйки нет? — спросил я его.

— Нет,— отвечал он и сильно махнул топором.

— Умерла, знать?

— Нет... да... умерла,— прибавил он и отвернулся.

Я замолчал; он поднял глаза и посмотрел на меня.

— С прохожим мещанином сбежала,— произнес он с жестокой улыбкой. Девочка потупилась; ребенок проснулся и закричал; девочка подошла к люльке. — На, дай ему,— проговорил Бирюк, сунув ей в руку запачканный рожок. — Вот и его бросила,— продолжал он вполголоса, указывая на ребенка. Он подошел к двери, остановился и обернулся.

— Вы, чай, барин,— начал он,— нашего хлеба есть не станете, а у меня окромя хлеба...

— Я не голоден.

— Ну, как знаете. Самовар бы я вам поставил, да чаю у меня нету... Пойду посмотрю, что ваша лошадь.

Он вышел и хлопнул дверью. Я в другой раз осмотрелся. Изба показалась мне еще печальнее прежнего. Горький запах остывшего дыма неприятно стеснял мне дыхание. Девочка не трогалась с места и не поднимала глаз; изредка поталкивала она люльку, робко наводила на плечо спускавшуюся рубашку; ее голые ноги висели не шевелясь.

— Как тебя зовут? — спросил я.

— Улитой,— проговорила она, еще более понурив свое печальное личико.

Лесник вошел и сел на лавку.

— Гроза проходит,— заметил он после небольшого молчания,— коли прикажете, я вас из лесу провожу.

Я встал. Бирюк взял ружье и осмотрел полку.

— Это зачем? — спросил я.

— А в лесу шалят... У Кобыльего Верху[1] дерево рубят,— прибавил он в ответ на мой вопрошающий взор.

— Будто отсюда слышно?

— Со двора слышно.

Мы вышли вместе. Дождик перестал. В отдалении еще толпи-

---

[1] *Ве́рхом* называется в Орловской губернии овраг. — *Примечание И. С. Тургенева.*

лись тяжелые громады туч, изредка вспыхивали длинные молнии; но над нашими головами уже виднелось кое-где темно-синее небо, звездочки мерцали сквозь жидкие, быстро летевшие облака. Очерки деревьев, обрызганных дождем и взволнованных ветром, начинали выступать из мрака. Мы стали прислушиваться. Лесник снял шапку и потупился. «Во... вот,– проговорил он вдруг и протянул руку,– вишь, какую ночку выбрал». Я ничего не слышал, кроме шума листьев. Бирюк вывел лошадь из-под навеса. «А этак я, пожалуй,– прибавил он вслух,– и прозеваю его». – «Я с тобой пойду... хочешь?» – «Ладно,– отвечал он и попятил лошадь назад,– мы его духом поймаем, а там я вас провожу. Пойдемте».

Мы пошли: Бирюк впереди, я за ним. Бог его знает, как он узнавал дорогу, но он останавливался только изредка, и то для того, чтобы прислушиваться к стуку топора. «Вишь,– бормотал он сквозь зубы,– слышите? слышите?» – «Да где?» Бирюк пожал плечами. Мы спустились в овраг, ветер затих на мгновенье – мерные удары ясно достигли до моего слуха. Бирюк глянул на меня и качнул головой. Мы пошли далее по мокрому папоротнику и крапиве. Глухой и продолжительный гул раздался...

– Повалил... – пробормотал Бирюк.

Между тем небо продолжало расчищаться; в лесу чуть-чуть светлело. Мы выбрались наконец из оврага. «Подождите здесь»,– шепнул мне лесник, нагнулся и, подняв ружье кверху, исчез между кустами. Я стал прислушиваться с напряжением. Сквозь постоянный шум ветра чудились мне невдалеке слабые звуки: топор осторожно стучал по сучьям, колеса скрипели, лошадь фыркала... «Куда? стой!» – загремел вдруг железный голос Бирюка. Другой голос закричал жалобно, по-заячьи... Началась борьба. «Вре-ешь, вре-ешь,– твердил, задыхаясь, Бирюк,– не уйдешь...» Я бросился в направлении шума и прибежал, спотыкаясь на каждом шагу, на место битвы. У срубленного дерева, на земле, копошился лесник; он держал под собою вора и закручивал ему кушаком руки на спину. Я подошел. Бирюк поднялся и поставил его на ноги. Я увидал мужика, мокрого, в лохмотьях, с длинной растрепанной бородой. Дрянная лошаденка, до половины закрытая угловатой рогожкой, стояла тут же вместе с тележным ходом. Лесник не говорил ни слова; мужик тоже молчал и только головой потряхивал.

— Отпусти его,— шепнул я на ухо Бирюку,— я заплачу за дерево.

Бирюк молча взял лошадь за холку левой рукой: правой он держал вора за пояс. «Ну, поворачивайся, ворона!» — промолвил он сурово. «Топорик-то вон возьмите»,— пробормотал мужик. «Зачем ему пропадать!» — сказал лесник и поднял топор. Мы отправились. Я шел позади... Дождик начал опять накрапывать и скоро полил ручьями. С трудом добрались мы до избы. Бирюк бросил пойманную лошаденку посреди двора, ввел мужика в комнату, ослабил узел кушака и посадил его в угол. Девочка, которая заснула было возле печки, вскочила и с молчаливым испугом стала глядеть на нас. Я сел на лавку.

— Эк его, какой полил,— заметил лесник,— переждать придется. Не хотите ли прилечь?

— Спасибо.

— Я бы его, для вашей милости, в чуланчик запер,— продолжал он, указывая на мужика,— да вишь, засов...

— Оставь его тут, не трогай,— перебил я Бирюка.

Мужик глянул на меня исподлобья. Я внутренне дал себе слово, во что бы то ни стало, освободить бедняка. Он сидел неподвижно на лавке. При свете фонаря я мог разглядеть его испитое, морщинистое лицо, нависшие желтые брови, беспокойные глаза, худые члены... Девочка улеглась на полу у самых его ног и опять заснула. Бирюк сидел возле стола, опершись головою на руки. Кузнечик кричал в углу... дождик стучал по крыше и скользил по окнам; мы все молчали.

— Фома Кузьмич,— заговорил вдруг мужик голосом глухим и разбитым,— а, Фома Кузьмич.

— Чего тебе?

— Отпусти.

Бирюк не отвечал.

— Отпусти... с голодухи... отпусти.

— Знаю я вас,— угрюмо возразил лесник,— ваша вся слобода такая — вор на воре.

— Отпусти,— твердил мужик,— приказчик... разорены, во как... отпусти!

— Разорены!.. Воровать никому не след.

— Отпусти, Фома Кузьмич... не погуби. Ваш-то, сам знаешь, заест, во как.

Бирюк отвернулся. Мужика подергивало, словно лихорадка

его колотила. Он встряхивал головой и дышал неровно.

– Отпусти,– повторил он с унылым отчаяньем,– отпусти, ей-богу, отпусти! Я заплачу, во как, ей-богу. Ей-богу, с голодухи... детки пищат, сам знаешь. Круто, во как, приходится.

– А ты все-таки воровать не ходи.

– Лошаденку,– продолжал мужик,– лошаденку-то, хоть ее-то... один живот и есть... отпусти!

– Говорят, нельзя. Я тоже человек подневольный: с меня взыщут. Вас баловать тоже не приходится.

– Отпусти! Нужда, Фома Кузьмич, нужда, как есть того... отпусти!

– Знаю я вас!

– Да отпусти!

– Э, да что с тобой толковать; сиди смирно, а то у меня, знаешь? Не видишь, что ли, барина?

Бедняк потупился... Бирюк зевнул и положил голову на стол. Дождик все не переставал. Я ждал, что будет.

Мужик внезапно выпрямился. Глаза у него загорелись, и на лице выступила краска. «Ну на, ешь, на, подавись, на,– начал он, прищурив глаза и опустив углы губ,– на, душегубец окаянный: пей христианскую кровь, пей...»

Лесник обернулся.

– Тебе говорю, тебе, азиат, кровопийца, тебе!

– Пьян ты, что ли, что ругаться вздумал? – заговорил с изумлением лесник. – С ума сошел, что ли?

– Пьян!.. не на твои ли деньги, душегубец окаянный, зверь, зверь, зверь!

– Ах ты... да я тебя!

– А мне что? Все едино – пропадать; куда я без лошади пойду? Пришиби – один конец; что с голоду, что так – все едино. Пропадай все: жена, дети – околевай все... А до тебя, погоди, доберемся!

Бирюк приподнялся.

– Бей, бей,– подхватил мужик свирепым голосом,– бей, на, на, бей... (Девочка торопливо вскочила с полу и уставилась на него.) Бей! бей!

– Молчать! – загремел лесник и шагнул два раза.

– Полно, полно, Фома,– закричал я,– оставь его... бог с ним.

– Не стану я молчать,– продолжал несчастный. – Всё едино – околевать-то. Душегубец ты, зверь, погибели на тебя нету... Да

постой, недолго тебе царствовать! затянут тебе глотку, постой!

Бирюк схватил его за плечо... Я бросился на помощь мужику...

— Не троньте, барин! — крикнул на меня лесник.

Я бы не побоялся его угрозы и уже протянул было руку; но, к крайнему моему изумлению, он одним поворотом сдернул с локтей мужика кушак, схватил его за шиворот, нахлобучил ему шапку на глаза, растворил дверь и вытолкнул его вон.

— Убирайся к черту с своей лошадью,— закричал он ему вслед,— да смотри, в другой раз у меня!..

Он вернулся в избу и стал копаться в углу.

— Ну, Бирюк,— промолвил я наконец,— удивил ты меня: ты, я вижу, славный малый.

— Э, полноте, барин,— перебил он меня с досадой,— не извольте только сказывать. Да уж я лучше вас провожу,— прибавил он,— знать, дождика-то вам не переждать...

На дворе застучали колеса мужицкой телеги.

— Вишь, поплелся! — пробормотал он,— да я его!..

Через полчаса он простился со мной на опушке леса.

СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ

ГОЛУБИ

Я стоял на вершине пологого холма; передо мною то золотым, то посеребрённым морем раскинулась и пестрела спелая рожь.

Но не бегало зыби по этому морю; не струился душный воздух: назревала гроза великая.

Около меня солнце еще светило — горячо и тускло; но там, за рожью, не слишком далеко, темно-синяя туча лежала грузной громадой на целой половине небосклона.

Все притаилось... Все изнывало под зловещим блеском последних солнечных лучей. Не слыхать, не видать ни одной птицы; попрятались даже воробьи. Только где-то вблизи упорно шептал и хлопотал одинокий, крупный лист лопуха.

Как сильно пахнет полынь на межах! Я глядел на синюю громаду... и смутно было на душе. Ну скорей же, скорей! — думалось мне,— сверкни, золотая змейка, дрогни, гром! двинься, покатись, пролейся, злая туча, прекрати тоскливое томленье!

Но туча не двигалась. Она по-прежнему давила безмолвную землю... и только словно пухла да темнела.

И вот по одноцветной ее синеве замелькало что-то ровно и плавно; ни дать ни взять белый платочек или снежный комок. То летел со стороны деревни белый голубь.

Летел, летел все прямо, прямо... и потонул за лесом.

Прошло несколько мгновений — та же стояла жестокая тишь... Но глядь! Уже *два* платка мелькают, *два* комочка несутся назад: то летят домой ровным полетом *два* белых голубя.

И вот наконец сорвалась буря — и пошла потеха!

Я едва домой добежал. Визжит ветер, мечется как бешеный, мчатся рыжие, низкие, словно в клочья разорванные облака, все закрутилось, смешалось, захлестал, закачался отвесными столбами рьяный ливень, молнии слепят огнистой зеленью, стреляет как из пушки отрывистый гром, запахло серой...

Но под навесом крыши, на самом краешке слухового окна, рядышком сидят два белых голубя — и тот, кто слетал за товарищем, и тот, кого он привел и, может быть, спас.

Нахохлились оба — и чувствует каждый своим крылом крыло соседа...

Хорошо им! И мне хорошо, глядя на них... Хоть я и один... один, как всегда.

МЫ ЕЩЕ ПОВОЮЕМ!

Какая ничтожная малость может иногда перестроить всего человека!

Полный раздумья, шел я однажды по большой дороге.

Тяжкие предчувствия стесняли мою грудь; унылость овладевала мною.

Я поднял голову... Передо мною, между двух рядов высоких тополей, стрелою уходила в даль дорога.

И через нее, через эту самую дорогу, в десяти шагах от меня, вся раззолоченная ярким летним солнцем, прыгала гуськом целая семейка воробьев, прыгала бойко, забавно, самонадеянно!

Особенно один из них так и надсаживал бочком, бочком, выпуча зоб и дерзко чирикая, словно и черт ему не брат! Завоеватель и полно!

А между тем высоко на́ небе кружил ястреб, которому, быть может, суждено сожрать именно этого самого завоевателя.

Я поглядел, рассмеялся, встряхнулся — и грустные мысли тотчас отлетели прочь: отвагу, удаль, охоту к жизни почувствовал я.

И пускай надо мной кружит *мой* ястреб...

— Мы еще повоюем, черт возьми!

Афанасий Афанасьевич Фет

1820–1892

* * *

Ель рукавом мне тропинку завесила.
    Ветер. В лесу одному
Шумно, и жутко, и грустно, и весело,
    Я ничего не пойму.

Ветер. Кругом все гудёт и колышется,
    Листья кружáтся у ног.
Чу, там вдали неожиданно слышится
    Тонко взывающий рог.

Сладостен зов мне глашатая медного!
    Мертвые что мне листы!
Кажется, издали странника бедного
    Нежно приветствуешь ты.

* * *

Это утро, радость эта,
Эта мощь и дня и света,
    Этот синий свод,
Этот крик и вереницы,
    Эти стаи, эти птицы,
    Этот говор вод.

Эти ивы и березы,
Эти капли — эти слезы,
    Этот пух — не лист,
Эти горы, эти долы,
Эти мошки, эти пчелы,
    Этот зык и свист.

Эти зори без затменья,
Этот вздох ночной селенья,
    Эта ночь без сна,
Эта мгла и жар постели,
Эта дробь и эти трели,
    Это всё — весна.

Лев Николаевич Толстой

1828—1910

СЕВАСТОПОЛЬ В ДЕКАБРЕ МЕСЯЦЕ[1]

Утренняя заря только что начинает окрашивать небосклон над Сапун-горою; темно-синяя поверхность моря сбросила с себя уже сумрак ночи и ждет первого луча, чтобы заиграть веселым блеском; с бухты несет холодом и туманом; снега нет — все черно, но утренний резкий мороз хватает за лицо и трещит под ногами, и далекий неумолкаемый гул моря, изредка прерываемый раскатистыми выстрелами в Севастополе, один нарушает тишину утра. На кораблях глухо бьет восьмая склянка[2].

На Северной денна́я деятельность понемногу начинает заменять спокойствие ночи; где прошла смена часовых, побрякивая ружьями; где солдатик вылез из землянки, моет оледенелой водой загорелое лицо и, оборотясь на зардевший восток, быстро крестясь, молится богу; где высокая тяжелая маджара[3] на верблюдах со скрипом протащилась на кладбище хоронить окровавленных покойников, которыми она чуть не до верху наложена... Вы подходите к пристани — особенный запах каменного угля, навоза, сырости и говядины поражает вас; тысячи разнородных предметов — дрова, мясо, туры[4], мука, железо и т. п. — кучей лежат около пристани; солдаты разных полков, с мешками и ружьями, без мешков и без ружей, толпятся тут, курят, бранятся, перетаскивают тяжести на пароход, который, дымясь, стоит около помоста; вольные ялики, наполненные всякого рода народом — солдатами, моряками, купцами, женщинами,— причаливают и отчаливают от пристани.

— На Графскую, ваше благородие? Пожалуйте,— предлагают

---

[1] В 1853—1856 годах Россия вела войну с коалицией держав (Турция, Англия, Франция, Сардиния) за черноморские по́рты — так называемую Крымскую войну. Славная страница этой войны — героическая оборона Севастополя. Лев Толстой был участником обороны и посвятил ей три рассказа; один из них дается здесь.

[2] *Бьют скля́нки* — морской термин, означающий удары в колокол для оповещения о времени.

[3] *Маджа́ра* (татарское слово) — большая телега, повозка.

[4] *Ту́ры* (франц.) — плетёные корзины, в которые насыпалась земля; использовались для защиты укреплений.

вам свои услуги два или три отставных матроса, вставая из яликов.

Вы выбираете тот, который к вам поближе, шагаете через полусгнивший труп какой-то гнедой лошади, которая тут в грязи лежит около лодки, и проходите к рулю. Вы отчалили от берега. Кругом вас блестящее уже на утреннем солнце море, впереди – старый матрос в верблюжьем пальто и молодой белоголовый мальчик, которые молча усердно работают веслами. Вы смотрите и на полосатые громады кораблей, близко и далеко рассыпанных по бухте, и на черные небольшие точки шлюпок, движущихся по блестящей лазури, и на красивые светлые строения города, окрашенные розовыми лучами утреннего солнца, виднеющиеся на той стороне, и на пенящуюся белую линию бона[1] и затопленных кораблей, от которых кой-где грустно торчат черные концы мачт, и на далекий неприятельский флот, маячащий на хрустальном горизонте моря, и на пенящиеся струи, в которых прыгают соляные пузырики, поднимаемые веслами; вы слушаете равномерные звуки ударов весел, звуки голосов, по воде долетающих до вас, и величественные звуки стрельбы, которая, как вам кажется, усиливается в Севастополе.

Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникло в душу вашу чувство какого-то мужества, гордости и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах...

– Ваше благородие! прямо под Кистентина[2] держи́те,– скажет вам старик матрос, оборотившись назад, чтобы проверить направление, которое вы даете лодке,– вправо руля.

– А на нем пушки-то еще все,– заметит белоголовый парень, проходя мимо корабля и разглядывая его.

– А то как же: он новый, на нем Корнилов[3] жил,– заметит старик, тоже взглядывая на корабль.

– Вишь ты, где разорвало! – скажет мальчик, после долгого молчания взглядывая на белое облачко расходящегося дыма, вдруг появившегося высоко-высоко над Южной бухтой и сопровождаемого резким звуком разрыва бомбы.

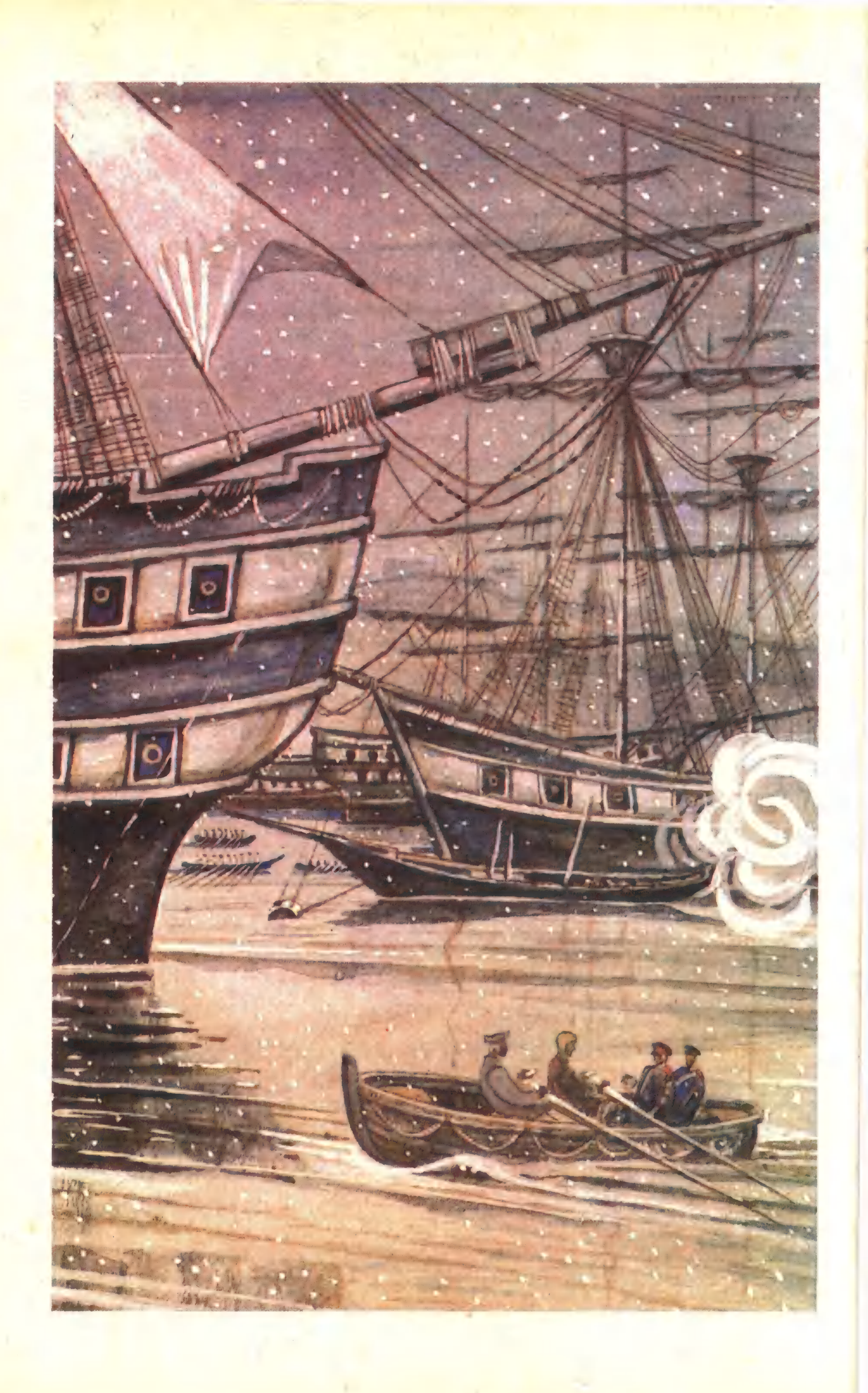
– Это он с новой батареи нынче палит,– прибавит старик,

---

[1] *Бон* (нем.) – плавучие бревна, служащие для заграждения определенного места; *белая линия бона* – т. е. бревна окрашены в белый цвет.

[2] Корабль «Константин». – *Примечание Л. Н. Толстого.*

[3] *Корни́лов* Владимир Алексеевич (1806–1854) – выдающийся флотоводец; руководил обороной Севастополя; был смертельно ранен в октябре 1854 года.



равнодушно поплевывая на руку. – Ну, навались, Мишка, баркас перегоним. – И ваш ялик быстрее подвигается вперед по широкой зыби бухты, действительно перегоняет тяжелый баркас, на котором навалены какие-то кули и неровно гребут неловкие солдаты, и пристает между множеством причаленных всякого рода лодок к Графской пристани.

На набережной шумно шевелятся толпы серых солдат, черных матросов и пестрых женщин. Бабы продают булки, русские мужики с самоварами кричат: сбитень горячий, и тут же на первых ступенях валяются заржавевшие ядры, бомбы, картечи и чугунные пушки разных калибров. Немного далее большая площадь, на которой валяются какие-то огромные брусья, пушечные станки, спящие солдаты; стоят лошади, повозки, зеленые орудия и ящики, пехотные козлы; двигаются солдаты, матросы, офицеры, женщины, дети, купцы; ездят телеги с сеном, с кулями и с бочками; кой-где проедут казак и офицер верхом, генерал на дрожках. Направо улица загорожена баррикадой, на которой в амбразурах стоят какие-то маленькие пушки, и около них сидит матрос, покуривая трубочку. Налево красивый дом с римскими цифрами на фронтоне, под которым стоят солдаты и окровавленные носилки,– везде вы видите неприятные следы военного лагеря. Первое впечатление ваше непременно самое неприятное: странное смешение лагерной и городской жизни, красивого города и грязного бивуака[1] не только не красиво, но кажется отвратительным беспорядком; вам даже покажется, что все перепуганы, суетятся, не знают, что делать. Но вглядитесь ближе в лица этих людей, движущихся вокруг вас, и вы поймете совсем другое. Посмотрите хоть на этого фурштатского солдатика[2], который ведет поить какую-то гнедую тройку и так спокойно мурлыкает себе что-то под нос, что, очевидно, он не заблудится в этой разнородной толпе, которой для него и не существует, но что он исполняет свое дело, какое бы оно ни было – поить лошадей или таскать орудия,– так же спокойно, и самоуверенно, и равнодушно, как бы все это происходило где-нибудь в Туле или в Саранске. То же выражение читаете вы и на лице этого офицера,

---

[1] *Бивуа́к*, или *бива́к* (франц.) – расположение войск для отдыха или ночлега вне населенного пункта.

[2] *Фуршта́тский солдатик* – солдатик из военного обоза (от слова *фу́ра* – «повозка»).

который в безукоризненно белых перчатках проходит мимо, и в лице матроса, который курит, сидя на баррикаде, и в лице рабочих солдат, с носилками дожидающихся на крыльце бывшего Собрания[1], и в лице этой девицы, которая, боясь замочить свое розовое платье, по камешкам перепрыгивает чрез улицу.

Да! вам непременно предстоит разочарование, ежели вы в первый раз въезжаете в Севастополь. Напрасно вы будете искать хоть на одном лице следов суетливости, растерянности или даже энтузиазма, готовности к смерти, решимости, – ничего этого нет: вы видите будничных людей, спокойно занятых будничным делом, так что, может быть, вы упрекнете себя в излишней восторженности, усомнитесь немного в справедливости понятия о геройстве защитников Севастополя, которое составилось в вас по рассказам, описаниям и вида и звуков с Северной стороны. Но прежде чем сомневаться, сходите на бастионы, посмотрите защитников Севастополя на самом месте защиты или, лучше, зайдите прямо напротив в этот дом, бывший прежде Севастопольским собранием и на крыльце которого стоят солдаты с носилками,– вы увидите там защитников Севастополя, увидите там ужасные и грустные, великие и забавные, но изумительные, возвышающие душу зрелища.

Вы входите в большую залу Собрания. Только что вы отворили дверь, вид и запах сорока или пятидесяти ампутационных и самых тяжело раненных больных, одних на койках, а большею частью на полу, вдруг поражает вас. Не верьте чувству, которое удерживает вас на пороге залы,– это дурное чувство,– идите вперед, не стыдитесь того, что вы как будто пришли смотреть на страдальцев, не стыдитесь подойти и поговорить с ними: несчастные любят видеть человеческое сочувствующее лицо, любят рассказать про свои страдания и услышать слова любви и участия. Вы проходите посередине постелей и ищете лицо менее строгое и страдающее, к которому вы решитесь подойти, чтобы побеседовать.

– Ты куда ранен? – спрашиваете вы нерешительно и робко у одного старого исхудалого солдата, который, сидя на койке, следит за вами добродушным взглядом и как будто приглашает подойти к себе. Я говорю: «робко спрашиваете», потому что стра-

---

[1] *Собрание* (и далее: *Севастопольское собрание*) – здание Дворянского собрания; такие здания, выполнявшие роль дворянских клубов, были во всех крупных городах России.

дания, кроме глубокого сочувствия, внушают почему-то страх оскорбить и высокое уважение к тому, кто перенес их.

– В ногу,– отвечает солдат; но в это самое время вы сами замечаете по складкам одеяла, что у него ноги нет выше колена.

– Слава богу теперь,– прибавляет он,– на выписку хочу.

– А давно ты уже ранен?

– Да вот шестая неделя пошла, ваше благородие!

– Что же, болит у тебя теперь?

– Нет, теперь не болит, ничего; только как будто в икре ноет, когда непогода, а то ничего.

– Как же ты это был ранен?

– На пятом баксионе, ваше благородие, как первая бандировка была: навел пушку, стал отходить, этаким манером, к другой амбразуре, как он ударит меня по ноге, ровно как в яму оступился. Глядь, а ноги нет.

– Неужели больно не было в эту первую минуту?

– Ничего; только как горячим чем меня пхнули в ногу.

– Ну, а потом?

– И потом ничего; только как кожу натягивать стали, так саднило как будто. Оно первое дело, ваше благородие, не думать много: как не думаешь, оно тебе и ничего. Всё больше оттого, что думает человек.

В это время к вам подходит женщина в сереньком полосатом платье и повязанная черным платком; она вмешивается в ваш разговор с матросом и начинает рассказывать про него, про его страдания, про отчаянное положение, в котором он был четыре недели, про то, как, бывши ранен, остановил носилки, с тем чтобы посмотреть на залп нашей батареи, как великие князья говорили с ним и пожаловали ему двадцать пять рублей, и как он сказал им, что он опять хочет на бастион, с тем чтобы учить молодых, ежели уже сам работать не может. Говоря все это одним духом, женщина эта смотрит то на вас, то на матроса, который, отвернувшись и как будто не слушая ее, щиплет у себя на подушке корпию[1], и глаза ее блестят каким-то особенным восторгом.

– Это хозяйка моя, ваше благородие! – замечает вам матрос с таким выражением, как будто говорит: «Уж вы ее извините. Известно, бабье дело – глупые слова говорит».

---

[1] *Ко́рпия* (лат.) – перевязочный материал – нитки, нащипанные руками из хлопчатобумажных тряпок.

Вы начинаете понимать защитников Севастополя; вам становится почему-то совестно за самого себя перед этим человеком. Вам хотелось бы сказать ему слишком много, чтобы выразить ему свое сочувствие и удивление; но вы не находите слов или недовольны теми, которые приходят вам в голову,– и вы молча склоняетесь перед этим молчаливым, бессознательным величием и твердостью духа, этой стыдливостью перед собственным достоинством.

– Ну, дай бог тебе поскорее поправиться,– говорите вы ему и останавливаетесь перед другим больным, который лежит на полу и, как кажется, в нестерпимых страданиях ожидает смерти.

Это белокурый, с пухлым и бледным лицом человек. Он лежит навзничь, закинув назад левую руку, в положении, выражающем жестокое страдание. Сухой открытый рот с трудом выпускает хрипящее дыхание; голубые оловянные глаза закачены кверху, и из-под сбившегося одеяла высунут остаток правой руки, обвернутый бинтами. Тяжелый запах мертвого тела сильнее поражает вас, и пожирающий внутренний жар, проникающий все члены страдальца, проникает как будто и вас.

– Что, он без памяти? – спрашиваете вы у женщины, которая идет за вами и ласково, как на родного, смотрит на вас.

– Нет, еще слышит, да уж очень плох,– прибавляет она шепотом. – Я его нынче чаем поила – что ж, хоть и чужой, все надо жалость иметь, – так уж не пил почти.

– Как ты себя чувствуешь? – спрашиваете вы его.

Раненый поворачивает зрачки на ваш голос, но не видит и не понимает вас.

– У сердца горить.

Немного далее вы видите старого солдата, который переменяет белье. Лицо и тело его какого-то коричневого цвета и худы, как скелет. Руки́ у него совсем нет: она вылущена в плече. Он сидит бодро, он поправился; но по мертвому, тусклому взгляду, по ужасной худобе и морщинам лица вы видите, что это существо, уже выстрадавшее лучшую часть своей жизни.

С другой стороны вы увидите на койке страдальческое, бледное и нежное лицо женщины, на котором играет во всю щеку горячечный румянец.

– Это нашу матроску пятого числа в ногу задело бомбой,– скажет вам ваша путеводительница,– она мужу на бастион обедать носила.

– Что ж, отрезали?

– Выше колена отрезали.

Теперь, ежели нервы ваши крепки, пройдите в дверь налево: в той комнате делают перевязки и операции. Вы увидите там докторов с окровавленными по локти руками и бледными угрюмыми физиономиями, занятых около койки, на которой, с открытыми глазами и говоря, как в бреду, бессмысленные, иногда простые и трогательные слова, лежит раненый под влиянием хлороформа. Доктора заняты отвратительным, но благодетельным делом – ампутацией. Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело; увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство; увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку; увидите, как на носилках лежит, в той же комнате, другой раненый и, глядя на операцию товарища, корчится и стонет не столько от физической боли, сколько от моральных страданий ожидания,– увидите ужасные, потрясающие душу зрелища; увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами, а увидите войну в настоящем ее выражении – в крови, в страданиях, в смерти...

Выходя из этого дома страданий, вы непременно испытаете отрадное чувство, полнее вдохнете в себя свежий воздух, почувствуете удовольствие в сознании своего здоровья, но вместе с тем в созерцании этих страданий почерпнете сознание своего ничтожества и спокойно, без нерешимости пойдете на бастионы...

«Что значит смерть и страдания такого ничтожного червяка, как я, в сравнении с столькими смертями и столькими страданиями?» Но вид чистого неба, блестящего солнца, красивого города, отворенной церкви и движущегося по разным направлениям военного люда скоро приведет ваш дух в нормальное состояние легкомыслия, маленьких забот и увлечения одним настоящим.

Навстречу попадутся вам, может быть, из церкви похороны какого-нибудь офицера, с розовым гробом и музыкой и развевающимися хоругвями; до слуха вашего долетят, может быть, звуки стрельбы с бастионов, но это не наведет вас на прежние мысли; похороны покажутся вам весьма красивым воинственным зрелищем, звуки – весьма красивыми воинственными зву-

ками, и вы не соедините ни с этим зрелищем, ни с этими звуками мысли ясной, перенесенной на себя, о страданиях и смерти, как вы это сделали на перевязочном пункте.

Пройдя церковь и баррикаду, вы войдете в самую оживленную внутреннею жизнью часть города. С обеих сторон вывески лавок, трактиров; купцы, женщины в шляпках и платочках, щеголеватые офицеры — всё говорит вам о твердости духа, самоуверенности, безопасности жителей.

Зайдите в трактир направо, ежели вы хотите послушать толки моряков и офицеров: там уж, верно, идут рассказы про нынешнюю ночь, про Феньку, про дело двадцать четвертого, про то, как дорого и нехорошо подают котлетки, и про то, как убит тот-то и тот-то товарищ.

— Черт возьми, как нынче у нас плохо! — говорит басом белобрысенький безусый морской офицерик в зеленом вязаном шарфе.

— Где у нас? — спрашивает его другой.

— На четвертом бастионе,— отвечает молоденький офицер, и вы непременно с большим вниманием и даже некоторым уважением посмотрите на белобрысенького офицера при словах: «на четвертом бастионе». Его слишком большая развязность, размахивание руками, громкий смех и голос, казавшиеся вам нахальством, покажутся вам тем особенным бретёрским[1] настроением духа, которое приобретают иные очень молодые люди после опасности; но все-таки вы подумаете, что он станет вам рассказывать, как плохо на четвертом бастионе от бомб и пуль: ничуть не бывало! плохо оттого, что грязно. «Пройти на батарею нельзя»,— скажет он, показывая на сапоги, выше икор покрытые грязью. «А у меня нынче лучшего комендора[2] убили, прямо в лоб влепило»,— скажет другой. «Кого это? Митюхина?» — «Нет... Да что, дадут ли мне телятины? Вот канальи! — прибавит он к трактирному слуге. — Не Митюхина, а Абросимова. Молодец такой — в шести вылазках был».

На другом углу стола, за тарелками котлет с горошком и бутылкой кислого крымского вина, называемого «бордó», сидят два пехотных офицера: один, молодой, с красным воротником и с двумя звездочками на шинели, рассказывает другому, старому,

[1] *Бретёрский* — лихой, воинственный (от франц. *бретёр* — человек, ищущий повода для дуэли, задира).

[2] *Комендóр* — матрос, обслуживающий артиллерийское орудие на корабле.

с черным воротником и без звездочек, про альминское дело[1]. Первый уже немного выпил, и по остановкам, которые бывают в его рассказе, по нерешительному взгляду, выражающему сомнение в том, что ему верят, и, главное, что слишком велика роль, которую он играл во всем этом, и слишком все страшно, заметно, что он сильно отклоняется от строгого повествования истины. Но вам не до этих рассказов, которые вы долго еще будете слушать во всех углах России: вы хотите скорее идти на бастионы, именно на четвертый, про который вам так много и так различно рассказывали. Когда кто-нибудь говорит, что он был на четвертом бастионе, он говорит это с особенным удовольствием и гордостью; когда кто говорит: «Я иду на четвертый бастион»,— непременно заметны в нем маленькое волнение или слишком большое равнодушие; когда хотят подшутить над кем-нибудь, говорят: «Тебя бы поставить на четвертый бастион»; когда встречают носилки и спрашивают: «Откуда?» — большей частью отвечают: «С четвертого бастиона». Вообще же существуют два совершенно различные мнения про этот страшный бастион: тех, которые никогда на нем не были и которые убеждены, что четвертый бастион есть верная могила для каждого, кто пойдет на него, и тех, которые живут на нем, как белобрысенький мичман, и которые, говоря про четвертый бастион, скажут вам, сухо или грязно там, тепло или холодно в землянке и т. д.

В полчаса, которые вы провели в трактире, погода успела перемениться: туман, расстилавшийся по морю, собрался в серые, скучные, сырые тучи и закрыл солнце; какая-то печальная изморось сыплется сверху и мочит крыши, тротуары и солдатские шинели...

Пройдя еще одну баррикаду, вы выходите из дверей направо и поднимаетесь вверх по большой улице. За этой баррикадой домá по обеим сторонам улицы необитаемы, вывесок нет, двери закрыты досками, окна выбиты, где отбит угол стены, где пробита крыша. Строения кажутся старыми, испытавшими всякое горе и нужду ветеранами и как будто гордо и несколько презрительно смотрят на вас. По дороге спотыкаетесь вы на валяющиеся ядра и в ямы с водой, вырытые в каменном грунте бомбами. По улице встречаете вы и обгоняете команды солдат, пласту-

---

[1] *А́льминское дело* — битва под А́льмой, одно из наиболее ожесточенных сражений во время обороны Севастополя.

нов[1], офицеров; изредка встречаются женщина или ребенок, но женщина уже не в шляпке, а матроска в старой шубейке и в солдатских сапогах. Проходя дальше по улице и спустясь под маленький изволок, вы замечаете вокруг себя уже не дома, а какие-то странные груды развалин-камней, досок, глины, бревен; впереди себя на крутой горе видите какое-то черное, грязное пространство, изрытое канавами, и это-то впереди и есть четвертый бастион... Здесь народу встречается еще меньше; женщин совсем не видно, солдаты идут скоро, по дороге попадаются капли крови и непременно встретите тут четырех солдат с носилками и на носилках бледно-желтоватое лицо и окровавленную шинель. Ежели вы спросите: «Куда ранен?» — носильщики сердито, не поворачиваясь к вам, скажут: в ногу или в руку, ежели он ранен легко; или сурово промолчат, ежели из-за носилок не видно головы и он уже умер или тяжело ранен.

Недалекий свист ядра или бомбы, в то самое время как вы станете подниматься на гору, неприятно поразит вас. Вы вдруг поймете, и совсем иначе, чем понимали прежде, значение тех звуков выстрелов, которые вы слушали в городе. Какое-нибудь тихо-отрадное воспоминание вдруг блеснет в вашем воображении; собственная ваша личность начнет занимать вас больше, чем наблюдения; у вас станет меньше внимания ко всему окружающему, и какое-то неприятное чувство нерешимости вдруг овладеет вами. Несмотря на этот подленький голос при виде опасности, вдруг заговоривший внутри вас, вы, особенно взглянув на солдата, который, размахивая руками и осклизаясь под гору, по жидкой грязи, рысью, со смехом бежит мимо вас,— вы заставляете молчать этот голос, невольно выпрямляете грудь, поднимаете выше голову и карабкаетесь вверх на скользкую глинистую гору. Только что вы немного взобрались на гору, справа и слева вас начинают жужжать штуцерные пули[2], и вы, может быть, призадумаетесь, не идти ли вам по траншее, которая ведет параллельно с дорогой; но траншея эта наполнена такой жидкой, желтой, вонючей грязью выше колена, что вы непременно выберете дорогу по горе, тем более что вы видите, все идут по дороге. Пройдя шагов двести, вы входите в изрытое грязное про-

---

[1] *Пластуны* — особые пехотные команды казачьих войск, разведчики.

[2] *Штýцерные пули* — пули из нарезных ружей, которыми пользовались войска противника.

странство, окруженное со всех сторон турами, насыпями, погребами, платформами, землянками, на которых стоят большие чугунные орудия и правильными кучами лежат ядра. Все это кажется вам нагроможденным без всякой цели, связи и порядка. Где на батарее сидит кучка матросов, где посередине площадки, до половины потонув в грязи, лежит разбитая пушка, где пехотный солдатик, с ружьем переходящий через батареи и с трудом вытаскивающий ноги из липкой грязи; везде, со всех сторон и во всех местах, видите черепки, неразорванные бомбы, ядра, следы лагеря, и все это затопленное в жидкой, вязкой грязи. Как вам кажется, недалеко от себя слышите вы удар ядра, со всех сторон, кажется, слышите различные звуки пуль – жужжащие, как пчела, свистящие, быстрые или визжащие, как струна,– слышите ужасный гул выстрела, потрясающий всех вас, и который вам кажется чем-то ужасно страшным.

«Так вот он, четвертый бастион, вот оно, это страшное, действительно ужасное место!» – думаете вы себе, испытывая маленькое чувство гордости и большое чувство подавленного страха. Но разочаруйтесь: это еще не четвертый бастион. Это Язоновский редут – место сравнительно очень безопасное и вовсе не страшное. Чтобы идти на четвертый бастион, возьмите направо, по этой узкой траншее, по которой, нагнувшись, побрел пехотный солдатик. По траншее этой встретите вы, может быть, опять носилки, матроса, солдат с лопатами, увидите проводники мин, землянки в грязи, в которые, согнувшись, могут влезать только два человека, и там увидите пластунов черноморских батальонов, которые там переобуваются, едят, курят трубки, живут, и увидите опять везде ту же вонючую грязь, следы лагеря и брошенный чугун во всевозможных видах. Пройдя еще шагов триста, вы снова выходите на батарею – на площадку, изрытую ямами и обставленную турами, насыпанными землей, орудиями на платформах и земляными валами. Здесь увидите вы, может быть, человек пять матросов, играющих в карты под бруствером, и морского офицера, который, заметив в вас нового человека, любопытного, с удовольствием покажет вам свое хозяйство и все, что для вас может быть интересного. Офицер этот так спокойно свертывает папироску из желтой бумаги, сидя на орудии, так спокойно прохаживается от одной амбразуры к другой, так спокойно, без малейшей аффектации говорит с вами, что, несмотря на пули, которые чаще, чем прежде, жужжат над вами,

вы сами становитесь хладнокровны и внимательно расспрашиваете и слушаете рассказы офицера. Офицер этот расскажет вам,– но только, ежели вы его расспросите,– про бомбардирование пятого числа, расскажет, как на его батарее только одно орудие могло действовать, и из всей прислуги осталось восемь человек, и как все-таки на другое утро шестого он палил[1] из всех орудий; расскажет вам, как пятого попала бомба в матросскую землянку и положила одиннадцать человек; покажет вам из амбразуры батареи и траншеи неприятельские, которые не дальше здесь как в тридцати – сорока саженях. Одного я боюсь, что под влиянием жужжания пуль, высовываясь из амбразуры, чтобы посмотреть неприятеля, вы ничего не увидите, а ежели увидите, то очень удивитесь, что этот белый каменистый вал, который так близко от вас и на котором вспыхивают белые дымки́, этот-то белый вал и есть неприятель – *он*, как говорят солдаты и матросы.

Даже очень может быть, что морской офицер, из тщеславия или просто так, чтобы доставить себе удовольствие, захочет при вас пострелять немного. «Послать комендора и прислугу к пушке»,– и человек четырнадцать матросов живо, весело, кто засовывая в карман трубку, кто дожевывая сухарь, постукивая подкованными сапогами по платформе, подойдут к пушке и зарядят ее. Вглядитесь в лица, в осанки и в движения этих людей: в каждой морщине этого загорелого скуластого лица, в каждой мышце, в ширине этих плеч, в толщине этих ног, обутых в громадные сапоги, в каждом движении, спокойном, твердом, неторопливом, видны эти главные черты, составляющие силу русского,– простоты и упрямства; но здесь на каждом лице кажется вам, что опасность, злоба и страдания войны, кроме этих главных признаков, проложили еще следы сознания своего достоинства и высокой мысли и чувства.

Вдруг ужаснейший, потрясающий не одни ушные органы, но все существо ваше, гул поражает вас так, что вы вздрагиваете всем телом. Вслед за тем вы слышите удаляющийся свист снаряда, и густой пороховой дым застилает вас, платформу и черные фигуры движущихся по ней матросов. По случаю этого нашего выстрела вы услышите различные толки матросов и увидите их одушевление и проявление чувства, которого вы не

---

[1] Моряки все говорят *палить*, а не *стрелять*. – *Примечание Л. Н. Толстого.*

ожидали видеть, может быть,– это чувство злобы, мщения врагу, которое таится в душе каждого. «В самую абразуру попало; кажись, убило двух... вон понесли»,– услышите вы радостные восклицания. «А вот он рассерчает: сейчас пустит сюда»,– скажет кто-нибудь; и действительно, скоро вслед за этим вы увидите впереди себя молнию, дым; часовой, стоящий на бруствере, крикнет: «Пу-у-шка!» И вслед за этим мимо вас взвизгнет ядро, шлепнется в землю и воронкой взбросит вокруг себя брызги грязи и камни. Батарейный командир рассердится за это ядро, прикажет зарядить другое и третье орудия, неприятель тоже станет отвечать нам, и вы испытаете интересные чувства, услышите и увидите интересные вещи. Часовой опять закричит: «Пушка!» – и вы услышите тот же звук и удар, те же брызги, или закричит: «Маркела!»[1] – и вы услышите равномерное, довольно приятное и такое, с которым трудно соединяется мысль об ужасном, посвистывание бомбы, услышите приближающееся к вам и ускоряющееся это посвистывание, потом увидите черный шар, удар о землю, ощутительный, звенящий разрыв бомбы. Со свистом и визгом разлетятся потом осколки, зашуршат в воздухе камни, и забрызгает вас грязью. При этих звуках вы испытаете странное чувство наслаждения и вместе страха. В ту минуту, как снаряд, вы знаете, летит на вас, вам непременно придет в голову, что снаряд этот убьет вас; но чувство самолюбия поддерживает вас, и никто не замечает ножа, который режет вам сердце. Но зато, когда снаряд пролетел, не задев вас, вы оживаете, и какое-то отрадное, невыразимо приятное чувство, но только на мгновение, овладевает вами, так что вы находите какую-то особенную прелесть в опасности, в этой игре жизнью и смертью; вам хочется, чтобы еще и еще поближе упали около вас ядро или бомба. Но вот еще часовой прокричал своим громким, густым голосом: «Маркела!», еще посвистывание, удар и разрыв бомбы; но вместе с этим звуком вас поражает стон человека. Вы подходите к раненому, который, в крови и грязи, имеет какой-то странный нечеловеческий вид, в одно время с носилками. У матроса вырвана часть груди. В первые минуты на забрызганном грязью лице его видны одни испуг и какое-то притворное преждевременное выражение страдания, свойственное человеку в таком поло-

---

[1] Мортира. – *Примечание Л. Н. Толстого.* (*Морти́ра* – артиллерийское орудие с коротким стволом, дающим возможность стрельбы по целям, находящимся за укрытием.)

жении; но в то время, как ему приносят носилки и он сам на здоровый бок ложится на них, вы замечаете, что выражение это сменяется выражением какой-то восторженности и высокой, невысказанной мысли: глаза горят ярче, зубы сжимаются, голова с усилием поднимается выше; и в то время, как его поднимают, он останавливает носилки и с трудом, дрожащим голосом говорит товарищам: «Простите, братцы!»,— еще хочет сказать что-то, и видно, что хочет сказать что-то трогательное, но повторяет только еще раз: «Простите, братцы!» В это время товарищ-матрос подходит к нему, надевает фуражку на голову, которую подставляет ему раненый, и спокойно, равнодушно, размахивая руками, возвращается к своему орудию. «Это вот каждый день этак человек семь или восемь»,— говорит вам морской офицер, отвечая на выражение ужаса на вашем лице, зевая и свертывая папироску из желтой бумаги...

Итак, вы видели защитников Севастополя на самом месте защиты и идете назад, почему-то не обращая никакого внимания на ядра и пули, продолжающие свистать по всей дороге до разрушенного театра,— идете с спокойным, возвысившимся духом. Главное, отрадное убеждение, которое вы вынесли,— это убеждение в невозможности взять Севастополь, и не только взять Севастополь, но поколебать где бы то ни было силу русского народа,— и эту невозможность видели вы не в этом множестве траверсов, брустверов, хитросплетенных траншей, мин и орудий, одних на других, из которых вы ничего не поняли, но видели ее в глазах, речах, приемах, в том, что называется духом защитников Севастополя. То, что они делают, делают они так просто, так малонапряженно и усиленно, что, вы убеждены, они еще могут сделать во сто раз больше... они всё могут сделать. Вы понимаете, что чувство, которое заставляет работать их, не есть то чувство мелочности, тщеславия, забывчивости, которое испытывали вы сами, но какое-нибудь другое чувство, более властное, которое сделало из них людей, так же спокойно живущих под ядрами, при ста случайностях смерти вместо одной, которой подвержены все люди, и живущих в этих условиях среди беспрерывного труда, бдения и грязи. Из-за креста, из-за названия, из угрозы не могут принять люди эти ужасные условия: должна быть другая, высокая побудительная причина. И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но ле-

жащее в глубине души каждого,– любовь к родине. Только теперь рассказы о первых временах осады Севастополя, когда в нем не было укреплений, не было войск, не было физической возможности удержать его и все-таки не было ни малейшего сомнения, что он не отдастся неприятелю,– о временах, когда этот герой, достойный древней Греции,– Корнилов, объезжая войска, говорил: «Умрем, ребята, а не отдадим Севастополя»,– и наши русские, не способные к фразерству, отвечали: «Умрем! ура!» – только теперь рассказы про эти времена перестали быть для вас прекрасным историческим преданием, но сделались достоверностью, фактом. Вы ясно поймете, вообразите себе тех людей, которых вы сейчас видели, теми героями, которые в те тяжелые времена не упали, а возвышались духом и с наслаждением готовились к смерти, не за город, а за родину. Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский...

Уже вечереет. Солнце перед самым закатом вышло из-за серых туч, покрывающих небо, и вдруг багряным светом осветило лиловые тучи, зеленоватое море, покрытое кораблями и лодками, колыхаемое ровной широкой зыбью, и белые строения города, и народ, движущийся по улицам. По воде разносятся звуки какого-то старинного вальса, который играет полковая музыка на бульваре, и звуки выстрелов с бастионов, которые странно вторят им.

Севастополь. 1855 года, 25 апреля

Федор Иванович Тютчев

1803–1873

* * *

Как весел грохот летних бурь,
Когда, взметая прах летучий,
Гроза, нахлынувшая тучей,
Смутит небесную лазурь
И опрометчиво-безумно
Вдруг на дубраву набежит,
И вся дубрава задрожит
Широколиственно и шумно!..

Как под незримою пятой
Лесные гнутся исполины;
Тревожно ропщут их вершины,
Как совещаясь меж собой,–
И сквозь внезапную тревогу
Немолчно слышен птичий свист,
И кой-где первый желтый лист,
Крутясь, слетает на дорогу...

* * *

Как хорошо ты, о море ночное,—
Здесь лучезарно, там сизо-темно...
В лунном сиянии, словно живое,
Ходит, и дышит, и блещет оно...

На бесконечном, на вольном просторе
Блеск и движенье, грохот и гром...
Тусклым сияньем облитое море,
Как хорошо ты в безлюдье ночном!

Зыбь ты великая, зыбь ты морская,
Чей это праздник так празднуешь ты?
Волны несутся, гремя и сверкая,
Чуткие звезды глядят с высоты.

В этом волнении, в этом сиянье,
Весь, как во сне, я потерян стою —
О, как охотно бы в их обаянье
Всю потопил бы я душу свою...

* * *

Обвеян вещею дремотой,
Полураздетый лес грустит...
Из летних листьев разве сотый,
Блестя осенней позолотой,
Еще на ветви шелестит.

Гляжу с участьем умиленным,
Когда, пробившись из-за туч,
Вдруг по деревьям испещренным,
С их ветхим листьем изнуренным,
Молниевидный брызнет луч.

Как увядающее мило!
Какая прелесть в нем для нас,
Когда, что так цвело и жило,
Теперь, так немощно и хило,
В последний улыбнется раз!..

Алексей Николаевич Плещеев

1825–1893

* * *

Вперед! без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!
Зарю святого искупленья
Уж в небесах завидел я!

Смелей! дадим друг другу руки
И вместе двинемся вперед.
И пусть под знаменем науки
Союз наш крепнет и растет.

Жрецов греха и лжи мы будем
Глаголом истины карать,
И спящих мы от сна разбудим,
И поведем на битву рать!

Не сотворим себе кумира
Ни на земле, ни в небесах;
За все дары и блага мира
Мы не падем пред ним во прах!..

Провозглашать любви ученье
Мы будем нищим, богачам,
И за него снесем гоненье,
Простив безумным палачам!

Блажен, кто жизнь в борьбе кровавой,
В заботах тяжких истощил;
Как раб ленивый и лукавый,
Талант свой в землю не зарыл!

Пусть нам звездою путеводной
Святая истина горит;
И, верьте, голос благородный
Недаром в мире прозвучит!

Внемлите ж, братья, слову брата,
Пока мы полны юных сил:
Вперед, вперед, и без возврата,
Что б рок вдали нам ни сулил!

* * *

По чувствам братья мы с тобой,
Мы в искупленье верим оба,
И будем мы питать до гроба
Вражду к бичам страны родной.

Когда ж пробьет желанный час
И встанут спящие народы —
Святое воинство свободы
В своих рядах увидит нас.

Любовью к истине святой
В тебе, я знаю, сердце бьется,
И, верно, отзыв в нем найдется
На неподкупный голос мой.

Аполлон Николаевич Майков

1821–1897

* * *

Боже мой! Вчера — ненастье,
А сегодня — что за день!
Солнце, птицы! блеск и счастье!
Луг росист, цветет сирень...

А еще ты в сладкой лени
Спишь, малютка!.. О, постой!
Я пойду, нарву сирени,
Да холодною росой

Вдруг на сонную-то брызну...
То-то сладко будет мне
Победить в ней укоризну
Свежей вестью о весне!

РЫБНАЯ ЛОВЛЯ

...Живет вокруг равнина водяная,
Стрекозы синие колеблют поплавки,
И тощие кругом шныряют пауки,
И кружится, сребрясь, снетков веселых стая,
Иль брызнет в стороны, от щуки исчезая.
Но вот один рыбак вскочил, и трепеща
Все смотрят на него в каком-то страхе чутком.
Он, в обе руки взяв, на удили́ще гнутком
Выводит на воду упорного леща.
И черно-золотой красавец повернулся
И вдруг взмахнул хвостом, испуганный, рванулся.
«Отдай, отдай!» — кричат, и снова в глубину
Идет чудовище, и ходит, вся в струну
Натянута, леса... Дрожь вчуже пробирает!..
А тут мой поплавок мгновенно исчезает.
Тащу. Леса в воде описывает круг,
Уже зияет пасть зубастая, и вдруг
Взвилась моя леса, свистя над головою...
Обгрызла!.. Господи!.. но, зная норов щук,
Другую удочку за тою же травою
Тихонько завожу и жду, едва дыша...
Клюет... Напрягся я и со всего размаха,
Исполненный надежд, волнуяся от страха,
Выкидываю вверх чуть видного ерша...

Николай Семенович Лесков

1831–1895

ЛЕВША

Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Когда император Александр Павлович[1] окончил Венский совет[2], то он захотел по Европе проездиться и в разных государствах чудес посмотреть. Объездил он все страны и везде через свою ласковость всегда имел самые междоусобные разговоры со всякими людьми, и все его чем-нибудь удивляли и на свою сторону преклонять хотели, но при нем был донской казак Платов[3], который этого склонения не любил и, скучая по своему хозяйству, все государя домой манил. И чуть если Платов заметит, что государь чем-нибудь иностранным очень интересуется, то все провожатые молчат, а Платов сейчас скажет: так и так, и у нас дома свое не хуже есть,– и чем-нибудь отведет.

Англичане это знали и к приезду государеву выдумали разные хитрости, чтобы его чужестранностью пленить и от русских отвлечь, и во многих случаях они этого достигали, особенно в больших собраниях, где Платов не мог по-французски вполне говорить; но он этим мало и интересовался, потому что был человек женатый и все французские разговоры считал за пустяки, которые не сто́ят воображения. А когда англичане стали звать государя во всякие свои цейгаузы[4], оружейные и мыльнопильные заводы, чтобы показать свое над нами во всех вещах преимущество и тем славиться,– Платов сказал себе:

– Ну уж тут шабаш. До этих пор еще я терпел, а дальше нельзя. Сумею я или не сумею говорить, а своих людей не выдам.

---

[1] Александр I, российский император с 1801 по 1825 год.

[2] *Венский совет* – Венский конгресс 1814–1815 годов, завершивший войны европейских держав против Наполеона Бонапарта.

[3] *Донской казак Платов* – генерал от кавалерии Пла́тов Матвей Иванович (1751–1818), один из видных полководцев Отечественной войны 1812 года.

[4] *Цейга́уз* (правильное написание: *цейхгауз*) – склад с военным снаряжением.

И только он сказал себе такое слово, как государь ему говорит:

– Так и так, завтра мы с тобою едем их оружейную кунсткамеру смотреть. Там,– говорит,– такие природы совершенства, что как посмотришь, то уже больше не будешь спорить, что мы, русские, со своим значением никуда не годимся.

Платов ничего государю не ответил, только свой грабоватый нос в лохматую бурку спустил, а пришел в свою квартиру, велел денщику подать из погребца фляжку кавказской водки-кислярки[1], дерябнул хороший стакан, на дорожний складень богу помолился, буркой укрылся и захрапел так, что во всем доме англичанам никому спать нельзя было.

Думал: утро ночи мудренее.

ГЛАВА ВТОРАЯ

На другой день поехал государь с Платовым в кунсткамеры. Больше государь никого из русских с собою не взял, потому что карету им подали двухсестную.

Приезжают в пребольшое здание – подъезд неописанный, коридоры до бесконечности, а комнаты одна в одну, и, наконец, в самом главном зале разные огромадные бюстры, и посредине под валдахином стоит Аболон полведерский.

Государь оглядывается на Платова: очень ли он удивлен и на что смотрит; а тот идет глаза опустивши, как будто ничего не видит,– только из усов кольца вьет.

Англичане сразу стали показывать разные удивления и пояснять, что к чему у них приноровлено для военных обстоятельств: буреметры морские, мерблюзьи мантоны пеших полков, а для конницы смолевые непромокабли. Государь на все это радуется, все кажется ему очень хорошо, а Платов держит свою ажидацию, что для него все ничего не значит.

Государь говорит:

---

[1] Кизлярки. – *Примечание Н. С. Лескова.* (Автор ведет этот сказ от лица простого, не очень грамотного человека и потому часто дает иностранные по своему происхождению слова так, как их произносил или мог произносить такой человек; делается это с доброй усмешкой, с юмором. Смотри далее: вместо *бюсты* – «бюстры», вместо *балдахин* – «валдахин», вместо *Аполлон Бельведерский* – «Аболон полведерский», вместо *микроскоп* – «мелкоскоп» и т. д.)

— Как это возможно — отчего в тебе такое бесчувствие? Неужто тебе здесь ничто не удивительно?

А Платов отвечает:

— Мне здесь то одно удивительно, что мои донцы-молодцы без всего этого воевали и дванадесять язык прогнали.

Государь говорит:

— Это безрассудок.

Платов отвечает:

— Не знаю, к чему отнести, но спорить не смею и должен молчать.

А англичане, видя между государя такую перемолвку, сейчас подвели его к самому Аболону полведерскому и берут у того из одной руки Мортимерово ружье, а из другой пистолю.

— Вот,— говорят,— какая у нас производительность,— и подают ружье.

Государь на Мортимерово ружье посмотрел спокойно, потому что у него такие в Царском Селе есть, а они потом дают ему пистолю и говорят:

— Это пистоля неизвестного, неподражаемого мастерства — ее наш адмирал у разбойничьего атамана в Канделабрии из-за пояса выдернул.

Государь взглянул на пистолю и наглядеться не может.

Взахался ужасно.

— Ах, ах, ах,— говорит,— как это так... как это даже можно так тонко сделать! — И к Платову по-русски оборачивается и говорит: — Вот если бы у меня был хотя один такой мастер в России, так я бы этим весьма счастливый был и гордился, а того мастера сейчас же благородным бы сделал.

А Платов на эти слова в ту же минуту опустил правую руку в свои большие шаровары и тащит оттуда ружейную отвертку. Англичане говорят: «Это не отворяется», а он, внимания не обращая, ну замок ковырять. Повернул раз, повернул два — замок и вынулся. Платов показывает государю собачку, а там на самом сугибе сделана русская надпись: «Иван Москвин во граде Туле».

Англичане удивляются и друг дружку поталкивают:

— Ох-де, мы маху дали!

А государь Платову грустно говорит:

— Зачем ты их очень сконфузил, мне их теперь очень жалко. Поедем.

Сели опять в ту же двухсестную карету и поехали, и государь

в этот день на бале был, а Платов еще больший стакан кислярки выдушил и спал крепким казачьим сном.

Было ему и радостно, что он англичан оконфузил, а тульского мастера на точку вида поставил, но было и досадно: зачем государь под такой случай англичан сожалел!

«Через что это государь огорчился? – думал Платов,– совсем того не понимаю»,– и в таком рассуждении он два раза вставал, крестился и водку пил, пока насильно на себя крепкий сон навел.

А англичане же в это самое время тоже не спали, потому что и им завертело. Пока государь на бале веселился, они ему такое новое удивление подстроили, что у Платова всю фантазию отняли.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На другой день, как Платов к государю с добрым утром явился, тот ему и говорит:

– Пусть сейчас заложат двухсестную карету, и поедем в новые кунсткамеры смотреть.

Платов даже осмелился доложить, что не довольно ли, мол, чужеземные продукты смотреть и не лучше ли к себе в Россию собираться, но государь говорит:

– Нет, я еще желаю другие новости видеть: мне хвалили, как у них первый сорт сахар делают.

Поехали.

Англичане всё государю показывают: какие у них разные первые сорта, а Платов смотрел, смотрел да вдруг говорит:

– А покажите-ка нам ваших заводов сахар молвó.

А англичане и не знают, что это такое – молво. Перешептываются, перемигиваются, твердят друг дружке: «Молво, молво», а понять не могут, что это у нас такой сахар делается, и должны сознаться, что у них все сахара есть, а «молва» нет.

Платов говорит:

– Ну, так и нечем хвастаться. Приезжайте к нам, мы вас напоим чаем с настоящим молво Бобринского завода.

А государь его за рукав дернул и тихо сказал:

– Пожалуйста, не порть мне политики.

Тогда англичане позвали государя в самую последнюю кунсткамеру, где у них со всего света собраны минеральные

камни и нимфозории, начиная с самой огромнейшей египетской керамиды до закожной блохи, которую глазам видеть невозможно, а угрызение ее между кожей и телом.

Государь поехал.

Осмотрели керамиды и всякие чучелы и выходят вон, а Платов думает себе: «Вот, слава богу, все благополучно: государь ничему не удивляется».

Но только пришли в самую последнюю комнату, а тут стоят их рабочие в тужурных жилетках и в фартуках и держат поднос, на котором ничего нет.

Государь вдруг и удивился, что ему подают пустой поднос.

— Что это такое значит? — спрашивает; а а́глицкие мастера отвечают:

— Это вашему величеству наше покорное поднесение.

— Что же это?

— А вот,— говорят,— изволите видеть сориночку?

Государь посмотрел и видит: точно, лежит на серебряном подносе самая крошечная соринка.

Работники говорят:

— Извольте пальчик послюнить и ее на ладошку взять.

— На что же мне эта соринка?

— Это,— отвечают,— не соринка, а нимфозория.

— Живая она?

— Никак нет,— отвечают,— не живая, а из чистой из аглицкой стали в изображении блохи нами выкована, и в середине в ней завод и пружина. Извольте ключиком повернуть: она сейчас начнет дансе́ танцевать.

Государь залюбопытствовал и спрашивает:

— А где же ключик?

А англичане говорят:

— Здесь и ключ перед вашими очами.

— Отчего же,— государь говорит,— я его не вижу?

— Потому,— отвечают,— что это надо в мелкоскоп.

Подали мелкоскоп, и государь увидел, что возле блохи действительно на подносе ключик лежит.

— Извольте,— говорят,— взять ее на ладошечку — у нее в пузичке заводная дырка, а ключ семь поворотов имеет, и тогда она пойдет дансе...

Насилу государь этот ключик ухватил и насилу его в щепотке мог удержать, а в другую щепотку блошку взял и только ключик

вставил, как почувствовал, что она начинает усиками водить, потом ножками стала перебирать, а наконец вдруг прыгнула и на одном лету прямое дансе и две верояции в сторону, потом в другую, и так в три верояции всю кадриль станцевала.

Государь сразу же велел англичанам миллион дать, какими сами захотят деньгами,– хотят серебряными пятачками, хотят мелкими ассигнациями.

Англичане попросили, чтобы им серебром отпустили, потому что в бумажках они толку не знают; а потом сейчас и другую свою хитрость показали: блоху в дар подали, а футляра на нее не принесли; без футляра же ни ее, ни ключика держать нельзя, потому что затеряются и в сору их так и выбросят. А футляр на нее у них сделан из цельного бриллиантового ореха – и ей местечко в середине выдавлено. Этого они не подали, потому что футляр, говорят, будто казенный, а у них насчет казенного строго, хоть и для государя – нельзя жертвовать.

Платов было очень рассердился, потому что, говорит:

– Для чего такое мошенничество! Дар сделали и миллион за то получили, и все еще недостаточно! Футляр,– говорит,– всегда при всякой вещи принадлежит.

Но государь говорит:

– Оставь, пожалуйста, это не твое дело – не порть мне политики. У них свой обычай. – И спрашивает: – Сколько тот орех стоит, в котором блоха местится?

Англичане положили за это еще пять тысяч.

Государь Александр Павлович сказал: «Выплатить», а сам спустил блошку в этот орешек, а с нею вместе и ключик, а чтобы не потерять самый орех, опустил его в свою золотую табакерку, а табакерку велел положить в свою дорожную шкатулку, которая вся выстлана перламутром и рыбьей костью. Аглицких же мастеров государь с честью отпустил и сказал им: «Вы есть первые мастера на всем свете, и мои люди супротив вас сделать ничего не могут».

Те остались этим очень довольны, а Платов ничего против слов государя произнести не мог. Только взял мелкоскоп да, ничего не говоря, себе в карман спустил, потому что «он сюда же,– говорит,– принадлежит, а денег вы и без того у нас много взяли».

Государь этого не знал до самого приезда в Россию, а уехали они скоро, потому что у царя от военных дел сделалась меланхо-

лия и он захотел духовную исповедь иметь в Таганроге у попа Федота[1]. Дорогой у них с Платовым очень мало приятного разговора было, потому они совсем разных мыслей сделались: государь так соображал, что англичанам нет равных в искусстве, а Платов доводил, что и наши на что взглянут — все могут сделать, но только им полезного ученья нет. И представлял государю, что у аглицких мастеров совсем на всё другие правила жизни, науки и продовольствия, и каждый человек у них себе все абсолютные обстоятельства перед собою имеет, и через то в нем совсем другой смысл.

Государь этого не хотел долго слушать, а Платов, видя это, не стал усиливаться. Так они и ехали молча, только Платов на каждой станции выйдет и с досады квасной стакан водки выпьет, соленым бараночком закусит, закурит свою корешковую трубку, в которую сразу целый фунт Жукова табаку входило, а потом сядет и сидит рядом с царем в карете молча. Государь в одну сторону глядит, а Платов в другое окно чубук высунет и дымит на ветер. Так они и доехали до Петербурга, а к попу Федоту государь Платова уже совсем не взял.

— Ты,— говорит,— к духовной беседе невоздержен и так очень много куришь, что у меня от твоего дыму в голове копоть стоит.

Платов остался с обидою и лег дома на досадную укушетку, да так все и лежал да покуривал Жуков табак без перестачи.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Удивительная блоха из аглицкой воронёной стали оставалась у Александра Павловича в шкатулке под рыбьей костью, пока он скончался в Таганроге, отдав ее попу Федоту, чтобы сдал после государыне, когда она успокоится. Императрица Елисавета Алексеевна посмотрела блохины верояции и усмехнулась, но заниматься ею не стала.

— Мое,— говорит,— теперь дело вдовье, и мне никакие забавы не обольстительны,— а вернувшись в Петербург, передала эту

[1] «Поп Федот» не с ветра взят: император Александр Павлович перед своею кончиною в Таганроге исповедовался у священника Алексея Федотова-Чéховского, который после того именовался «духовником его величества» и любил ставить всем на вид это совершенно случайное обстоятельство. Вот этот-то Федотов-Чеховский, очевидно, и есть легендарный «поп Федот». — *Примечание Н. С. Лескова.*

диковину со всеми иными драгоценностями в наследство новому государю.

Император Николай Павлович[1] поначалу тоже никакого внимания на блоху не обратил, потому что при восходе его было смятение[2], но потом один раз стал пересматривать доставшуюся ему от брата шкатулку и достал из нее табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех, и в нем нашел стальную блоху, которая уже давно не была заведена и потому не действовала, а лежала смирно, как коченелая.

Государь посмотрел и удивился.

– Что это еще за пустяковина и к чему она тут у моего брата в таком сохранении!

Придворные хотели выбросить, но государь говорит:

– Нет, это что-нибудь значит.

Позвали от Аничкина моста из противной аптеки химика, который на самых мелких весах яды взвешивал, и ему показали, а тот сейчас взял блоху, положил на язык и говорит: «Чувствую хлад, как от крепкого металла». А потом зубом ее слегка помял и объявил:

– Как вам угодно, а это не настоящая блоха, а нимфозория, и она сотворена из металла, и работа эта не наша, не русская.

Государь велел сейчас разузнать: откуда это и что такое означает?

Бросились смотреть в дела и в списки,– но в делах ничего не записано. Стали того, другого спрашивать,– никто ничего не знает. Но, по счастью, донской казак Платов был еще жив и даже все еще на своей досадной укушетке лежал и трубку курил. Он как услыхал, что во дворце такое беспокойство, сейчас с укушетки поднялся, трубку бросил и явился к государю во всех орденах. Государь говорит:

– Что тебе, мужественный старик, от меня надобно?

А Платов отвечает:

– Мне, ваше величество, ничего для себя не надо, так как я пью-ем что хочу и всем доволен, а я,– говорит,– пришел доложить насчет этой нимфозории, которую отыскали: это,– говорит,– так и так было, и вот как происходило при моих глазах в

---

[1] Николай I, российский император с 1825 по 1855 год.

[2] *При восходе его было смятение* – речь идет о восстании декабристов, которое Николай I жестоко подавил при своем вступлении на престол.

Англии,– и тут при ней есть ключик, а у меня есть их же мелкоскоп, в который можно его видеть, и сим ключом через пузичко эту нимфозорию можно завести, и она будет скакать в каком угодно пространстве и в стороны верояции делать.

Завели, она и пошла прыгать, а Платов говорит:

– Это,– говорит,– ваше величество, точно, что работа очень тонкая и интересная, но только нам этому удивляться с одним восторгом чувств не следует, а надо бы подвергнуть ее русским пересмотрам в Туле или в Сестербеке,– тогда еще Сестрорецк Сестербеком звали,– не могут ли наши мастера сего превзойти, чтобы англичане над русскими не предвозвышались.

Государь Николай Павлович в своих русских людях был очень уверенный и никакому иностранцу уступать не любил, он и ответил Платову:

– Это ты, мужественный старик, хорошо говоришь, и я тебе это дело поручаю поверить. Мне эта коробочка все равно теперь при моих хлопотах не нужна, а ты возьми ее с собою и на свою досадную укушетку больше не ложись, а поезжай на тихий Дон и поведи там с моими донцами междоусобные разговоры насчет их жизни и преданности и что им нравится. А когда будешь ехать через Тулу, покажи моим тульским мастерам эту нимфозорию, и пусть они о ней подумают. Скажи им от меня, что брат мой этой вещи удивлялся и чужих людей, которые делали нимфозорию, больше всех хвалил, а я на своих надеюсь, что они никого не хуже. Они моего слова не проронят и что-нибудь сделают.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Платов взял стальную блоху и, как поехал через Тулу на Дон, показал ее тульским оружейникам и слова государевы им передал, а потом спрашивает:

– Как нам теперь быть, православные?

Оружейники отвечают:

– Мы, батюшка, милостивое слово государево чувствуем и никогда его забыть не можем за то, что он на своих людей надеется, а как нам в настоящем случае быть, того мы в одну минуту сказать не можем, потому что аглицкая нация тоже не глупая, а довольно даже хитрая, и искусство в ней с большим смыслом. Против нее,– говорят,– надо взяться подумавши и с божьим благословением. А ты, если твоя милость, как и государь наш,

имеешь к нам доверие, поезжай к себе на тихий Дон, а нам эту блошку оставь, как она есть, в футляре и в золотой царской табакерочке. Гуляй себе по Дону и заживляй раны, которые приял за отечество, а когда назад будешь через Тулу ехать,– остановись и спосылай за нами: мы к той поре, бог даст, что-нибудь придумаем.

Платов не совсем доволен был тем, что туляки так много времени требуют и притом не говорят ясно: что такое именно они надеются устроить. Спрашивал он их так и иначе и на все манеры с ними хитро по-донски заговаривал; но туляки ему в хитрости нимало не уступили, потому что имели они сразу же такой замысел, по которому не надеялись даже, чтобы и Платов им поверил, а хотели прямо свое смелое воображение исполнить, да тогда и отдать.

Говорят:

– Мы еще и сами не знаем, что́ учиним, а только будем на бога надеяться, авось слово царское ради нас в постыждении не будет.

Так и Платов умом виляет, и туляки тоже.

Платов вилял, вилял, да увидал, что туляка ему не перевилять, подал им табакерку с нимфозорией и говорит:

– Ну, нечего делать, пусть,– говорит,– будет по-вашему; я вас знаю, какие вы, ну, одначе, делать нечего,– я вам верю, но только смотрите, бриллиант чтобы не подменить и аглицкой тонкой работы не испортьте, да недолго возитесь, потому что я шибко езжу: двух недель не пройдет, как я с тихого Дона опять в Петербург поворочу,– тогда мне чтоб непременно было что государю показать.

Оружейники его вполне успокоили:

– Тонкой работы,– говорят,– мы не повредим и бриллианта не отменим, а две недели нам времени довольно, а к тому случаю, когда назад возвратишься, будет тебе что-нибудь государеву великолепию достойное представить.

А что именно, этого так-таки и не сказали.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Платов из Тулы уехал, а оружейники три человека, самые искусные из них, один косой левша, на щеке пятно родимое, а на висках волосья при ученье выдраны, попрощались с товари-

щами и с своими домашними да, ничего никому не сказывая, взяли сумочки, положили туда что нужно съестного и скрылись из города.

Заметили за ними только то, что они пошли не в Московскую заставу, а в противоположную, киевскую сторону, и думали, что они пошли в Киев почивающим угодникам поклониться или посоветоваться там с кем-нибудь из живых святых мужей, всегда пребывающих в Киеве в изобилии. [...][1]

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

[...] Они шли вовсе не в Киев, а к Мценску, к уездному городу Орловской губернии, в котором стоит древняя «камнесеченная» икона св. Николая [...] св. Николай вообще покровитель торгового и военного дела, а «мценский Никола» в особенности, и ему-то туляки и пошли поклониться. Отслужили они молебен у самой иконы, потом у каменного креста и, наконец, возвратились домой «нощию» и, ничего никому не рассказывая, принялись за дело в ужасном секрете. Сошлись они все трое в один домик к левше, двери заперли, ставни в окнах закрыли, перед Николиным образом лампадку затеплили и начали работать.

День, два, три сидят и никуда не выходят, все молоточками потюкивают. Куют что-то такое, а что куют — ничего не известно.

Всем любопытно, а никто ничего не может узнать, потому что работающие ничего не сказывают и наружу не показываются. Ходили к домику разные люди, стучались в двери под разными видами, чтобы огня или соли попросить, но три искусника ни на какой спрос не отпираются, и даже чем питаются — неизвестно. Пробовали их пугать, будто по соседству дом горит,— не выскочат ли в перепуге и не объявится ли тогда, что́ ими выковано, но ничто не брало этих хитрых мастеров; один раз только левша высунулся по плечи и крикнул:

— Горите себе, а нам некогда,— и опять свою щипаную голову спрятал, ставню захлопнул и за свое дело принялся.

---

[1] Квадратными скобками и отточием отмечены небольшие сокращения в тексте.

Только сквозь малые щёлочки было видно, как внутри дома огонек блестит, да слышно, что тонкие молоточки по звонким наковальням вытюкивают.

Словом, все дело велось в таком страшном секрете, что ничего нельзя было узнать, и притом продолжалось оно до самого возвращения казака Платова с тихого Дона к государю, и во все это время мастера ни с кем не видались и не разговаривали.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Платов ехал очень спешно и с церемонией: сам он сидел в коляске, а на козлах два свистовые[1] казака с нагайками по обе стороны ямщика садились и так его и поливали без милосердия, чтобы скакал. А если какой казак задремлет, Платов его сам из коляски ногою ткнет, и еще злее понесутся. Эти меры побуждения действовали до того успешно, что нигде лошадей ни у одной станции нельзя было удержать, а всегда сто скачков мимо остановочного места перескакивали. Тогда опять казак над ямщиком обратно сдействует, и к подъезду возворотятся.

Так они и в Тулу прикатили,– тоже пролетели сначала сто скачков дальше Московской заставы, а потом казак сдействовал над ямщиком нагайкою в обратную сторону, и стали у крыльца новых коней запрягать. Платов же из коляски не вышел, а только велел свистовому как можно скорее привести к себе мастеровых, которым блоху оставил.

Побежал один свистовой, чтобы шли как можно скорее и несли ему работу, которою должны были англичан посрамить, и еще мало этот свистовой отбежал, как Платов вдогонку за ним раз за разом новых шлет, чтобы как можно скорее.

Всех свистовых разогнал и стал уже простых людей из любопытной публики посылать, да даже и сам от нетерпения ноги из коляски выставляет и сам от нетерпеливости бежать хочет, а зубами так и скрипит – все ему еще не скоро показывается.

Так в тогдашнее время все требовалось очень в аккурате и в скорости, чтобы ни одна минута для русской полезности не пропадала.

---

[1] То есть вестовые. (*Вестово́й* – солдат, выполняющий служебные поручения командира, чаще всего – обязанности посыльного.)

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Тульские мастера, которые удивительное дело делали, в это время как раз только свою работу оканчивали. Свистовые прибежали к ним запыхавшись, а простые люди из любопытной публики — те и вовсе не добежали, потому что с непривычки по дороге ноги рассыпали и повалилися, а потом от страха, чтобы не глядеть на Платова, ударились домой да где попало спрятались.

Свистовые же как прискочили, сейчас вскрикнули и как видят, что те не отпирают, сейчас без церемонии рванули болты у ставень, но болты были такие крепкие, что нимало не подались, дернули двери, а двери изнутри заложены на дубовый засов. Тогда свистовые взяли с улицы бревно, поддели им на пожарный манер под кровельную застреху да всю крышу с маленького домика сразу и своротили. Но крышу сняли, да и сами сейчас повалилися, потому что у мастеров в их тесной хороминке от безотдышной работы в воздухе такая потная спираль сделалась, что непривычному человеку с свежего поветрия и одного раза нельзя было продохнуть.

Послы закричали:

— Что же вы, такие-сякие, сволочи, делаете, да еще этакою спиралью ошибать смеете! Или в вас после этого бога нет!

А те отвечают:

— Мы сейчас, последний гвоздик заколачиваем и, как забьем, тогда нашу работу вынесем.

А послы говорят:

— Он нас до того часу живьем съест и на помин души не оставит.

Но мастера отвечают:

— Не успеет он вас поглотить, потому вот пока вы тут говорили, у нас уже и этот последний гвоздь заколочен. Бегите и скажите, что сейчас несем.

Свистовые побежали, но не с уверкою: думали, что мастера их обманут; а потому бежат, бежат да оглянутся; но мастера за ними шли и так очень скоро поспешали, что даже не вполне как следует для явления важному лицу оделись, а на ходу крючки в кафтанах застегивают. У двух у них в руках ничего не содержалось, а у третьего, у левши, в зеленом чехле царская шкатулка с аглицкой стальной блохой.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Свистовые подбежали к Платову и говорят:

– Вот они сами здесь!

Платов сейчас к мастерам:

– Готово ли?

– Всё,– отвечают,– готово.

– Подавай сюда.

Подали.

А экипаж уже запряжен, и ямщик и форейтор[1] на месте. Казаки сейчас же рядом с ямщиком уселись и нагайки над ним подняли и так замахнувши и держат.

Платов сорвал зеленый чехол, открыл шкатулку, вынул из ваты золотую табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех,– видит: аглицкая блоха лежит там какая была, а кроме ее ничего больше нет.

Платов говорит:

– Это что же такое? А где же ваша работа, которою вы хотели государя утешить?

Оружейники отвечали:

– Тут и наша работа.

Платов спрашивает:

– В чем же она себя заключает?

А оружейники отвечают:

– Зачем это объяснять? Все здесь в вашем виду,– и предусматривайте.

Платов плечами вздвигнул и закричал:

– Где ключ от блохи?

– А тут же,– отвечают. – Где блоха, тут и ключ, в одном орехе.

Хотел Платов взять ключ, но пальцы у него были куцапые: ловил, ловил,– никак не мог ухватить ни блохи, ни ключика от ее брюшного завода и вдруг рассердился и начал ругаться словами на казацкий манер.

Кричал:

– Что вы, подлецы, ничего не сделали, да еще, пожалуй, всю вещь испортили! Я вам голову сниму!

---

[1] *Форе́йтор* (устаревшее слово) – кучер, сидящий верхом на одной из лошадей, запряженных цугом, то есть друг за другом.

А туляки ему в ответ:

– Напрасно так нас обижаете,– мы от вас, как от государева посла, все обиды должны стерпеть, но только за то, что вы в нас усумнились и подумали, будто мы даже государево имя обмануть сходственны,– мы вам секрета нашей работы теперь не скажем, а извольте к государю отвезти – он увидит, каковы мы у него люди и есть ли ему за нас постыждение.

А Платов крикнул:

– Ну, так врете же вы, подлецы, я с вами так не расстанусь, а один из вас со мною в Петербург поедет, и я его там допытаюся, какие есть ваши хитрости.

И с этим протянул руку, схватил своими куцапыми пальцами за шивороток косого левшу, так что у того все крючочки от казакина отлетели, и кинул его к себе в коляску в ноги.

– Сиди,– говорит,– здесь до самого Петербурга вроде пубеля,– ты мне за всех ответишь. А вы,– говорит свистовым,– теперь гайда! Не зевайте, чтобы послезавтра я в Петербурге у государя был.

Мастера ему только осмелились сказать за товарища, что как же, мол, вы его от нас так без тугамента[1] увозите? ему нельзя будет назад следовать! А Платов им вместо ответа показал кулак – такой страшный, бугровый и весь изрубленный, кое-как сросся – и, погрозивши, говорит: «Вот вам тугамент!» А казакам говорит:

– Гайда, ребята!

Казаки, ямщики и кони – всё враз заработало и умчали левшу без тугамента, а через день, как приказал Платов, так его и подкатили к государеву дворцу и даже, расскакавшись как следует, мимо колонн проехали.

Платов встал, подцепил на себя ордена и пошел к государю, а косого левшу велел свистовым казакам при подъезде караулить.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Платов боялся к государю на глаза показаться, потому что Николай Павлович был ужасно какой замечательный и памятный – ничего не забывал. Платов знал, что он непременно его о блохе спросит. И вот он хоть никакого в свете неприятеля не

[1] Докуме́нта (па́спорта).

испугался, а тут струсил: вошел во дворец со шкатулочкою да потихонечку ее в зале за печкой и поставил. Спрятавши шкатулку, Платов предстал к государю в кабинет и начал поскорее докладывать, какие у казаков на тихом Дону междоусобные разговоры. Думал он так: чтобы этим государя занять, и тогда, если государь сам вспомнит и заговорит про блоху, надо подать и ответствовать, а если не заговорит, то промолчать; шкатулку кабинетному камердинеру велеть спрятать, а тульского левшу в крепостной казамат без сроку посадить, чтобы посидел там до времени, если понадобится.

Но государь Николай Павлович ни о чем не забывал, и чуть Платов насчет междоусобных разговоров кончил, он его сейчас же и спрашивает:

– А что же, как мои тульские мастера против аглицкой нимфозории себя оправдали?

Платов отвечал в том роде, как ему дело казалось.

– Нимфозория,– говорит,– ваше величество, все в том же пространстве, и я ее назад привез, а тульские мастера ничего удивительнее сделать не могли.

Государь ответил:

– Ты – старик мужественный, а этого, что ты мне докладываешь, быть не может.

Платов стал его уверять и рассказал, как все дело было, и как досказал до того, что туляки просили его блоху государю показать, Николай Павлович его по плечу хлопнул и говорит:

– Подавай сюда. Я знаю, что мои меня не могут обманывать. Тут что-нибудь сверх понятия сделано.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Вынесли из-за печки шкатулку, сняли с нее суконный покров, открыли золотую табакерку и бриллиантовый орех,– а в нем блоха лежит, какая прежде была и как лежала.

Государь посмотрел и сказал:

– Что за лихо! – Но веры своей в русских мастеров не убавил, а велел позвать свою любимую дочь Александру Николаевну и приказал ей:

– У тебя на руках персты тонкие – возьми маленький ключик и заведи поскорее в этой нимфозории брюшную машинку.

Принцесса стала крутить ключиком, и блоха сейчас усиками

зашевелила, но ногами не трогает. Александра Николаевна весь завод натянула, а нимфозория все-таки ни дансе не танцует и ни одной верояции, как прежде, не выкидывает.

Платов весь позеленел и закричал:

– Ах они, шельмы собаческие! Теперь понимаю, зачем они ничего мне так сказать не хотели. Хорошо еще, что я одного ихнего дурака с собой захватил.

С этими словами выбежал на подъезд, словил левшу за волосы и начал туда-сюда трепать так, что клочья полетели. А тот, когда его Платов перестал бить, поправился и говорит:

– У меня и так все волосья при учебе выдраны, а не знаю теперь, за какую надобность надо мною такое повторение?

– Это за то,– говорит Платов,– что я на вас надеялся и заручался, а вы редкостную вещь испортили.

Левша отвечает:

– Мы много довольны, что ты за нас ручался, а испортить мы ничего не испортили: возьмите, в самый сильный мелкоскоп смотри́те.

Платов назад побежал про мелкоскоп сказывать, а левше только погрозился:

– Я тебе,– говорит,– такой-сякой-этакой, еще задам.

И велел свистовым, чтобы левше еще крепче локти назад закрутить, а сам поднимается по ступеням, запыхался и читает молитву: «Благого царя благая мати, пречистая и чистая», и дальше, как надобно. А царедворцы, которые на ступенях стоят, все от него отворачиваются, думают: попался Платов и сейчас его из дворца вон погонят,– потому они его терпеть не могли за храбрость.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Как довел Платов ле́вшины слова государю, тот сейчас с радостию говорит:

– Я знаю, что мои русские люди меня не обманут. – И приказал подать мелкоскоп на подушке.

В ту же минуту мелкоскоп был подан, и государь взял блоху и положил ее под стекло сначала кверху спинкою, потом бочком, потом пузичком,– словом сказать, на все стороны ее повернули, а видеть нечего. Но государь и тут своей веры не потерял, а только сказал:

— Привести сейчас ко мне сюда этого оружейника, который внизу находится.

Платов докладывает:

— Его бы приодеть надо — он в чем был взят, и теперь очень в злом виде.

А государь отвечает:

— Ничего — ввести как он есть.

Платов говорит:

— Вот иди теперь сам, такой-этакой, перед очами государю отвечай.

А левша отвечает:

— Что ж, такой и пойду, и отвечу.

Идет в чем был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик старенький, крючочки не застегаются, порастеряны, а шиворот разорван; но ничего, не конфузится.

«Что ж такое? — думает. — Если государю угодно меня видеть, я должен идти; а если при мне тугамента нет, так я тому не причинен и скажу, отчего так дело было».

Как взошел левша и поклонился, государь ему сейчас и говорит:

— Что это такое, братец, значит, что мы и так и этак смотрели, и под мелкоскоп клали, а ничего замечательного не усматриваем?

А левша отвечает:

— Так ли вы, ваше величество, изволили смотреть?

Вельможи ему кивают: дескать, не так говоришь! а он не понимает, как надо по-придворному, с лестью или с хитростью, а говорит просто.

Государь говорит:

— Оставьте над ним мудрить,— пусть его отвечает, как он умеет.

И сейчас ему пояснил:

— Мы,— говорит,— вот как клали. — И положил блоху под мелкоскоп. — Смотри,— говорит,— сам — ничего не видно.

Левша отвечает:

— Этак, ваше величество, ничего и невозможно видеть, потому что наша работа против такого размера гораздо секретнее.

Государь вопросил:

— А как же надо?

— Надо,— говорит,— всего одну ее ножку в подробности под

весь мелкоскоп подвести и отдельно смотреть на всякую пяточку, которой она ступает.

– Помилуй, скажи,– говорит государь,– это уже очень сильно мелко!

– А что же делать,– отвечает левша,– если только так нашу работу и заметить можно: тогда все и удивление окажется.

Положили, как левша сказал, и государь как только глянул в верхнее стекло, так весь и просиял,– взял левшу, какой он был неубранный и в пыли, неумытый, обнял его и поцеловал, а потом обернулся ко всем придворным и сказал:

– Видите, я лучше всех знал, что мои русские меня не обманут. Глядите, пожалуйста: ведь они, шельмы, аглицкую блоху на подковы подковали!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Стали все подходить и смотреть: блоха действительно была на все ноги подкована на настоящие подковы, а левша доложил, что и это еще не все удивительное.

– Если бы,– говорит,– был лучше мелкоскоп, который в пять миллионов увеличивает, так вы изволили бы,– говорит,– увидать, что на каждой подковинке мастерово имя выставлено: какой русский мастер ту подковку делал.

– И твое имя тут есть? – спросил государь.

– Никак нет,– отвечает левша,– моего одного и нет.

– Почему же?

– А потому,– говорит,– что я мельче этих подковок работал: я гвоздики выковывал, которыми подковки забиты,– там уже никакой мелкоскоп взять не может.

Государь спросил:

– Где же ваш мелкоскоп, с которым вы могли произвести это удивление?

А левша ответил:

– Мы люди бедные и по бедности своей мелкоскопа не имеем, а у нас так глаз пристрелявши.

Тут и другие придворные, видя, что левши дело выгорело, начали его целовать, а Платов ему сто рублей дал и говорит:

– Прости меня, братец, что я тебя за волосья отодрал.

Левша отвечает:

– Бог простит,– это нам не впервые такой снег на голову.

А больше и говорить не стал, да и некогда ему было ни с кем разговаривать, потому что государь приказал сейчас же эту подкованную нимфозорию уложить и отослать назад в Англию — вроде подарка, чтобы там поняли, что нам это не удивительно. И велел государь, чтобы вез блоху особый курьер, который на все языки учен, а при нем чтобы и левша находился и чтобы он сам англичанам мог показать работу и каковые у нас в Туле мастера есть.

Платов его перекрестил.

— Пусть,— говорит,— над тобою будет благословение, а на дорогу я тебе моей собственной кислярки пришлю. Не пей мало, не пей много, а пей средственно.

Так и сделал — прислал.

А граф Кисельвроде велел, чтобы обмыли Левшу в Туляковских всенародных банях, остригли в парикмахерской и одели в парадный кафтан с придворного певчего, для того, дабы похоже было, будто и на нем какой-нибудь жалованный чин есть.

Как его таким манером обформировали, напоили на дорогу чаем с платовскою кисляркою, затянули ременным поясом как можно туже, чтобы кишки не тряслись, и повезли в Лондон. Отсюда с левшой и пошли заграничные виды.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Ехали курьер с левшою очень скоро, так что от Петербурга до Лондона нигде отдыхать не останавливались, а только на каждой станции пояса на один значок еще уже перетягивали, чтобы кишки с легкими не перепутались; но как левше после представления государю, по платовскому приказанию, от казны винная порция вволю полагалась, то он, не евши, этим одним себя поддерживал и на всю Европу русские песни пел, только припев делал по-иностранному: «Ай люли — се тре жули».

Курьер как привез его в Лондон, так явился к кому надо и отдал шкатулку, а левшу в гостинице в номер посадил, но ему тут скоро скучно стало, да и есть захотелось. Он постучал в дверь и показал услужающему себе на рот, а тот сейчас его и свел в пищеприемную комнату.

Сел тут левша за стол и сидит, а как чего-нибудь по-аглицки спросить — не умеет. Но потом догадался: опять просто по столу перстом постучит да в рот себе покажет,— англичане дога-

дываются и подают, только не всегда того, что надобно, но он что ему не подходящее не принимает. Подали ему ихнего приготовления горячий студинг в огне,– он говорит: «Это я не знаю, чтобы такое можно есть», и вкушать не стал; они ему переменили и другого кушанья поставили. Также и водки их пить не стал, потому что она зеленая – вроде как будто купоросом заправлена, а выбрал, что всего натуральнее, и ждет курьера в прохладе за баклажечкой.

А те лица, которым курьер нимфозорию сдал, сию же минуту ее рассмотрели в самый сильный мелкоскоп и сейчас в публицейские ведомости описание, чтобы завтра же на всеобщее известие клеветон вышел.

– А самого этого мастера,– говорят,– мы сейчас хотим видеть.

Курьер их препроводил в номер, а оттуда в пищеприемную залу, где наш левша порядочно уже подрумянился, и говорит: «Вот он!»

Англичане левшу сейчас хлоп-хлоп по плечу и как ровного себе – за руки. «Камрад,– говорят,– камрад – хороший мастер,– разговаривать с тобой со временем, после будем, а теперь выпьем за твое благополучие».

Спросили много вина, и левше первую чарку, а он с вежливостью первый пить не стал: думает,– может быть, отравить с досады хотите.

– Нет,– говорит,– это не порядок: и в Польше нет хозяина больше,– сами вперед кушайте.

Англичане всех вин перед ним опробовали и тогда ему стали наливать. Он встал, левой рукой перекрестился и за всех их здоровье выпил.

Они заметили, что он левой рукою крестится, и спрашивают у курьера:

– Что он – лютеранец или протестантист?

Курьер отвечает:

– Нет, он не лютеранец и не протестантист, а русской веры.

– А зачем же он левой рукой крестится?

Курьер сказал:

– Он – левша и все левой рукой делает.

Англичане еще больше стали удивляться и начали накачивать вином и левшу и курьера, и так целые три дня обходилися, а потом говорят: «Теперь довольно». По симфону воды с ерфик-

сом приняли и, совсем освежевши, начали расспрашивать левшу: где он и чему учился и до каких пор арифметику знает?

Левша отвечает:

– Наша наука простая: по Псалтирю[1] да по Полусоннику[2], а арифметики мы нимало не знаем.

Англичане переглянулись и говорят:

– Это удивительно.

А левша им отвечает:

– У нас это так повсеместно.

– А что же это,– спрашивают,– за книга в России «Полусонник»?

– Это,– говорит,– книга, к тому относящая, что если в Псалтире что-нибудь насчет гаданья царь Давид неясно открыл, то в Полусоннике угадывают дополнение.

Они говорят:

– Это жалко, лучше бы, если б вы из арифметики по крайности хоть четыре правила сложения знали, то бы вам было гораздо пользительнее, чем весь Полусонник. Тогда бы вы могли сообразить, что в каждой машине расчет силы есть, а то вот хоша вы очень в руках искусны, а не сообразили, что такая малая машинка, как в нимфозории, на самую аккуратную точность рассчитана и ее подковок несть не может. Через это теперь нимфозория и не прыгает и дансе не танцует.

Левша согласился.

– Об этом,– говорит,– спору нет, что мы в науках не зашлись, но только своему отечеству верно преданные.

А англичане сказывают ему:

– Оставайтесь у нас, мы вам большую образованность передадим, и из вас удивительный мастер выйдет.

Но на это левша не согласился.

– У меня,– говорит,– дома родители есть.

Англичане назвались, чтобы его родителям деньги посылать, но левша не взял.

– Мы,– говорит,– к своей родине привержены, и тятенька мой уже старичок, а родительница – старушка и привыкши в

---

[1] *Псалти́рь* – книга религиозных песнопений – псалмо́в; в старину по ней учили грамоте.

[2] *Полусо́нник* – «со́нник», толкователь снов; сонники в XIX веке издавались в большом количестве.

свой приход в церковь ходить, да и мне тут в одиночестве очень скучно будет, потому что я еще в холостом звании.

— Вы,— говорят,— обвыкнете, наш закон примете, и мы вас женим.

— Этого,— ответил левша,— никогда быть не может.

— Почему так?

— Потому,— отвечает,— что наша русская вера самая правильная, и как верили наши правотцы, так же точно должны верить и потомцы.

— Вы,— говорят англичане,— нашей веры не знаете: мы того же закона христианского и то же самое Евангелие содержим.

— Евангелие,— отвечает левша,— действительно у всех одно, а только наши книги ваших толще, и вера у нас полнее.

— Почему вы так это можете судить?

— У нас тому,— отвечает,— есть все очевидные доказательства.

— Какие?

— А такие,— говорит,— что у нас есть и боготворные иконы, и гроботочивые главы и мощи, а у вас ничего, и даже, кроме одного воскресенья, никаких экстренных праздников нет, а по второй причине — мне с англичанкою, хоть и повенчавшись в законе, жить конфузно будет.

— Отчего же так? — спрашивают. — Вы не пренебрегайте: наши тоже очень чисто одеваются и хозяйственные.

А левша говорит:

— Я их не знаю.

Англичане отвечают:

— Это не важно суть — узнать можете: мы вам грандеву[1] сделаем.

Левша застыдился.

— Зачем,— говорит,— напрасно девушек морочить. — И отнекался. — Грандеву,— говорит,— это дело господское, а нам нейдет, и если об этом дома, в Туле, узнают, надо мною большую насмешку сделают.

Англичане полюбопытствовали:

— А если,— говорят,— без грандеву, то как же у вас в таких случаях поступают, чтобы приятный выбор сделать?

Левша им объяснил наше положение.

---

[1] Рандеву́ *(франц.)*, свидание.

— У нас,— говорит,— когда человек хочет насчет девушки обстоятельное намерение обнаружить, посылает разговорную женщину, и как она предлог сделает, тогда вместе в дом идут вежливо и девушку смотрят не таясь, а при всей родственности.

Они поняли, но отвечали, что у них разговорных женщин нет и такого обыкновения не водится, а левша говорит:

— Это тем и приятнее, потому что таким делом если заняться, то надо с обстоятельным намерением, а как я сего к чужой нации не чувствую, то зачем девушек морочить?

Он англичанам и в этих своих суждениях понравился, так что они его опять пошли по плечам и по коленям с приятством ладошками охлопывать, а сами спрашивают:

— Мы бы,— говорят,— только через одно любопытство знать желали: какие вы порочные приметы в наших девицах приметили и за что их обегаете?

Тут левша им уже откровенно ответил:

— Я их не порочу, а только мне то не нравится, что одежда на них как-то машется, и не разобрать, что такое надето и для какой надобности; тут одно что-нибудь, а ниже еще другое пришпилено, а на руках какие-то ногавочки[1]. Совсем точно обезьяна-сапажу — плисовая тальма[2].

Англичане засмеялись и говорят:

— Какое же вам в этом препятствие?

— Препятствия,— отвечает левша,— нет, а только опасаюсь, что стыдно будет смотреть и дожидаться, как она изо всего из этого разбираться станет.

— Неужели же,— говорят,— ваш фасон лучше?

— Наш фасон,— отвечает,— в Туле простой: всякая в своих кружевцах, и наши кружева даже и большие дамы носят.

Они его тоже и своим дамам казали, и там ему чай наливали и спрашивали:

— Для чего вы морщитесь?

Он отвечал, что мы, говорит, очень сладко не приучены.

Тогда ему по-русски вприкуску подали.

Им показывается, что этак будто хуже, а он говорит:

---

[1] *Нога́вочки* — чулки или носки.

[2] *Обезьяна-сапажу́ — пли́совая та́льма* — так автор насмешливо обрисовал наряд модницы (*плис* — это род хлопчатобумажного бархата, модный в те времена; *тальма* — женская длинная накидка без рукавов).

— На наш вкус этак вкуснее.

Ничем его англичане не могли сбить, чтобы он на их жизнь прельстился, а только уговорили его на короткое время погостить, и они его в это время по разным заводам водить будут и всё свое искусство покажут.

— А потом,— говорят,— мы его на своем корабле привезем и живого в Петербург доставим.

На это он согласился.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Взяли англичане левшу на свои руки, а русского курьера назад в Россию отправили. Курьер хотя и чин имел и на разные языки был учен, но они им не интересовались, а левшою интересовались,— и пошли они левшу водить и всё ему показывать. Он смотрел все их производство; и металлические фабрики, и мыльнопильные заводы, и все хозяйственные порядки их ему очень нравились, особенно насчет рабочего содержания. Всякий работник у них постоянно в сытости, одет не в обрывках, а на каждом способный тужурный жилет, обут в толстые щиглеты с железными набалдашниками, чтобы нигде ноги ни на что не напороть; работает не с бойлóм, а с обучением и имеет себе понятия. Перед каждым на виду висит долбица умножения, а под рукою стирабельная дощечка: все, что который мастер делает,— на долбицу смотрит и с понятием сверяет, а потом на дощечке одно пишет, другое стирает и в аккурат сводит. А придет праздник, соберутся по парочке, возьмут в руки по палочке и идут гулять чинно-благородно, как следует.

Левша на все их житье и на все их работы насмотрелся, но больше всего внимание обращал на такой предмет, что англичане очень удивлялись. Не столь его занимало, как новые ружья делают, сколь то, как старые в каком виде состоят. Все обойдет, и хвалит, и говорит:

— Это и мы так можем.

А как до старого ружья дойдет,— засунет палец в дуло, поводит по стенкам и вздохнет:

— Это,— говорит,— против нашего не в пример превосходнейше.

Англичане никак не могли отгадать, что такое левша замечает, а он спрашивает:

—Не могу ли,— говорит,— я знать, чтó, наши генералы это когда-нибудь глядели или нет?

Ему говорят:

— Которые тут были, те, должно быть, глядели.

— А как,— говорит,— они были: в перчатке или без перчатки?

— Ваши генералы,— говорят,— парадные, они всегда в перчатках ходят; значит, и здесь так были.

Левша ничего не сказал. Но вдруг начал беспокойно скучать. Затосковал и затосковал, и говорит англичанам:

— Покорно благодарствуйте на всем угощении, и я всем у вас очень доволен, и все, что мне нужно было видеть, уже увидел, а теперь я скорее домой хочу.

Никак его более удержать не могли. По суше его пустить нельзя, потому что он на все языки не умел, а по воде плыть нехорошо было, потому что время было осеннее, бурное, но он пристал: отпустите.

— Мы на буреметр,— говорят,— смотрели: буря будет, потонуть можешь; это ведь не то, что у вас Финский залив, а тут настоящее Твердиземное море.

— Это все равно,— отвечает,— где умереть,— все единственно, воля божия, а я желаю скорее в родное место, потому что иначе я могу род помешательства достать.

Его силóм не удерживали: напитали, деньгами наградили, подарили ему на память золотые часы с трепетиром, а для морской прохлады на поздний осенний путь дали байковое пальто с ветряной нахлобучкой на голову. Очень тепло одели и отвезли левшу на корабль, который в Россию шел. Тут поместили левшу в лучшем виде, как настоящего барина, но он с другими господами в закрытии сидеть не любил и совестился, а уйдет на палубу, под презент сядет и спросит: «Где наша Россия?»

Англичанин, которого он спрашивает, рукою ему в ту сторону покажет или головою махнет, а он туда лицом оборотится и нетерпеливо в родную сторону смотрит.

Как вышли из буфты в Твердиземное море, так стремление его к России такое сделалось, что никак его нельзя было успокоить. Водопление стало ужасное, а левша все вниз в каюты нейдет — под презентом сидит, нахлобучку надвинул и к отечеству смотрит.

Много раз англичане приходили его в теплое место вниз звать, но он, чтобы ему не докучали, даже отлыгаться начал.

— Нет,— отвечает,— мне тут наружи лучше; а то со мною под крышей от колтыхания морская свинка сделается.

Так все время и не сходил до особого случая и через это очень понравился одному полшкиперу[1], который, на горе нашего левши, умел по-русски говорить. Этот полшкипер не мог надивиться, что русский сухопутный человек и так все непогоды выдерживает.

— Молодец,— говорит,— рус! Выпьем!

Левша выпил.

А полшкипер говорит:

— Еще!

Левша и еще выпил, и напились.

Полшкипер его и спрашивает:

— Ты какой от нашего государства в Россию секрет везешь?

Левша отвечает:

— Это мое дело.

— А если так,— отвечал полшкипер,— так давай держать с тобой аглицкое пари.

Левша спрашивает:

— Какое?

— Такое, чтобы ничего в одиночку не пить, а всего пить заровно: что один, то непременно и другой, и кто кого перепьет, того и горка.

Левша думает: небо тучится, брюхо пучится,— скука большая, а путина длинная, и родного места за волною не видно — пари держать все-таки веселее будет.

— Хорошо,— говорит,— идет!

— Только чтоб честно.

— Да уж это,— говорит,— не беспокойтесь.

Согласились и по рукам ударили.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Началось у них пари еще в Твердиземном море, и пили они до рижского Динаминде, но шли всё наравне и друг другу не уступали, и до того аккуратно равнялись, что когда один, глянув

---

[1] *Полшки́пер* — правильно: *подшки́пер* — помощник шкипера (мореходный термин).

в море, увидал, как из воды черт лезет, так сейчас то же самое и другому объявилось. Только полшкипер видит черта рыжего, а левша говорит, будто он темен, как мурин.

Левша говорит:

– Перекрестись и отворотись – это черт из пучины.

А англичанин спорит, что «это морской водоглаз».

– Хочешь,– говорит,– я тебя в море швырну? Ты не бойся – он мне тебя сейчас назад подаст.

А левша отвечает:

– Если так, то швыряй.

Полшкипер его взял на закорки и понес к борту.

Матросы это увидали, остановили их и доложили капитану, а тот велел их обоих вниз запереть и дать им рому и вина и холодной пищи, чтобы могли и пить и есть и свое пари выдержать,– а горячего студингу с огнем им не подавать, потому что у них в нутре может спирт загореться.

Так их и провезли взаперти до Петербурга, и пари из них ни один друг у друга не выиграл; а тут расклали их на разные повозки и повезли англичанина в посланнический дом на Аглицкую набережную, а левшу – в квартал.

Отсюда судьба их начала сильно разниться.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Англичанина как привезли в посольский дом, сейчас сразу позвали к нему лекаря и аптекаря. Лекарь велел его при себе в теплую ванну всадить, а аптекарь сейчас же скатал гуттаперчевую пилюлю и сам в рот ему всунул, а потом оба вместе взялись и положили на перину и сверху шубой покрыли и оставили потеть, а чтобы ему никто не мешал, по всему посольству приказ дан, чтобы никто чихать не смел. Дождались лекарь с аптекарем, пока полшкипер заснул, и тогда другую гуттаперчевую пилюлю ему приготовили, возле его изголовья на столик положили и ушли.

А левшу свалили в квартале на пол и спрашивают:

– Кто такой и откудова, и есть ли паспорт или какой другой тугамент?

А он от болезни, от питья и от долгого колтыханья так ослабел, что ни слова не отвечает, а только стонет.

Тогда его сейчас обыскали, пестрое платье с него сняли и часы с трепетиром, и деньги обрали, а самого пристав велел на встречном извозчике бесплатно в больницу отправить.

Повел городовой левшу на санки сажать, да долго ни одного встречника поймать не мог, потому извозчики от полицейских бегают. А левша все время на холодном парате лежал; потом поймал городовой извозчика, только без теплой лисы, потому что они лису в санях в таком разе под себя прячут, чтобы у полицейских скорей ноги стыли. Везли левшу так, непокрытого, да как с одного извозчика на другого станут пересаживать, всё роняют, а поднимать станут — ухи рвут, чтобы в память пришел. Привезли в одну больницу — не принимают без тугамента, привезли в другую — и там не принимают, и так в третью, и в четвертую — до самого утра его по всем отдаленным кривопуткам таскали и всё пересаживали, так что он весь избился. Тогда один подлекарь сказал городовому везти его в простонародную Обухвинскую больницу, где неведомого сословия всех умирать принимают.

Тут велели расписку дать, а левшу до разборки на полу в коридор посадить.

А аглицкий полшкипер в это самое время на другой день встал, другую гуттаперчевую пилюлю в нутро проглотил, на легкий завтрак курицу с рысью съел, ерфиксом запил и говорит:

— Где мой русский камрад? Я его искать пойду.

Оделся и побежал.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Удивительным манером полшкипер как-то очень скоро левшу нашел, только его еще на кровать не уложили, а он в коридоре на полу лежал и жаловался англичанину.

— Мне бы,— говорит,— два слова государю непременно надо сказать.

Англичанин побежал к графу Клейнмихелю и зашумел:

— Разве так можно! У него,— говорит,— хоть и шуба овечкина, так душа человечкина.

Англичанина сейчас оттуда за это рассуждение вон, чтобы не смел поминать душу человечкину. А потом ему кто-то сказал: «Сходил бы ты лучше к казаку Платову — он простые чувства имеет».

Англичанин достиг Платова, который теперь опять на укушетке лежал. Платов его выслушал и про левшу вспомнил.

– Как же, братец,– говорит,– очень коротко с ним знаком, даже за волоса его драл, только не знаю, как ему в таком несчастном разе помочь; потому что я уже совсем отслужился и полную пуплекцию получил – теперь меня больше не уважают,– а ты беги скорее к коменданту Скобелеву, он в силах и тоже по этой части опытный, он что-нибудь сделает.

Полшкипер пошел и к Скобелеву и все рассказал: какая у левши болезнь и отчего сделалась. Скобелев говорит:

– Я эту болезнь понимаю, только немцы ее лечить не могут, а тут надо какого-нибудь доктора из духовного звания, потому что те в этих примерах выросли и помогать могут: я сейчас пошлю туда русского доктора Мартын-Сольского.

Но только когда Мартын-Сольский приехал, левша уже кончался, потому что у него затылок о парат раскололся, и он одно только мог внятно выговорить:

– Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся.

И с этою верностью левша перекрестился и помер.

Мартын-Сольский сейчас же поехал, об этом графу Чернышёву доложил, чтобы до государя довести, а граф Чернышев на него закричал:

– Знай,– говорит,– свое рвотное да слабительное, а не в свое дело не мешайся: в России на это генералы есть.

Государю так и не сказали, и чистка все продолжалась, до самой Крымской кампании. В тогдашнее время как стали ружья заряжать, а пули в них и болтаются, потому что стволы кирпичом расчищены.

Тут Мартын-Сольский Чернышеву о левше и напомнил, а граф Чернышев и говорит:

– Пошел к черту, плези́рная трубка, не в свое дело не мешайся, а не то я отопрусь, что никогда от тебя об этом не слыхал,– тебе же и достанется.

Мартын-Сольский подумал: «И вправду отопрется»,– так и молчал.

А доведи они левшины слова в свое время до государя,– в Крыму на войне с неприятелем совсем бы другой оборот был.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Теперь все это уже «дела минувших дней» и «преданья старины»[1], хотя и не глубокой, но предания эти нет нужды торопиться забывать, несмотря на баснословный склад легенды и эпический характер ее главного героя. Собственное имя левши, подобно именам многих величайших гениев, навсегда утрачено для потомства; но как олицетворенный народною фантазиею миф он интересен, а его похождения могут служить воспоминанием эпохи, общий дух которой схвачен метко и верно.

Таких мастеров, как баснословный левша, теперь, разумеется, уже нет в Туле: машины сравняли неравенство талантов и дарований, и гений не рвется в борьбе против прилежания и аккуратности. Благоприятствуя возвышению заработка, машины не благоприятствуют артистической удали, которая иногда превосходила меру, вдохновляя народную фантазию к сочинению подобных нынешней баснословных легенд.

Работники, конечно, умеют ценить выгоды, доставляемые им практическими приспособлениями механической науки, но о прежней старине они вспоминают с гордостью и любовью. Это их эпос, и притом с очень «человечкиной душою».

Алексей Константинович Толстой

1817–1875

ВАСИЛИЙ ШИБАНОВ[2]

Князь Курбский от царского гнева бежал,
С ним Васька Шибанов, стремянный[3],
Дороден был князь. Конь измученный пал.

---

[1] В кавычках – слова из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».

[2] Опасаясь Ивана Грозного, одного за другим уничтожавшего русских бояр, князь Андрей Курбский бежал в Литву вместе со своим слугой Василием Шибановым. Оттуда он направил Грозному письмо, укорявшее царя в жестокости по отношению к сподвижникам. Письмо привез Грозному Шибанов; он понимал при этом, что князь обрек его на гибель.

[3] *Стремя́нный* – в старину – придворный, находившийся у царского стремени (на коне) при торжественных выездах царя, а также слуга, сопровождавший конного боярина.

Как быть среди ночи туманной?
Но рабскую верность Шибанов храня,
Свово отдает воеводе коня:
«Скачи, князь, до вражьего стану,
Авось я пешóй не отстану».

И князь доскакал. Под литовским шатром
Опальный сидит воевода,
Стоят в изумленье литовцы кругом,
Без шапок толпятся у входа,
Всяк русскому витязю честь воздает;
Недаром дивится литовский народ,
И ходят их головы кругом:
«Князь Курбский нам сделался другом».

Но князя не радует новая честь,
Исполнен он желчи и злобы;
Готовится Курбский царю перечесть
Души оскорбленной зазнобы:
«Что долго в себе я таю и ношу,
То все я пространно к царю напишу,
Скажу напрямик, без изгиба,
За все его ласки спасибо».

И пишет боярин всю ночь напролет,
Перо его местию дышит,
Прочтет, улыбнется, и снова прочтет...
И снова без отдыха пишет,
И злыми словами язвит он царя,
И вот уж, когда занялася заря,
Поспело, ему на отраду,
Послание, полное яду.

Но кто ж дерзновенные князя слова
Отвезть Иоанну возьмется?
Кому не люба на плечах голова,
Чье сердце в груди не сожмется?
Невольно сомненья на князя нашли...
Вдруг входит Шибанов в поту и в пыли:
«Князь, служба моя не нужна ли?
Вишь, наши меня не догнали!»

И в радости князь посылает раба,
Торопит его в нетерпенье:
«Ты телом здоров, и душа не слаба,
А вот и рубли в награжденье!»
Шибанов в ответ господину: «Добро!
Тебе здесь нужнее твое серебро,
А я передам и за муки
Письмо твое в царские руки».

Звон медный несется, гудит над Москвой;
Царь, в смирной одежде, трезвонит:
Зовет ли обратно он прежний покой
Аль совесть навеки хоронит?
Но часто и мерно он в колокол бьет,
И звону внимает московский народ
И молится, полный боязни,
Чтоб день миновался без казни.

В ответ властелину гудят терема,
Звонит с ним и Вяземский лютый,
Звонит всей опричнины кромешная тьма,
И Васька Грязной, и Малюта[1],
И тут же, гордяся своею красой,
С девичьей улыбкой, с змеиной душой,
Любимец звонит Иоаннов,
Отверженный богом Басманов.

Царь кончил; на жезл опираясь, идет,
И с ним всех окольных[2] собранье.
Вдруг едет гонец, раздвигает народ,
Над шапкою держит посланье.
И спрянул с коня он поспешно долой,
К царю Иоанну подходит пешой
И молвит ему, не бледнея:
«От Курбского князя Андрея!»

---

[1] *Малю́та Скура́тов* — один из опричников, игравший крупную роль в царствование Ивана Грозного; опричнина была создана Грозным для подавления бояр.

[2] *Око́льный*, или *око́льничий* (тот, кто *около*, рядом) — сан приближённого к царю лица.

И очи царя загорелися вдруг:
«Ко мне? От злодея лихого?
Читайте же, дьяки, читайте мне вслух
Посланье от слова до слова!
Подай сюда грамоту, дерзкий гонец!»
И в ногу Шибанова острый конец
Жезла своего он вонзает,
Налег на костыль и внимает:

«Царю, прославляему древле от всех,
Но тонущу в сквернах обильных!
Ответствуй, безумный, каких ради грех
Побил еси добрых и сильных?
Ответствуй, не ими ль, средь тяжкой войны,
Без счета твердыни врагов сражены?
Не их ли ты мужеством славен?
И кто им бысть верностью равен?

Безумный! Иль мнишись бессмертнее нас,
В небытную ересь прельщенный?
Внимай же! Приидет возмездия час,
Писанием нам предреченный,
И аз, иже кровь в непрестанных боях
За тя, аки воду, лиях и лиях,
С тобой пред судьею предстану!»
Так Курбский писал к Иоанну.

Шибанов молчал. Из пронзенной ноги
Кровь алым струилася током,
И царь на спокойное око слуги
Взирал испытующим оком.
Стоял неподвижно опричников ряд;
Был мрачен владыки загадочный взгляд,
Как будто исполнен печали;
И все в ожиданье молчали.

И молвил так царь: «Да, боярин твой прав,
И нет уж мне жизни отрадной,
Кровь добрых и сильных ногами поправ,
Я пес недостойный и смрадный!
Гонец, ты не раб, но товарищ и друг,
И много, знать, верных у Курбского слуг,

Что выдал тебя за бесценок!
Ступай же с Малютой в застенок!»

Пытают и мучат гонца палачи,
Друг к другу приходят на смену:
«Товарищей Курбского ты уличи,
Открой их собачью измену!»
И царь вопрошает: «Ну, что же гонец?
Назвал ли он вора друзей наконец?»
– «Царь, слово его все едино:
Он славит свово господина!»

День меркнет, приходит ночная пора,
Скрыпят у застенка ворота,
Заплечные входят опять мастера[1],
Опять зачалася работа.
«Ну что же, назвал ли злодеев гонец?»
– «Царь, близок ему уж приходит конец,
Но слово его все едино,
Он славит свово господина:

„О князь, ты, который предать меня мог
За сладостный миг укоризны,
О князь, я молю, да простит тебе бог
Измену твою пред отчизной!
Услышь меня, боже, в предсмертный мой час,
Язык мой немеет и взор мой угас,
Но в сердце любовь и прощенье,
Помилуй... мои прегрешенья!..

Услышь меня, боже, в предсмертный мой час,
Прости моего господина!
Язык мой немеет и взор мой угас,
Но слово мое все едино:
За грозного, боже, царя я молюсь,
За нашу святую, великую Русь,
И твердо жду смерти желанной!"»

Так умер Шибанов, стремянный.

---

[1] *Заплéчных дел мастера* – палачи.

Антон Павлович Чехов

1860–1904

ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ

На вокзале Николаевской железной дороги[1] встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флердоранжем[2]. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком – его жена – и высокий гимназист с прищуренным глазом – его сын.

– Порфирий! – воскликнул толстый, увидев тонкого. – Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!

– Батюшки! – изумился тонкий. – Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?

Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.

– Милый мой! – начал тонкий после лобызания. – Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь... Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах... лютеранка[3]... А это сын мой, Нафанаил, ученик третьего класса. Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились!

Нафанаил немного подумал и снял шапку.

– В гимназии вместе учились! – продолжал тонкий. – Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом, за то что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом, за

---

[1] *Николаевская железная дорога* – ныне Октябрьская, между Москвой и Ленинградом.

[2] *Хéрес* – белое крепкое вино; *флёрдорáнж* (франц.) – ароматная вода, настой из цветов апельсинового дерева.

[3] *Лютерáнка* – принадлежащая к лютеранской, протестантской церкви (в отличие от православной).

то что я ябедничать любил[1]. Хо-хо... Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе... А это моя жена, урожденная Ванценбах... лютеранка.

Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.

– Ну, как живешь, друг? – спросил толстый, восторженно глядя на друга. – Служишь где? Дослужился?

– Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год, и Станислава имею[2]. Жалованье плохое... ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно[3] из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником[4] по тому же ведомству... Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось уже статский? А?

– Нет, милый мой, поднимай повыше,– сказал толстый. – Я уже до тайного дослужился... Две звезды имею.

Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились... Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира.

– Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.

– Ну, полно! – поморщился толстый. – Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства – и к чему тут это чинопочитание!

– Помилуйте... Что вы-с... – захихикал тонкий, еще более съеживаясь. – Милостивое внимание вашего превосходитель-

---

[1] *Геростра́т, Эфиа́льт* – имена поджигателя и доносчика, известные по обстоятельно изучавшейся в гимназиях истории Древней Греции.

[2] *Колле́жский асе́ссор* – один из средних чинов. В царской России чиновники делились на 14 классов: чин коллежского асессора принадлежал к 8-му классу, статского советника – к 5-му, а тайного советника – к 3-му, одному из самых высоких (эти чины ниже упоминаются). Ордена тоже имели свои разряды; звезды носили только награжденные высшими орденами. Тонкий же, очевидно, награжден орденом Станислава III степени, предпоследним по значению.

[3] *Прива́тно* (лат.) – частным образом, не на службе.

[4] *Столонача́льник* – заведующий канцелярским «столом»; *стол* – отдел в канцелярии, департаменте.

ства... вроде как бы живительной влаги... Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил... жена Луиза, лютеранка, некоторым образом...

Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «Хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.

ЛОШАДИНАЯ ФАМИЛИЯ

У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, смоченная в спирту, но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние – жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька – предлагали каждый свое средство. Между прочим и приказчик Булдеева Иван Евсеич пришел к нему и посоветовал полечиться з́аговором.

– Тут, в нашем уезде, ваше превосходительство,– сказал он,– лет десят́ь назад служил акцизный[1]. Яков Васильевич. Заговаривал зубы – первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет – и как рукой! Сила ему такая дадена...

– Где же он теперь?

– А после того, как его из акцизных уволили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами и кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, то идут к нему, помогает... Тамошних саратовских на дому у себя пользует, а ежели которые из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваше превосходительство, депешу, что так, мол, вот и так... у раба божьего Алексия зубы болят, прошу выпользовать. А деньги за лечение почтой пошлете!

---

[1] ***Акци́зный*** – чиновник по сбору налогов.

— Ерунда! Шарлатанство!

— А вы попытайте, ваше превосходительство. До водки очень охотник, живет не с женой, а с немкой, ругатель, но, можно сказать, чудодейственный господин!

— Пошли, Алеша! — взмолилась генеральша. — Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты и не веришь, но отчего не послать? Руки ведь не отвалятся от этого.

— Ну ладно,— согласился Булдеев. — Тут не только что к акцизному, но и к черту депешу пошлешь... Ах! Мочи нет! Ну, где твой акцизный живет? Как к нему писать?

Генерал сел за стол и взял перо в руки.

— Его в Саратове каждая собака знает,— сказал приказчик. — Извольте писать, ваше превосходительство, в город Саратов, стало быть... Его благородию господину Якову Васильевичу... Васильичу...

— Ну?

— Васильичу... Якову Васильичу... а по фамилии... А фамилию вот и забыл!.. Васильичу... Черт... Как же его фамилия? Давеча, как сюда шел, помнил... Позвольте-с...

Иван Евсеич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо.

— Ну, что же? Скорей думай!

— Сейчас... Васильичу... Якову Васильичу... Забыл! Такая еще простая фамилия... словно как бы лошадиная... Кобылин? Нет, не Кобылин. Постойте... Жеребцов, нешто? Нет, и не Жеребцов. Помню, фамилия лошадиная, а какая — из головы вышибло...

— Жеребятников?

— Никак нет. Постойте... Кобылицын... Кобылятников... Кобелев...

— Это уж собачья, а не лошадиная. Жеребчиков?

— Нет, и не Жеребчиков... Лошадинин... Лошаков... Жеребкин... Все не то!

— Ну, так как же я буду ему писать? Ты подумай!

— Сейчас. Лошадкин... Кобылкин... Коренной...

— Коренников? — спросила генеральша.

— Никак нет. Пристяжкин... Нет, не то! Забыл!

— Так зачем же, черт тебя возьми, с советами лезешь, ежели забыл? — рассердился генерал. — Ступай отсюда вон!

Иван Евсеич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам.

— Ой, батюшки! — вопил он. — Ой, матушки! Ох, света белого не вижу!

Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного:

— Жеребчиков... Жеребковский... Жеребенко... Нет, не то! Лошадинский... Лошадевич... Жеребкович... Кобылянский...

Немного погодя его позвали к господам.

— Вспомнил? — спросил генерал.

— Никак нет, ваше превосходительство.

— Может быть, Конявский? Лошадников? Нет?

И в доме, все наперерыв, стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей, вспомнили гриву, копыта, сбрую... В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию...

Приказчика то и дело требовали в дом.

— Табунов? — спрашивали у него. — Копытин? Жеребовский?

— Никак нет,— отвечал Иван Евсеич и, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух: — Коненко... Конченко... Жеребеев... Кобылеев...

— Папа! — кричали из детской. — Тройкин! Уздечкин!

Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать пять рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию, и за Иваном Евсеичем стали ходить целыми толпами...

— Гнедов! — говорили ему. — Рысистый! Лошадицкий!

Но наступил вечер, а фамилия все еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы.

Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал... В третьем часу утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику.

— Не Меринов ли? — спросил он плачущим голосом.

— Нет, не Меринов, ваше превосходительство,— ответил Иван Евсеич и виновато вздохнул.

— Да может быть, фамилия не лошадиная, а какая-нибудь другая!

— Истинно слово, ваше превосходительство, лошадиная... Это очень даже отлично помню.

— Экий ты какой, братец, беспамятный... Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился!

Утром генерал опять послал за доктором.

— Пускай рвет! — решил он. — Нет больше сил терпеть...

Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же, и генерал успокоился. Сделав свое дело и получив, что следует, за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеича... Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб, и по выражению глаз, думы его были напряженны, мучительны...

— Буланов... Чересседельников... — бормотал он. — Засупонин... Лошадский...

— Иван Евсеич! — обратился к нему доктор. — Не могу ли я, голубчик, купить у вас четвертей пять овса? Мне продают наши мужички овес, да уж больно плохой...

Иван Евсеич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснув руками, побежал к усадьбе с такой быстротой, точно за ним гналась бешеная собака.

— Надумал, ваше превосходительство! — закричал он радостно, не своим голосом, влетая в кабинет к генералу. — Надумал, дай бог здоровья доктору! Овсов! Овсов фамилия акцизного! Овсов, ваше превосходительство! Посылайте депешу Овсову!

— Накося! — сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша. — Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии! Накося!

Александр Иванович Куприн

1870–1938

ИЗУМРУД

Посвящаю памяти несравненного пегого рысака Холстомера

I

Четырехлетний жеребец Изумруд — рослая беговая лошадь американского склада, серой, ровной, серебристо-стальной ма-

сти[1] – проснулся, по обыкновению, около полуночи в своем деннике[2]. Рядом с ним, слева и справа и напротив через коридор, лошади мерно и часто, все точно в один такт, жевали сено, вкусно хрустя зубами и изредка отфыркиваясь от пыли. В углу на ворохе соломы храпел дежурный конюх. Изумруд по чередованию дней и по особым звукам храпа знал, что это – Василий, молодой малый, которого лошади не любили, за то что он курил в конюшне вонючий табак, часто заходил в денники пьяный, толкал коленом в живот, замахивался кулаком над глазами, грубо дергал за недоуздок и всегда кричал на лошадей ненатуральным, сиплым, угрожающим басом.

Изумруд подошел к дверной решетке. Напротив него, дверь в дверь, стояла в своем деннике молодая вороная, еще не сложившаяся кобылка Щеголиха. Расширив нежные ноздри, Изумруд долго потянул в себя воздух и коротко заржал.

Тотчас же рядом с собою направо Изумруд услышал ревнивое, сердитое дыхание. Тут помещался Онегин, старый, норовистый бурый жеребец, изредка еще бегавший на призы в городских одиночках. Обе лошади были разделены легкой дощатой переборкой и не могли видеть друг друга, но, приложившись храпом к правому краю решетки, Изумруд ясно учуял теплый запах пережеванного сена, шедший из часто дышащих ноздрей Онегина... Так жеребцы некоторое время обнюхивали друг друга в темноте, плотно приложив уши к голове, выгнув шеи и все больше и больше сердясь. И вдруг оба разом злобно взвизгнули, закричали и забили копытами.

– Бал-луй, черт! – сонно, с привычной угрозой, крикнул конюх.

Лошади отпрянули от решетки и насторожились. Они давно уже не терпели друг друга... И здесь, и на кругу, и на водопое они вызывали друг друга на драку. Но Изумруд чувствовал в душе некоторую боязнь перед этим длинным самоуверенным жеребцом, перед его острым запахом злой лошади, крутым верблю-

---

[1] *Масть лошади* – ее цвет, окраска. Существует много названий для точного обозначения масти: *ворона́я* – черная; *кара́ковая* – тоже черная, но с подпалинами; *си́вая* – вороная с проседью; *бу́рая* – красно-коричневая с более темными гривой и хвостом; *була́ная* – желтоватая, хвост и грива черные, и т. д.

[2] *Де́нник* – некрытая загородка для скота во дворе.

жьим кадыком, мрачными запавшими глазами и особенно перед его крепким, точно каменным, костяком, закаленным годами, усиленным бегом и прежними драками.

Делая вид перед самим собою, что он вовсе не боится и что сейчас ничего не произошло, Изумруд повернулся, опустил голову в ясли и принялся ворошить сено мягкими, подвижными, упругими губами. Сначала он только прикусывал капризно отдельные травки, но скоро вкус жвачки во рту увлек его, и он по-настоящему вник в корм. И в то же время в его голове текли медленные равнодушные мысли, сцепляясь воспоминаниями образов, запахов и звуков и пропадая навеки в той черной бездне, которая была впереди и позади теперешнего мига.

«Сено»,– думал он и вспомнил старшего конюха Назара, который с вечера задавал сено.

Назар – хороший старик; от него всегда так уютно пахнет черным хлебом и чуть-чуть вином; движения у него неторопливые и мягкие, овес и сено в его дни кажутся вкуснее, и приятно слушать, когда он, убирая лошадь, разговаривает с ней вполголоса с ласковой укоризной и все кряхтит. Но нет в нем чего-то главного, лошадиного, и во время прикидки чувствуется через вожжи, что его руки неуверенны и неточны.

В Ваське тоже этого нет, и хотя он кричит и дерется, но все лошади знают, что он трус, и не боятся его. И ездить он не умеет – дергает, суетится. Третий конюх, что с кривым глазом, лучше их обоих, но он не любит лошадей, жесток и нетерпелив, и руки у него не гибки, точно деревянные. А четвертый – Андрияшка, еще совсем мальчик; он играет с лошадьми, как жеребенок-сосунок, и украдкой целует в верхнюю губу и между ноздрями,– это не особенно приятно и смешно.

Вот тот, высокий, худой, сгорбленный, у которого бритое лицо и золотые очки,– о, это совсем другое дело. Он весь точно какая-то необыкновенная лошадь – мудрая, сильная и бесстрашная. Он никогда не сердится, никогда не ударит хлыстом, даже не погрозит, а между тем когда он сидит в американке[1], то как радостно, гордо и приятно-страшно повиноваться каждому намеку его сильных, умных, все понимающих пальцев. Только он один умеет доводить Изумруда до того счастливого гармонич-

---

[1] *Америка́нка* – здесь: легкая коляска для жокея (наездника на скачках, на бегах).

ного состояния, когда все силы тела напрягаются в быстроте бега, и это так весело и так легко.

И тотчас же Изумруд увидел воображением короткую дорогу на ипподром[1] и почти каждый дом и каждую тумбу на ней, увидел песок ипподрома, трибуну, бегущих лошадей, зелень травы и желтизну ленточки. Вспомнился вдруг караковый трехлеток, который на днях вывихнул ногу на проминке и захромал. И, думая о нем, Изумруд сам попробовал мысленно похромать немножко.

Один клок сена, попавший Изумруду в рот, отличался особенным, необыкновенно нежным вкусом. Жеребец долго пережевывал его, и когда проглотил, то некоторое время еще слышал у себя во рту тонкий душистый запах каких-то увядших цветов и пахучей сухой травки. Смутное, совершенно неопределенное, далекое воспоминание скользнуло в уме лошади. Это было похоже на то, что бывает иногда у курящих людей, которым случайная затяжка папиросой на улице вдруг воскресит на неудержимое мгновение полутемный коридор с старинными обоями и одинокую свечу на буфете или дальнюю ночную дорогу, мерный звон бубенчиков и томную дремоту, или синий лес невдалеке, снег, слепящий глаза, шум идущей облавы, страстное нетерпение, заставляющее дрожать колени,– и вот на миг пробегут по душе, ласково, печально и неясно тронув ее, тогдашние, забытые, волнующие и теперь неуловимые чувства.

Между тем черное оконце над яслями, до сих пор невидимое, стало сереть и слабо выделяться в темноте. Лошади жевали ленивее и одна за другою вздыхали тяжело и мягко. На дворе закричал петух знакомым криком, звонким, бодрым и резким, как труба. И еще долго и далеко кругом разливалось в разных местах, не прекращаясь, очередное пение других петухов.

Опустив голову в кормушку, Изумруд все старался удержать во рту и вновь вызвать и усилить странный вкус, будивший в нем этот тонкий, почти физический отзвук непонятного воспоминания. Но оживить его не удавалось, и, незаметно для себя, Изумруд задремал.

[1] *Ипподро́м* (греческое слово) – место для конных бегов и скачек.

II

Ноги и тело у него были безупречные, совершенных форм, поэтому он всегда спал стоя, чуть покачиваясь вперед и назад. Иногда он вздрагивал, и тогда крепкий сон сменялся у него на несколько секунд легкой чуткой дремотой, но недолгие минуты сна были так глубоки, что в течение их отдыхали и освежались все мускулы, нервы и кожа.

Перед самым рассветом он увидел во сне раннее весеннее утро, красную зарю над землей и низкий ароматный луг. Трава была так густа и сочна, так ярко, сказочно-прелестно зелена и так нежно розовела от зари, как это видят люди и звери только в раннем детстве, и всюду на ней сверкала дрожащими огнями роса. В легком редком воздухе всевозможные запахи доносятся удивительно четко. Слышен сквозь прохладу утра запах дымка, который сине и прозрачно вьется над трубой в деревне, все цветы на лугу пахнут по-разному, на колеистой влажной дороге за изгородью смешалось множество запахов: пахнет и людьми, и дегтем, и лошадиным навозом, и пылью, и парным коровьим молоком от проходящего стада, и душистой смолой от еловых жердей забора.

Изумруд, семимесячный стригунок, носится бесцельно по полю, нагнув вниз голову и взбрыкивая задними ногами. Весь он точно из воздуха и совсем не чувствует веса своего тела. Белые пахучие цветы ромашки бегут под его ногами назад, назад. Он мчится прямо на солнце. Мокрая трава хлещет по бабкам, по коленкам и холодит и темнит их. Голубое небо, зеленая трава, золотое солнце, чудесный воздух, пьяный восторг молодости, силы и быстрого бега!

Но вот он слышит короткое, беспокойное, ласковое и призывающее ржание, которое так ему знакомо, что он всегда узнаёт его издали, среди тысячи других голосов. Он останавливается на всем скаку, прислушивается одну секунду, высоко подняв голову, двигая тонкими ушами и отставив метёлкой пушистый короткий хвост, потом отвечает длинным заливчатым криком, от которого сотрясается все его стройное, худощавое, длинноногое тело, и мчится к матери.

Она — костлявая, старая, спокойная кобыла — поднимает мокрую морду из травы, быстро и внимательно обнюхивает жеребенка и тотчас же опять принимается есть, точно торопится де-

лать неотложное дело. Склонив гибкую шею под ее живот и изогнув кверху морду, жеребенок привычно тычет губами между задних ног, находит теплый упругий сосок, весь переполненный сладким, чуть кисловатым молоком, которое брызжет ему в рот тонкими горячими струйками, и все пьёт и не может оторваться. Матка сама убирает от него зад и делает вид, что хочет укусить жеребенка за пах.

В конюшне стало совсем светло. Бородатый, старый, вонючий козел, живший между лошадей, подошел к дверям, заложенным изнутри брусом, и заблеял, озираясь назад, на конюха. Васька, босой, чеша лохматую голову, пошел отворять ему. Стояло холодноватое, синее крепкое осеннее утро. Правильный четырехугольник отворенной двери тотчас же застлался теплым паром, повалившим из конюшни. Аромат инея и опавшей листвы тонко потянул по стойлам.

Лошади хорошо знали, что сейчас будут засыпать овес, и от нетерпения негромко покряхтывали у решеток. Жадный и капризный Онегин бил копытом о деревянную настилку и, закусывая, по дурной привычке, верхними зубами за окованный железом изжеванный борт кормушки, тянулся шеей, глотал воздух и рыгал. Изумруд чесал морду о решетку.

Пришли остальные конюхи — их всех было четверо — и стали в железных мерках разносить по денникам овес. Пока Назар сыпал тяжелый шелестящий овес в ясли Изумруда, жеребец суетливо совался к корму, то через плечо старика, то из-под его рук, трепеща теплыми ноздрями. Конюх, которому нравилось это нетерпение кроткой лошади, нарочно не торопился, загораживая ясли локтями, и ворчал с добродушною грубостью:

— Ишь ты, зверь жадная... Но-о, успеешь... А, чтоб тебя... Потычь мне еще мордой-то. Вот я тебя ужотко потычу.

Из оконца над яслями тянулся косо вниз четырехугольный веселый солнечный столб, и в нем клубились миллионы золотых пылинок, разделенных длинными тенями от оконного переплета.

III

Изумруд только что доел овес, когда за ним пришли, чтобы вывести его на двор. Стало теплее, и земля слегка размякла, но стены конюшни были еще белы от инея. От навозных куч, только что выгребенных из конюшни, шел густой пар, и воро-

бьи, копошившиеся в навозе, возбужденно кричали, точно ссорясь между собой. Нагнув шею в дверях и осторожно переступив через порог, Изумруд с радостью долго потянул в себя пряный воздух, потом затрясся шеей и всем телом и звучно зафыркал. «Будь здоров!» — серьезно сказал Назар. Изумруду не стоялось. Хотелось сильных движений, щекочущего ощущения воздуха, быстро бегущего в глаза и ноздри, горячих толчков сердца, глубокого дыхания. Привязанный к коновязи, он ржал, плясал задними ногами и, изгибая набок шею, косил назад, на вороную кобылу, черным большим выкатившимся глазом с красными жилками на белке.

Задыхаясь от усилия, Назар поднял вверх выше головы ведро с водой и вылил ее на спину жеребца от холки до хвоста. Это было знакомое Изумруду бодрое, приятное и жуткое своей всегдашней неожиданностью ощущение. Назар принес еще воды и оплескал ему бока, грудь, ноги и под репицей. И каждый раз он плотно проводил мозолистой ладонью вдоль по шерсти, отжимая воду. Оглядываясь назад, Изумруд видел свой высокий, немного вислозадый круп, вдруг потемневший и заблестевший глянцем на солнце.

Был день бегов. Изумруд знал это по особенной нервной спешке, с которой конюхи хлопотали около лошадей; некоторым, которые по короткости туловища имели обыкновение засекаться подковами, надевали кожаные ногавки на бабки, другим забинтовывали ноги полотняными поясами от путового сустава до колена или подвязывали под грудь за передними ногами широкие подмышники, отороченные мехом. Из сарая выкатывали легкие двухколесные с высокими сиденьями американки; их металлические спицы весело сверкали на ходу, а красные ободья и красные широкие выгнутые оглобли блестели новым лаком.

Изумруд был уже окончательно высушен, вычищен щетками и вытерт шерстяной рукавицей, когда пришел главный наездник конюшни, англичанин. Этого высокого, худого, немного сутуловатого, длиннорукого человека одинаково уважали и боялись и лошади и люди. У него было бритое загорелое лицо и твердые, тонкие, изогнутые губы насмешливого рисунка. Он носил золотые очки; сквозь них его голубые, светлые глаза глядели твердо и упорно-спокойно. Он следил за уборкой, расставив длинные ноги в высоких сапогах, заложив руки глубоко в карманы панталон и пожевывая сигару то одним, то другим углом рта. На нем

была серая куртка с меховым воротником, черный картуз с узкими полями и прямым длинным четырехугольным козырьком. Иногда он делал короткие замечания отрывистым, небрежным тоном, и тотчас же все конюхи и рабочие поворачивали к нему головы и лошади настораживали уши в его сторону.

Он особенно следил за упряжкой Изумруда, оглядывая все тело лошади от челки до копыт, и Изумруд, чувствуя на себе этот точный, внимательный взгляд, гордо подымал голову, слегка полуоборачивал гибкую шею и ставил торчком тонкие, просвечивающие уши. Наездник сам испытал крепость подпруги, просовывая палец между ней и животом. Затем на лошадей надели серые полотняные попоны с красными каймами, красными кругами около глаз и красными вензелями внизу у задних ног. Два конюха, Назар и кривоглазый, взяли Изумруда с обеих сторон под уздцы и повели на ипподром по хорошо знакомой мостовой, между двумя рядами редких больших каменных зданий. До бегового круга не было и четверти версты.

Во дворе ипподрома было уже много лошадей, их проваживали по кругу, всех в одном направлении — в том же, в котором они ходят по беговому кругу, то есть обратном движению часовой стрелки. Внутри двора водили поддужных лошадей[1], небольших, крепконогих, с подстриженными короткими хвостами. Изумруд тотчас же узнал белого жеребчика, всегда скакавшего с ним рядом, и обе лошади тихо и ласково поржали в знак приветствия.

IV

На ипподроме зазвонили. Конюхи сняли с Изумруда попону. Англичанин, щуря под очками глаза от солнца и оскаливая длинные желтые лошадиные зубы, подошел, застегивая на ходу перчатки, с хлыстом под мышкой. Один из конюхов подобрал Изумруду пышный, до самых бабок, хвост и бережно уложил его на сиденье американки, так что его светлый конец свесился назад. Гибкие оглобли упруго качнулись от тяжести тела. Изумруд покосился назад и увидел наездника, сидящего почти вплотную за его крупом, с ногами, вытянутыми вперед и растопыренными по оглоблям. Наездник, не торопясь, взял вожжи, односложно

[1] *Поддýжная лошадь* — лошадь, идущая под дугой, т. е. везущая наездника в легкой коляске, а не в седле.

крикнул конюхам, и они разом отняли руки. Радуясь предстоящему бегу, Изумруд рванулся было вперед, но сдержанный сильными руками, поднялся лишь немного на задних ногах, встряхнул шеей и широкой, редкой рысью выбежал из ворот на ипподром.

Вдоль деревянного забора, образуя верстовой эллипс[1], шла широкая беговая дорожка из желтого песка, который был немного влажен и плотен и потому приятно пружинился под ногами, возвращая им их давление. Острые следы копыт и ровные, прямые полосы, оставляемые гуттаперчей шин, бороздили ленточку.

Мимо протянулась трибуна, высокое деревянное здание в двести лошадиных корпусов длиною, где горой от земли до самой крыши, поддержанной тонкими столбами, двигалась и гудела черная человеческая толпа. По легкому, чуть слышному шевелению вожжей Изумруд понял, что ему можно прибавить ходу, и благодарно фыркнул.

Он шел ровной ма́шистой рысью[2], почти не колеблясь спиной, с вытянутой вперед и слегка привороченной к левой оглобле шеей, с прямо поднятой мордой. Благодаря редкому, хотя необыкновенно длинному шагу его бег издали не производил впечатления быстроты: казалось, что рысак меряет, не торопясь, дорогу прямыми, как циркуль, передними ногами, чуть притрогиваясь концами копыт к земле. Это была настоящая американская выездка, в которой все сводится к тому, чтобы облегчить лошади дыхание и уменьшить сопротивление воздуха до последней степени, где устранены все ненужные для бега движения, непроизводительно расходующие силу, и где внешняя красота форм приносится в жертву легкости, сухости, долгому дыханию и энергии бега, превращая лошадь в живую безукоризненную машину.

Теперь, в антракте между двумя бегами, шла проминка лошадей, которая всегда делается для того, чтобы открыть рысакам дыхание. Их много бежало во внешнем кругу по одному направлению с Изумрудом, а во внутреннем – навстречу. Серый, в темных яблоках, рослый, беломордый рысак, чистой орловской

---

[1] *Э́ллипс* – замкнутая кривая линия.

[2] *Рысь* – ровный, быстрый бег, один из видов движения лошади (существует несколько видов такого движения: *шаг, рысь, галоп, карьер*).

породы, с крутой собранной шеей и с хвостом трубой, похожий на ярмарочного коня, перегнал Изумруда. Он трясся на ходу жирной, широкой, уже потемневшей от пота грудью и сырыми пахами, откидывал передние ноги от колен вбок, и при каждом шаге у него звучно ёкала селезенка.

Потом подошла сзади стройная, длиннотелая гнедая кобыла-метиска[1] с жидкой темной гривой. Она была прекрасно выработана по той же американской системе, как и Изумруд. Короткая холеная шерсть так и блестела на ней, переливаясь от движения мускулов под кожей. Пока наездники о чем-то говорили, обе лошади шли некоторое время рядом.

Навстречу им пронесся полной рысью огромный вороной жеребец, весь обмотанный бинтами, наколенниками и подмышниками. Левая оглобля выступала у него прямо вперед на пол-аршина длиннее правой, а через кольцо, укрепленное над головой, проходил ремень стального обéрчека, жестко охватившего сверху и с обеих сторон нервный храп коня. Изумруд и кобыла одновременно поглядели на него, и оба мгновенно оценили в нем рысака необыкновенной силы, быстроты и выносливости, но страшно упрямого, злого, самолюбивого и обидчивого. Следом за вороным пробежал до смешного маленький, светло-серый нарядный жеребчик. Со стороны можно было подумать, что он мчится с невероятной скоростью: так часто топотал он ногами, так высоко вскидывал их в коленях и такое усердное, деловитое выражение было в его подобранной шее с красивой маленькой головой. Изумруд только презрительно скосил на него свой глаз и повел одним ухом в его сторону.

Другой наездник окончил разговор, громко и коротко засмеялся, что-то проржал и пустил кобылу свободной рысью. Она без всякого усилия, спокойно, точно быстрота ее бега совсем от нее не зависела, отделилась от Изумруда и побежала вперед, плавно неся ровную, блестящую спину с едва заметным темным ремешком вдоль хребта.

Но тотчас же и Изумруда и ее обогнал и быстро кинул назад несшийся галопом огненно-рыжий рысак с большим белым пятном на храпе. Он скакал частыми длинными прыжками, то растягиваясь и пригибаясь к земле, то почти соединяя на воздухе передние ноги с задними. Его наездник, откивнувшись назад

[1] То есть смешанной, не чистой породы.

всем телом, не сидел, а лежал на сиденье, повиснув на натянутых вожжах. Изумруд заволновался и горячо метнулся в сторону, но англичанин незаметно сдержал вожжи, и его руки, такие гибкие и чуткие к каждому движению лошади, вдруг стали точно железными. Около трибуны рыжий жеребец, успевший проскакать еще один круг, опять обогнал Изумруда. Он до сих пор скакал, но теперь уже был в пене, с кровавыми глазами, и дышал хрипло. Наездник, перегнувшись вперед, стегал его изо всех сил хлыстом вдоль спины. Наконец конюхам удалось близ ворот пересечь ему дорогу и схватить за вожжи и за узду у морды. Его свели с ипподрома, мокрого, задыхающегося, дрожащего, похудевшего в одну минуту.

Изумруд сделал еще полкруга полной рысью, потом свернул на дорожку, пересекавшую поперек беговой плац, и через ворота въехал во двор.

V

На ипподроме несколько раз звонили. Мимо отворенных ворот изредка проносились молнией бегущие рысаки, люди на трибунах вдруг принимались кричать и хлопать в ладоши. Изумруд в линии других рысаков часто шагал рядом с Назаром, мотая опущенною головой и пошевеливая ушами в полотняных футлярах. От проминки кровь весело и горячо струилась в его жилах, дыхание становилось все глубже и свободнее, по мере того как отдыхало и охлаждалось его тело,— во всех мускулах чувствовалось нетерпеливое желание бежать еще.

Прошло с полчаса. На ипподроме опять зазвонили. Теперь наездник сел на американку без перчаток. У него были белые, широкие, волшебные руки, внушавшие Изумруду привязанность и страх.

Англичанин неторопливо выехал на ипподром, откуда одна за другой съезжали во двор лошади, окончившие проминку. На кругу остались только Изумруд и тот огромный вороной жеребец, который повстречался с ним на проездке. Трибуны сплошь от низу до верху чернели густой человеческой толпой, и в этой черной массе бесчисленно, весело и беспорядочно светлели лица и руки, пестрели зонтики и шляпки и воздушно колебались белые листики программ. Постепенно увеличивая ход и пробегая вдоль трибуны, Изумруд чувствовал, как тысяча глаз неотступно

провожала его, и он ясно понимал, что эти глаза ждут от него быстрых движений, полного напряжения сил, могучего биения сердца,– и это понимание сообщало его мускулам счастливую легкость и кокетливую сжатость. Белый знакомый жеребец, на котором сидел верхом мальчик, скакал укороченным галопом, рядом, справа.

Ровной, размеренной рысью, чуть-чуть наклоняясь телом влево, Изумруд описал крутой поворот и стал подходить к столбу с красным кругом. На ипподроме коротко ударили в колокол. Англичанин едва заметно поправился на сиденье, и руки его вдруг окрепли. «Теперь иди, но береги силы. Еще рано»,– понял Изумруд и в знак того, что понял, обернул на секунду назад и опять поставил прямо свои тонкие, чуткие уши. Белый жеребец ровно скакал сбоку, немного позади. Изумруд слышал у себя около холки его свежее, равномерное дыхание.

Красный столб остался позади, еще один крутой поворот, дорожка выпрямляется, вторая трибуна, приближаясь, чернеет и пестреет издали гудящей толпой и быстро растет с каждым шагом. «Еще! – позволяет наездник,– еще, еще!» Изумруд немного горячится и хочет сразу напрячь все свои силы в беге. «Можно ли?» – думает он. «Нет, еще рано, не волнуйся,– отвечают, успокаивая, волшебные руки. – Потом».

Оба жеребца проходят призовые столбы секунда в секунду, но с противоположных сторон диаметра, соединяющего обе трибуны. Легкое сопротивление туго натянутой нитки и быстрый разрыв ее на мгновение заставляет Изумруда запрясть ушами, но он тотчас же забывает об этом, весь поглощенный вниманием к чудесным рукам. «Еще немного! Не горячиться! Идти ровно!» – приказывает наездник. Черная колеблющаяся трибуна проплывает мимо. Еще несколько десятков сажен, и все четверо – Изумруд, белый жеребец, англичанин и мальчик-поддужный, припавший, стоя на коротких стременах, к лошадиной гриве,– счастливо слаживаются в одно плотное, быстро несущееся тело, одухотворенное одной волей, одной красотой мощных движений, одним ритмом, звучащим как музыка. Та-та-та-та! – ровно и мерно выбивает ногами Изумруд. Тра-та, тра-та! – коротко и резко двоит поддужный. Еще один поворот, и бежит навстречу вторая трибуна. «Я прибавлю?» – спрашивает Изумруд. «Да,– отвечают руки,– но спокойно».

Вторая трибуна проносится назад мимо глаз. Люди кричат

что-то. Это развлекает Изумруда, он горячится, теряет ощущение вожжей и, на секунду выбившись из общего наладившегося такта, делает четыре капризных скачка с правой ноги. Но вожжи тотчас же становятся жесткими и, раздирая ему рот, скручивают шею вниз и ворочают голову направо. Теперь уже неловко скакать с правой ноги. Изумруд сердится и не хочет переменить ногу, но наездник, поймав этот момент, повелительно и спокойно ставит лошадь на рысь. Трибуна осталась далеко позади. Изумруд опять входит в такт, и руки снова делаются дружественно-мягкими. Изумруд чувствует свою вину и хочет усилить вдвое рысь. «Нет, нет, еще рано,– добродушно замечает наездник. – Мы успеем это поправить. Ничего».

Так они проходят в отличном согласии без сбоев еще круг и половину. Но и вороной сегодня в великолепном порядке. В то время, когда Изумруд разладился, он успел бросить его на шесть длин лошадиного тела, но теперь Изумруд набирает потерянное и у предпоследнего столба оказывается на три с четвертью секунды впереди. «Теперь можно. Иди!» – приказывает наездник. Изумруд прижимает уши и бросает всего один быстрый взгляд назад. Лицо англичанина все горит огнем, решительным, прицеливающимся выражением, бритые губы сморщились нетерпеливой гримасой и обнажают желтые, большие, крепко стиснутые зубы. «Давай все, что можно! – приказывают вожжи в высоко поднятых руках. – Еще, еще!» И англичанин вдруг кричит громким вибрирующим голосом, повышающимся, как звук сирены:

– О-э-э-э-эй!

– Вот, вот, вот, вот!.. – пронзительно и звонко в такт бегу кричит мальчишка-поддужный.

Теперь чувство темпа достигает самой высшей напряженности и держится на каком-то тонком волоске, вот-вот готовом порваться. Та-та-та-та!! – ровно отпечатывают по земле ноги Изумруда. Тра-трра-трра! – слышится впереди галоп белого жеребца, увлекающего за собой Изумруда. В такт бегу колеблются гибкие оглобли, и в такт галопу подымается и опускается на седле мальчик, почти лежащий на шее у лошади.

Воздух, бегущий навстречу, свистит в ушах и щекочет ноздри, из которых пар бьет частыми большими струями. Дышать труднее, и коже становится жарко. Изумруд обегает последний заворот, наклоняясь вовнутрь его всем телом. Трибуна вырастает, как живая, и от нее навстречу летит тысячеголосый рев,

который пугает, волнует и радует Изумруда. У него не хватает больше рыси, и он уже хочет скакать, но эти удивительные руки позади и умоляют, и приказывают, и успокаивают: «Милый, не скачи!.. Только не скачи!.. Вот так, вот так, вот так». И Изумруд, проносясь стремительно мимо столба, разрывает контрольную нитку, даже не заметя этого. Крики, смех, аплодисменты водопадом низвергаются с трибуны. Белые листки афиш, зонтики, палки, шляпы кружатся и мелькают между движущимися лицами и руками. Англичанин мягко бросает вожжи. «Кончено. Спасибо, милый!» — говорит Изумруду это движение, и он, с трудом удерживая инерцию бега, переходит в шаг. В этот момент вороной жеребчик только-только подходит к своему столбу на противоположной стороне, семью секундами позже.

Англичанин, с трудом подымая затекшие ноги, тяжело спрыгивает с американки и, сняв бархатное сиденье, идет с ним на весы. Подбежавшие конюхи покрывают горячую спину Изумруда попоной и уводят во двор. Вслед им несется гул человеческой толпы и длинный звонок из членской беседки[1]. Легкая желтоватая пена падает с морды лошади на землю и на руки конюхов.

Через несколько минут Изумруда, уже распряженного, приводят опять к трибуне. Высокий человек в длинном пальто и новой блестящей шляпе, которого Изумруд часто видит у себя в конюшне, треплет его по шее и сует ему на ладони в рот кусок сахару. Англичанин стоит тут же, в толпе, и улыбается, морщась и скаля длинные зубы. С Изумруда снимают попону и устанавливают его перед ящиком на трех ногах, покрытым черной материей, под которую прячется и что-то там делает господин в сером[2].

Но вот люди свергаются с трибун черной рассыпающейся массой. Они точно обступают лошадь со всех сторон и кричат, разгоряченные лица с блестящими глазами. Они чем-то недовольны, тычут пальцами в ноги, в голову и в бока Изумруду, взъерошивают шерсть на левой стороне крупа, там, где стоит тавро, и опять кричат все разом. «Поддельная лошадь, фальшивый рысак, обман, мошенничество, деньги назад!» — слышит Изумруд и не понимает этих слов и беспокойно шевелит ушами.

---

[1] Имеются в виду члены клуба при ипподроме.

[2] Читатель, наверное, догадался, что так Изумруд воспринял фотоаппарат.

«О чем они? — думает он с удивлением. — Ведь я так хорошо бежал!» И на мгновение ему бросается в глаза лицо англичанина. Всегда такое спокойное, слегка насмешливое и твердое, оно теперь пылает гневом. И вдруг англичанин что-то кричит высоким гортанным голосом, взмахивает быстро рукой, и звук пощечины сухо разрывает общий гомон.

VI

Изумруда отвели домой, через три часа дали ему овса, а вечером, когда его поили у колодца, он видел, как из-за забора подымалась желтая большая луна, внушавшая ему темный ужас.

А потом пошли скучные дни.

Ни на прикидки, ни на проминки, ни на бега его не водили больше. Но ежедневно приходили незнакомые люди, много людей, и для них выводили Изумруда на двор, где они рассматривали и ощупывали его на все лады, лазили ему в рот, скребли его шерсть пемзой и всё кричали друг на друга.

Потом он помнил, как его однажды поздним вечером вывели из конюшни и долго вели по длинным, казенным, пустынным улицам, мимо домов с освещенными окнами. Затем вокзал, темный трясущийся вагон, утомление и дрожь в ногах от дальнего переезда, свистки паровозов, грохот рельсов, удушливый запах дыма, скучный свет качающегося фонаря. На одной станции его выгрузили из вагона и долго вели незнакомой дорогой, среди просторных, голых осенних полей, мимо деревень, пока не привезли в незнакомую конюшню и не заперли отдельно, вдали от других лошадей.

Сначала он все вспоминал о бегах, о своем англичанине, о Ваське, о Назаре и об Онегине и часто видел их во сне, но с течением времени позабыл обо всем. Его от кого-то прятали, и все его молодое, прекрасное тело томилось, тосковало и опускалось от бездействия. То и дело подъезжали новые незнакомые люди и снова толклись вокруг Изумруда, щупали и теребили его и сердито бранились между собою.

Иногда случайно Изумруд видел сквозь отворенную дверь других лошадей, ходивших и бегавших на воле, и тогда он кричал им, негодуя и жалуясь. Но тотчас же закрывали дверь, и опять скучно и одиноко тянулось время.

Главным в этой конюшне был большеголовый, заспанный че-

ловек с маленькими черными глазками и тоненькими черными усами на жирном лице. Он казался совсем равнодушным к Изумруду, но тот чувствовал к нему непонятный ужас.

И вот однажды, ранним утром, когда все конюхи спали, этот человек тихонько, без малейшего шума, на цыпочках вошел к Изумруду, сам засыпал ему овес в ясли и ушел. Изумруд немного удивился этому, но покорно стал есть. Овес был сладок, слегка горьковат и едок на вкус. «Странно,– подумал Изумруд,– я никогда не пробовал такого овса».

И вдруг он почувствовал легкую резь в животе. Она пришла, потом прекратилась и опять пришла, сильнее прежнего, и увеличивалась с каждой минутой. Наконец боль стала нестерпимой. Изумруд глухо застонал. Огненные колеса завертелись перед его глазами, от внезапной слабости все его тело стало мокрым и дряблым, ноги задрожали, подогнулись, и жеребец грохнулся на пол. Он еще пробовал подняться, но мог встать только на одни передние ноги и опять валился на бок. Гудящий вихрь закружился у него в голове; проплыл англичанин, скаля по-лошадиному длинные зубы, Онегин пробежал мимо, выпятя свой верблюжий кадык и громко ржа. Какая-то сила несла Изумруда беспощадно и стремительно глубоко вниз, в темную и холодную яму. Он уже не мог шевелиться.

Судороги вдруг свели его ноги и шею и выгнули спину. Вся кожа на лошади задрожала мелко и быстро и покрылась остро пахнувшей пеной.

Желтый движущийся свет фонаря на миг резанул ему глаза и потух вместе с угасшим зрением. Ухо его еще уловило грубый человеческий окрик, но он уже не почувствовал, как его толкнули в бок каблуком. Потом все исчезло – навсегда[1].

---

[1] Рассказ А. И. Куприна рисует жестокие нравы, насаждавшиеся богачами и аферистами на скачках. Если оказывалось, что новая, молодая лошадь значительно лучше всех остальных, то на нее вскоре стали бы делать ставку все игравшие на скачках; в этом случае выигрыш распределялся бы среди многих, а не доставался отдельным игрокам. Для предотвращения таких случаев аферисты либо подкупали наездника (жокея), чтобы он придерживал лошадь, не давал ей все время выигрывать, либо устраняли лошадь. О таком драматическом случае и рассказывает Куприн.

Иван Алексеевич Бунин

1870–1953

* * *

Перед закатом набежало
Над лугом облако – и вдруг
На взгорье радуга упала
И засверкало все вокруг.

Стеклянный, редкий и ядрёный,
С веселым шорохом спеша,
Промчался дождь, и лес зеленый
Затих, прохладою дыша.

Вот день! Уж это не впервые:
Прольется – и уйдет из глаз...
Как эти ливни золотые,
Пугая, радовали нас!..

ВЕЧЕР

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.
А счастье всюду. Может быть, оно –
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.

В бездонном небе легким белым краем
Встает, сияет облако. Давно
Слежу за ним... Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано.

Окно открыто. Пискнула и села
На подоконник птичка. И от книг
Усталый взгляд я отвожу на миг.
День вечереет, небо опустело.
Гул молотилки слышен на гумне...
Я вижу, слышу, счастлив. Всё во мне.

СЛОВО

Молчат гробницы, мумии и кости,–
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.

И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный – речь.

ТАНЬКА

Таньке стало холодно, и она проснулась.

Высвободив руки из попонки, в которую она неловко закуталась ночью, Танька вытянулась, глубоко вздохнула и опять сжалась. Но все-таки было холодно. Она подкатилась под самую «голову» печи и прижала к ней Ваську. Тот открыл глаза и взглянул так светло, как смотрят со сна только здоровые дети. Потом повернулся на бок и затих. Танька тоже стала задремывать. Но в избе стукнула дверь: мать, шурша, протаскивала из сенец охапку соломы.

– Холодно, тетка? – спросил странник, лежа на конике[1].

– Нет,– ответила Марья,– туман. А собаки валяются,– беспременно к метели.

Она искала спички и гремела ухватами.

Странник спустил ноги с коника, зевал и обувался.

В окна брезжил синеватый свет утра; под лавкой шипел и крякал проснувшийся хромой селезень. Теленок поднялся на слабые растопыренные ножки, судорожно вытянул хвост и так глупо и отрывисто мякнул, что странник засмеялся и сказал:

– Сиротка! Корову-то прогусарили?

– Продали.

– И лошади нету?

---

[1] *Ко́ник* – доска, прибитая у печи, или просто лавка для спанья.

— Продали.

Танька раскрыла глаза.

Продажа лошади особенно врезалась ей в память. «Когда еще картохи копали», в сухой ветреный день, мать на поле полудновала, плакала и говорила, что ей «кусок в горло не идет», и Танька все смотрела на ее горло, не понимая, о чем толк.

Потом в большой крепкой телеге с высоким передком приезжали «анчихристы». Оба они были похожи друг на друга — черны, засалены, подпоясаны по кострецам[1]. За ними пришел еще один, еще чернее, с палкой в руке, что-то громко кричал и немного погодя вывел со двора лошадь и побежал с нею по выгону; за ним бежал отец, и Танька думала, что он погнался отнимать лошадь, догнал и опять увел ее во двор. Мать стояла на пороге избы и голосила. Глядя на нее, заревел во все горло и Васька... Потом «черный» опять вывел со двора лошадь, привязал ее к телеге и рысью поехал под гору... И отец уже не погнался...

«Анчихристы», лошадники-мещане, были и правда свирепы на вид, особенно последний — Талдыкин. Он пришел позднее, а до него два первые только цену сбивали. Они наперебой пытали лошадь, драли ей морду, били палками.

— Ну,— кричал один,— смотри сюда, получай с богом деньги!

— Не мои они, побереги, полцены брать не приходится,— уклончиво отвечал Корней.

— Да какая же это полцена, ежели, к примеру, кобыленке поболе годов, чем нам с тобой? Молись богу!

— Что зря толковать,— рассеянно возражал Корней.

Тут-то и пришел Талдыкин, здоровый, толстый мещанин с физиономией мопса: блестящие злые глаза, форма носа, скулы — все напоминало в нем эту собачью породу.

— Что за шум, а драки нету? — сказал он, входя и улыбаясь, если только можно назвать улыбкой раздувание ноздрей.

Он подошел к лошади, остановился и долго равнодушно молчал, глядя на нее. Потом повернулся, небрежно сказал товарищам: «Поскореича, ехать время, я на выгоне дожду»,— и пошел к воротам.

Корней нерешительно окликнул:

— Что ж не глянул лошадь-то?

---

[1] *Костре́ц* — конец спинной кости; здесь: низко подпоясаны.

Талдыкин остановился.

— Долгого взгляда не стоит,— сказал он.

— Да ты поди, побалакаем...

Талдыкин подошел и сделал ленивые глаза.

— Ну?

Он внезапно ударил лошадь под брюхо, дернул ее за хвост, пощупал под лопатками, понюхал руку и отошел.

— Плоха? — стараясь шутить, спросил Корней.

Талдыкин хмыкнул:

— Долголетня?

— Лошадь не старая.

— Тэк. Значит, первая голова на плечах?

Корней смутился.

Талдыкин быстро всунул кулак в угол губ лошади, взглянул как бы мельком ей в зубы и, обтирая руку об полу, насмешливо и скороговоркой спросил:

— Так не стара? Твой дед не ездил венчаться на ней?.. Ну, нам сойдет, получай одиннадцать желтеньких.

И, не дожидаясь ответа Корнея, достал деньги и взял лошадь за оброть.

— Молись богу да полбутылочки ставь.

— Что ты, что ты? — обиделся Корней. — Ты без креста, дядя!

— Что? — воскликнул Талдыкин грозно. — Обабурился? Денег не желаешь? Бери, пока дурак попадается, бери, говорят тебе!

— Да какие же это деньги?

— Такие, каких у тебя нету.

— Нет, уж лучше не надо...

— Ну, через некоторое время за семь отдашь, с удовольствием отдашь,— верь совести...

Корней отошел, взял топор и с деловым видом стал тесать подушку под телегу.

Потом пробовали лошадь на выгоне... И как ни хитрил Корней, как ни сдерживался, не отвоевал-таки!

Когда же пришел октябрь и в посиневшем от холода воздухе замелькали, повалили белые хлопья, занося выгон, лозины и завалинку избы, Таньке каждый день пришлось удивляться на мать.

Бывало, с началом зимы для всех ребятишек начинались истинные мучения, проистекавшие, с одной стороны, от желания

удрать из избы, пробежать по пояс в снегу через луг и, катаясь на ногах по первому синему льду пруда, бить по нем палками и слушать, как он гулькает, а с другой стороны – от грозных окриков матери:

– Ты куда? Чичер, холод – а она, накося! С мальчишками на пруд! Сейчас лезь на печь, а то смотри у меня, демоненок!

Бывало, с грустью приходилось довольствоваться тем, что на печь протягивалась чашка с дымящимися рассыпчатыми картошками и ломоть пахнущего клетью, круто посоленного хлеба. Теперь же мать совсем не давала по утрам ни хлеба, ни картошек, на просьбы об этом отвечала:

– Иди, я тебя одену, ступай на пруд, деточка!

Прошлую зиму Танька и даже Васька ложились спать поздно и могли спокойно наслаждаться сиденьем на «грубке» печки[1] хоть до полуночи. В избе стоял распаренный, густой воздух; на столе горела лампочка без стекла, и копоть темным, дрожащим фитилем достигала до самого потолка. Около стола сидел отец и шил полушубки; мать чинила рубахи или вязала варежки; наклоненное лицо ее было в это время кротко и ласково. Тихим голосом она пела «старинные» песни, которые слыхала еще в девичестве, и Таньке часто хотелось от них плакать. В темной избе, завеянной снежными вьюгами, вспоминалась Марье ее молодость, вспоминались жаркие сенокосы и вечерние зори, когда шла она в девичьей толпе полевою дорогой с звонкими песнями, а за ржами опускалось солнце и золотою пылью сыпался сквозь колосья его догорающий отблеск... Песней говорила она дочери, что и у нее будут такие же зори, будет все, что проходит так скоро и надолго, надолго сменяется деревенским горем и заботою...

Когда же мать собирала ужинать, Танька в одной длинной рубашонке съерзывала с печи и, часто перебирая босыми ножками, бежала на коник, к столу. Тут она, как зверок, садилась на корточки и быстро ловила в густой похлебке сальце и закусывала огурцами и картошками. Толстый Васька ел медленно и таращил глаза, стараясь всунуть в рот большую ложку... После ужина она с тугим животом так же быстро перебегала на печь, дралась из-за места с Васькой и, когда в темные оконца смотрела одна морозная ночная муть, засыпала сладким сном под молит-

---

[1] *На «грубке́» печки* – на лежанке при печке.

венный шепот матери: «Угодники божии, святителю Микола милосливый, столп-охранение людей, матушка пресвятая Пятница – молите бога за нас! Хрест в головах, хрест у ногах, хрест от лукавого...»

Теперь мать рано укладывала спать, говорила, что ужинать нечего, и грозила «глаза выколоть», «слепым в сумку отдать», если она, Танька, спать не будет. Танька часто ревела и просила «хоть капуски», а спокойный и насмешливый Васька лежал, драл ноги вверх и ругал мать:

– Вот домовой-то,– говорил он серьезно,– все спи да спи! Дай бати дождать!

Батя ушел еще с Казанской[1], был дома только раз, говорил, что везде «беда»,– полушубков не шьют, больше помирают,– и он только чинит кое-где у богатых мужиков. Правда, в тот раз ели селедки, и даже «вот такой-то кусок» соленого судака батя принес в тряпочке: «на кстинах[2], говорит, был третьего дня, так вам, ребята, спрятал»... Но когда батя ушел, совсем почти есть перестали...

Странник обулся, умылся, помолился богу; широкая его спина в засаленном кафтане, похожем на подрясник, сгибалась только в пояснице, крестился он широко. Потом расчесал бородку-клинушек и выпил из бутылочки, которую достал из своего походного ранца. Вместо закуски закурил цигарку. Умытое лицо его было широко, желто и плотно, нос вздернут, глаза глядели остро и удивленно.

– Что ж, тетка,– сказал он,– даром солому-то жжешь, варева не ставишь?

– Что варить-то? – спросила Марья отрывисто.

– Как что? Ай нечего?

– Вот домовой-то... – пробормотал Васька.

Марья заглянула на печку:

– Ай проснулся?

Васька сопел спокойно и ровно.

Танька прижукнулась.

– Спят,– сказала Марья, села и опустила голову.

Странник исподлобья долго глядел на нее и сказал:

– Горевать, тетка, нечего.

---

[1] *Ушел с Казанской* – то есть в октябре.

[2] На крестинах.

Марья молчала.

– Нечего,– повторил странник. – Бог даст день, бог даст пищу. У меня, брат, ни крова, ни дома, пробираюсь бережками и лужками, рубежами и межами, да по задворкам,– и ничего себе. Эх, не ночевывала ты на снежку под ракитовым кустом – вот что!

– Не ночевывал и ты,– вдруг резко сказала Марья, и глаза ее заблестели,– с ребятишками, с голодными, не слыхал, как голосят они во сне с голоду! Вот что́ я им суну сейчас, как встанут? Все дворы еще до рассвету обе́гала – Христом-богом просила, одну краюшечку добыла... и то, спасибо, Козел дал... у самого, говорит, оборочки на лапти не осталось... А ведь ребят-то жалко – в отделку сморились...

Голос Марьи зазвенел.

– Я вон,– продолжала она, все более волнуясь,– гоню их каждый день на пруд... «Дай капуски, дай картошечек...» А что я дам? Ну, и гоню: «Иди, мол, поиграй, деточка, побегай по ледочку...»

Марья всхлипнула, но сейчас же дернула по глазам рукавом, поддала ногой котенка («У, погибели на тебя нету!..») и стала усиленно сгребать на полу солому.

Танька замерла. Сердце у нее стучало. Ей хотелось заплакать на всю избу, побежать к матери, прижаться к ней... Но вдруг она придумала другое. Тихонько поползла она в угол печки, торопливо, оглядываясь, обулась, закутала голову платком, съерзнула с печки и шмыгнула в дверь.

«Я сама уйду на пруд, не буду просить картох, вот она и не будет голосить,– думала она, спешно перелезая через сугроб и скатываясь в луг. – Аж к вечеру приду...»

По дороге из города ровно скользили, плавно раскатываясь вправо и влево, легкие «козырьки»; меринок шел в них ленивой рысцою. Около саней бежал молодой мужик в новом полушубке и одеревеневших от снега нагольных сапогах, господский работник. Дорога была раскатистая, и ему поминутно приходилось, завидев опасное место, соскакивать с передка, бежать некоторое время и затем успеть задержать собой на раскате сани и снова вскочить бочком на облучок.

В санях сидел седой старик, с нависшими бровями, барин Па-

вел Антоныч. Уже часа четыре смотрел он в теплый, мутный воздух зимнего дня и на придорожные вешки в инее[1].

Давно он ездил по этой дороге... После Крымской кампании, проиграв в карты почти все состояние, Павел Антоныч навсегда поселился в деревне и стал самым усердным хозяином. Но и в деревне ему не посчастливилось. Умерла жена... Потом пришлось отпустить крепостных... Потом проводить в Сибирь[2] сына-студента... И Павел Антоныч стал совсем затворником. Он втянулся в одиночество, в свое скупое хозяйство, и говорили, что во всей округе нет человека более жадного и угрюмого. А сегодня он был особенно угрюм.

Морозило, и за снежными полями, на западе, тускло просвечивая сквозь тучи, желтела заря.

— Погоняй, потрогивай, Егор, — сказал Павел Антоныч отрывисто.

Егор задергал вожжами.

Он потерял кнут и искоса оглядывался.

Чувствуя себя неловко, он сказал:

— Чтой-то бог даст нам на весну в саду: прививочки, кажись, все целы, ни одного, почитай, морозом не тронуло.

— Тронуло, да не морозом,— отрывисто сказал Павел Антоныч и шевельнул бровями.

— А как же?

— Объедены.

— Зайцы-то? Правда, провалиться им, объели кое-где.

— Не зайцы объели.

Егор робко оглянулся.

— А кто ж?

— Я объел.

Егор поглядел на барина в недоумении.

— Я объел,— повторил Павел Антоныч. — Кабы я тебе, дураку, приказал их как следует закутать и замазать, так были бы целы... Значит, я объел.

Егор растянул губы в неловкую улыбку.

— Чего оскаляешься-то? Погоняй!

---

[1] *Придоро́жные ве́шки.* — Зимой, чтобы путник не заблудился, на дороге ставились палки, вехи.

[2] *Проводить в Сибирь* — имеется в виду ссылка в Сибирь, вероятнее всего по политическим мотивам.

Егор, роясь в передке, в соломе, пробормотал:
– Кнут-то, кажись, соскочил, а кнутовище...
– А кнутовище? – строго и быстро спросил Павел Антоныч.
– Переломился...
И Егор, весь красный, достал надвое переломленное кнутовище. Павел Антоныч взял две палочки, посмотрел и сунул их Егору.
– Нá тебе два, дай мне один. А кнут – он, брат, ременный – вернись, найди.
– Да он, может... около городу.
– Тем лучше. В городе купишь. Ступай. Придешь пешком. Один доеду.
Егор хорошо знал Павла Антоныча. Он слез с передка и пошел назад по дороге.
А Танька благодаря этому ночевала в господском доме.
Да, в кабинете Павла Антоныча был придвинут к лежанке стол, и на нем тихо звенел самовар. На лежанке сидела Танька, около нее Павел Антоныч. Оба пили чай с молоком.
Танька запотела, глазки у нее блестели ясными звездочками, шелковистые беленькие ее волосики были причесаны на косой ряд, и она походила на мальчика. Сидя прямо, она пила чай отрывистыми глотками и сильно дула в блюдечко. Павел Антоныч ел крендели, и Танька тайком наблюдала, как у него двигаются низкие серые брови, шевелятся пожелтевшие от табаку усы и смешно, до самого виска ходят челюсти.
Будь с Павлом Антонычем работник, этого бы не случилось. Но Павел Антоныч ехал по деревне один. На горе катались мальчишки. Танька стояла в сторонке и, засунув в рот посиневшую руку, грела ее. Павел Антоныч остановился.
– Ты чья? – спросил он.
– Корнеева,– ответила Танька, повернулась и бросилась бежать.
– Постой, постой,– закричал Павел Антоныч,– я отца видел, гостинчика привез от него.
Танька остановилась.
Ласковой улыбкой и обещанием «прокатить» Павел Антоныч заманил ее в сани и повез. Дорогой Танька совсем было ушла. Она сидела у Павла Антоныча на коленях. Левой рукой он захватил ее вместе с шубой. Танька сидела, не двигаясь. Но у ворот усадьбы вдруг ерзнула из шубы, даже заголилась вся, и

ноги ее повисли за санями. Павел Антоныч успел подхватить ее под мышки и опять начал уговаривать. Все теплей становилось в его старческом сердце, когда он кутал в мех оборванного, голодного и иззябшего ребенка. Бог знает, что он думал, но брови его шевелились все живее.

В доме он водил Таньку по всем комнатам, заставлял для нее играть часы. Слушая их, Танька хохотала, а потом настораживалась и глядела удивленно: откуда эти тихие перезвоны и рулады идут? Потом Павел Антоныч накормил ее черносливом – Танька сперва не брала – «он чернущий, ну-кось умрешь», дал ей несколько кусков сахару. Танька спрятала и думала: «Ваське не дам, а как мать заголосит, ей дам».

Павел Антоныч причесал ее, подпоясал голубеньким пояском. Танька тихо улыбалась, втащила поясок под самые мышки и находила это очень красивым. На расспросы она отвечала иногда очень поспешно, иногда молчала и мотала головой.

В кабинете было тепло. В дальних темных комнатах четко стучал маятник. Танька прислушивалась, но уже не могла одолеть себя. В голове у нее роились сотни смутных мыслей, но они уже облекались сонным туманом.

Вдруг на стене слабо дрогнула струна на гитаре и пошел тихий звук. Танька засмеялась.

– Опять? – сказала она, поднимая брови, соединяя часы и гитару в одно.

Улыбка осветила суровое лицо Павла Антоныча, и давно уже не озарялось оно такою добротою, такою старчески-детскою радостью.

– Погоди,– шепнул он, снимая со стены гитару.

Сперва он сыграл «Качучу», потом «Марш на бегство Наполеона» и перешел на «Зореньку»:

Заря ль моя, зоренька,
Заря ль моя ясная!

Он глядел на задремывающую Таньку, и ему стало казаться, что это она, уже молодой деревенской красавицей, поет вместе с ним песни:

По заре-заре
Играть хочется!

Деревенской красавицей! А что ждет ее? Что выйдет из ребенка, повстречавшегося лицом к лицу с голодной смертью?

Павел Антоныч нахмурил брови, крепко захватив струны...

Вот теперь его племянницы во Флоренции... Танька и Флоренция!..

Он встал, тихо поцеловал Таньку в голову, пахнущую курной избой[1].

И пошел по комнате, шевеля бровями.

Он вспомнил соседние деревушки, вспомнил их обитателей. Сколько их, таких деревушек,— и везде они томятся от голода![2]

Павел Антоныч все быстрее ходил по кабинету, мягко ступая валенками, и часто останавливался перед портретом сына...

А Таньке снился сад, по которому она вечером ехала к дому. Сани тихо бежали в чащах, опушенных, как белым мехом, инеем. Сквозь них роились, трепетали и потухали огоньки, голубые, зеленые — звезды... Кругом стояли как будто белые хоромы, иней сыпался на лицо и щекотал щеки, как холодный пушок... Снился ей Васька, часовые рулады, слышалось, как мать не то плачет, не то поет в дымной темной избе старинные песни...

---

[1] *Курна́я изба* — небольшая избушка с печью без трубы; дым из печи выходил в оконце либо в дверь. Такая избушка имела обычно подсобное значение в хозяйстве.

[2] *Везде они томятся от голода!* — В дореволюционное время в неурожайные годы голод охватывал население многих деревень. Рассказ написан в 1892 году и полон живых воспоминаний о таких неурожайных годах.

ИЗ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Раздел I

Зоя Ивановна Воскресенская

Родилась в 1907 году

ВИЗИТНОЕ ПЛАТЬЕ

Дождь лил, не переставая, третий день. Цветы на клумбах полегли, в лужах плавали завязи яблок, сбитые ветром. Примолкли птицы. Река вздулась от дождей.

Ненастье и тревога наполнили маленький бревенчатый домик.

А еще недавно стояли жаркие июньские дни, и в доме было празднично. Вся семья ждала приезда дорогого гостя — Владимира Ильича. Мария Александровна сняла этот золотистый домик на берегу Пахры[1]. Три окна смотрят на дорогу. Позади дома небольшой сад. В углу сада беседка, и перед ней крокетная площадка. «Все здесь напомнит Володе Симбирск, детство,— думала мать,— и Пахра чем-то походит на Свиягу».

Наконец-то все дети на свободе. Кончилась трехлетняя ссылка Владимира Ильича, позади тревожные дни, когда Дмитрий Ильич и Мария Ильинична находились в тюрьме. Материнское сердце отдыхало. И вот пришла тревожная весть: Владимира Ильича снова арестовали. Мария Александровна не выдержала нового испытания — слегла.

Анна Ильинична, Мария Ильинична и Дмитрий Ильич в столовой ждут, что скажет врач. Дмитрий Ильич перелистывает медицинский учебник.

Доктор Левицкий вышел из комнаты Марии Александровны, и все трое поднялись ему навстречу.

— Что вы находите, доктор? — обеспокоенно спросила Анна Ильинична. — Какое лечение?

— Ничего страшного. А лечение — свежий воздух, волнения только радостные.

— Но у мамочки больное сердце, ей столько пришлось пережить,— замечает Мария Ильинична.

— И шестьдесят пять лет дают о себе знать,— добавляет Дмитрий Ильич.

---

[1] В 1900 году семья Ульяновых жила в подмосковном городе Подольске, стоящем на реке Пахре. Сейчас здесь дом-музей В. И. Ленина.

Доктор пощипал бородку, внимательно посмотрел на книгу, которую Дмитрий Ильич держал в руках.

– Дорогой коллега,– сказал он. – Сердце матери еще ни в одном медицинском учебнике не описано, тайны его могущества не раскрыты. А хорошая доза радости – для него самое лучшее лекарство. Да-с. Я разрешил вашей матушке вставать, завтра наведаюсь. А пока честь имею кланяться...

Сёстры направились в комнату матери, а она сама вышла им навстречу, чуть побледневшая, но снова бодрая.

– Мамочка! Как ты себя чувствуешь?

– Значительно лучше,– ответила Мария Александровна,– настолько лучше, что я решила ехать в Петербург.

– Это невозможно! Ты больна! – воскликнули сестры.

– Я не могу бездеятельно сидеть и ждать. Может быть, мне удастся облегчить участь Володи. Подам прошение в жандармское управление... Митенька, сходи, пожалуйста, на станцию, купи мне билет. Да оденься получше. Такой унылый дождь. А тебя, Анюта, я прошу привести в порядок мое визитное платье, а я с Маняшей соберу саквояж.

Дмитрий Ильич отправился на станцию. Анна Ильинична вынула из гардероба черное платье и стала прилаживать к нему свежий воротничок.

«Славный мамочкин боевой мундир»,– подумала она с нежностью.

Не для праздничных визитов было сшито это платье, а для посещений приемных жандармских управлений, генерал-губернаторов. Каждый раз, когда с кем-нибудь из детей случалась беда, мать вступала в тяжелую, упорную и терпеливую борьбу. Только платье знает, как тревожно билось сердце, а затем и вовсе замирало, слыша жесткое, холодное: «В вашей просьбе отказано». Но она никогда не складывала рук, не приходила в отчаяние, а, сжав тонкими пальцами перо, вновь и вновь писала прошения, писала так, как принято было писать: «Милостивый государь! Честь имею покорнейше просить...» Сколько таких прошений хранится в архивах жандармских управлений!

Мария Ильинична помогала укладывать саквояж и с тревогой поглядывала на маму. «Как она поедет? Может быть, попросить доктора Левицкого быть ее „случайным“ попутчиком? Попытаться еще раз отговорить ее от поездки?»

У дверей затрезвонил колокольчик. В сенях шум, смех... И,

как веселый летний ураган, в комнату влетели разом Дмитрий Ильич и Владимир Ильич.

– Мамочка! Володя приехал! Мамочка! – кричит Анна Ильинична.

– Володюшка! Володюшка! – спешит мать навстречу сыну. – Здоров? Свободен?

– Здоров, совершенно свободен и счастлив безмерно. – Владимир Ильич скинул мокрое пальто, обнял мать.

– Володенька, братик, скажи, что я не сплю и что все это наяву! – теребит брата Мария Ильинична.

– Анюта, убери скорее мое визитное платье,– просит Мария Александровна.

– С превеликим удовольствием.

Анна Ильинична вешает платье в гардероб и плотно-плотно закрывает дверку.

Сёстры собирают на стол, в доме звучит смех.

Владимир Ильич бережно усадил Марию Александровну на диван и сел рядом с ней.

– До чего же хорошо дома, просто прелесть! Представляю, как здесь красиво в солнечную погоду.

– Здесь даже и в ненастье уютно,– отвечает счастливая мать. – Посмотри, какой светлый дождь за окном.

– Ну, расскажи, Володик, как тебе удалось выбраться из тюрьмы и как ты попался,– просила Анна.

Мария Александровна садится к самовару, разливает чай.

– Приехал в Питер и... подцепил «хвост»,– смеется Владимир Ильич. – Когда жандармы схватили меня, первой мыслью было: как бы освободить карманы. Но не тут-то было! Два дюжих молодца закрутили мне руки назад, а третий зорко следил, чтобы я чего-нибудь не сжевал. А в карманах у меня просто сейф: две тысячи рублей – на газету получил, большое письмо Плеханову[1] с подробным планом организации газеты, адреса́ конспиративных квартир.

– Умереть можно от страха,– поеживается Мария Ильинична.

– Но! – поднимает палец Владимир Ильич. – Все это было записано молоком, лимонной кислотой и разной прочей снедью,

---

[1] *Плеха́нов* Георгий Валентинович (1856–1918) – выдающийся русский марксист, один из основателей газеты «Искра».

записано между строчек на разных квитанциях. Сижу в камере и раздумываю: догадаются жандармы все эти квитанции утюгом прогладить или нет? И, представьте себе, не догадались! Через десять дней вызывают меня и строго-настрого внушают, что без разрешения в Питер и еще в шестьдесят городов мне приезжать не велено. Вернули мне все мое имущество, деньги и даже заграничный паспорт.

Мария Александровна, стараясь не выдать огорчения, спросила:

— Ты что, Володюшка, за границу собираешься?

— Да, мамочка, в Германию. Мы задумали большое, важное дело — решили издавать газету. Будем печатать ее в Германии и тайными путями переправлять в Россию.

— А как она будет называться? — спросила Анна Ильинична.

— «Искра»! — воскликнул Владимир Ильич. — «Из искры возгорится пламя». Помните?

— Да, да,— говорит Мария Ильинична,— это из ответа декабристов Пушкину.

Мария Александровна прислушивается к разговору детей и понимает, что задумано великое дело. По всей России будут созданы опорные пункты для газеты. Владимир Ильич уже побывал в Риге, Смоленске, Петербурге, Москве и Пскове и везде организовал работу корреспондентов, агентов по распространению газеты.

— Вот бы съездить еще на Волгу — в Самару, в Нижний, по пути завернуть в Сызрань, проехаться к Надюше в Уфу!

— Соскучился? — спрашивает участливо мать.

— Очень! — искренне вырвалось у Владимира Ильича. — Это ведь первая наша разлука. И хочется познакомиться с товарищами в Уфе... Разложить наши костры по Волге. Вот «Искра» и должна будет их зажечь.

— А если тебе попросить разрешения? — спросила мать.

— Уже просил. Наотрез отказали,— вздохнул Владимир Ильич.

Дождь перестал. Владимир Ильич распахнул окно.

— Пойдем, мамочка, посмотрим сад,— предложил Владимир Ильич. — Только надень калоши и пальто.

Опираясь на руку сына, Мария Александровна вышла в сад.

— Как красиво здесь! Прямо как в Симбирске! — восхищался Владимир Ильич. — Я вызвал сюда товарищей посоветоваться о

наших делах. А пока они приедут, мы будем с тобой целые дни проводить вместе. Я даже писать не буду.

Мария Александровна молчала, она думала о чем-то другом.

– Знаешь, Володюшка, я, кажется, придумала, как тебе поехать к Надюше и по твоим кострам на Волге.

– Мамочка!

– Да, да, я должна познакомиться с невесткой,– весело продолжала Мария Александровна, и лучики-морщинки разбежались вокруг глаз.

– С Надей? – удивился Владимир Ильич. – Но ты же с ней знакома.

– Да, но жандармам это неизвестно. Женился ты в ссылке, домой жену не довез.

– Полиция не разрешила, ей еще полгода быть в ссылке.

– Так вот. Я должна познакомиться с невесткой. Это мое материнское право, и отказать мне в этом не могут. Я поеду в Петербург и буду хлопотать.

– Но ты можешь ехать к ней и без разрешения.

– Я не могу ехать одна. Мне шестьдесят пять лет. У меня больное сердце. А кто же должен сопровождать меня и представить матери свою жену? Сын... Ты, Володюшка! Я сегодня же поеду в Петербург,– твердо сказала Мария Александровна.

Владимир Ильич молча обнял мать.

По дорожке к ним шла Анна Ильинична.

– Ну, как тебе здесь нравится, Володик? Наконец-то наша мамочка дождалась тебя.

Владимир Ильич только развел руками. Вид у него был счастливый и чем-то смущенный.

– Анечка, я еду сегодня в Петербург. Вынь, пожалуйста, мое визитное платье, и пусть Митя сходит на станцию,– ласково сказала Мария Александровна.

В ТЕМНУЮ НОЧЬ

Это было давно. В 1907 году. В Финляндии.

Стоял декабрь, а настоящей зимы еще не было. Юго-западный ветер взламывал неокрепшие льды Ботнического залива. Тысячи небольших островов и островков – шхеры, покрытые снегом,– были похожи на вздыбленные и застывшие волны.

По дороге, ведущей из города Або по островам, лошадь тащила санки. На облучке сидел финн Виктор Карлсон. Он вез на остров Лилльмэло человека, про которого Карлсону сказали, что это враг русского царя и что он скрывается от царской полиции. Вот и всё, что знал о своем седоке Карлсон.

А седоком был Владимир Ильич Ленин.

Русские жандармы получили приказ разыскать и арестовать Ленина, поэтому Владимиру Ильичу нужно было немедленно выехать за границу.

На закате дорога привела к одинокому красному домику на скалистом холме.

— Приехали,— важно сказал Карлсон.

Он слез с облучка, привязал лошадь и с силой толкнул ногой дверь.

Небольшая комната-кухня, в которую они вошли, блестела чистотой. На полу были разостланы светлые половики, самодельные коврики украшали бревенчатые стены, на полке у большой печки сияли начищенные медные кастрюли. От печи до стен под самым потолком тянулись тонкие шесты с нанизанными на них круглыми, плоскими, как лепешки, ржаными хлебами.

Стоя у порога, Карлсон о чем-то вполголоса поговорил с хозяином дома Бергманом, попрощался со своим пассажиром, кивнул хозяйке и торопливо ушел.

Владимир Ильич сел рядом с хозяином на широкую скамью и, положив руку ему на плечо, сказал:

— Друг, мне нужно скорее попасть в Стокгольм. Как это сделать?

Рыбак коричневым, как сук, пальцем набивал трубку. Он молчал, потому что не мог делать два дела разом: набивать трубку и разговаривать. Наконец трубка разгорелась, рыбак затянулся, окинул медленным взглядом приезжего, словно оценивая его силы, и произнес:

— Не подойдет! Нет дороги. Ни пешком, ни на лодке. Надо ждать, пока станет лед.

— Вы говорите: «Ни пешком, ни на лодке». А если пешком и на лодке? Идти по льду, а лодку толкать перед собой? — живо подхватил Владимир Ильич.

— Не пойдет,— упрямо повторил рыбак. — Лед не выдержит человека. Лодка не пробьется сквозь густой лед.

Утром Владимир Ильич поднялся вместе с хозяином. Умыв-

шись, он сразу сел за стол у окна и развернул тетрадь.

Из маленького оконца были видны невысокие гряды скалистых островов, поросших редкими деревьями. Какая сила удерживала деревья на голых и гладких скалах? Семена их находили присыпанные землей щербинки, корни нащупывали трещинки, росли и крепли, вгрызаясь в гранит. Теперь уже никакие штормы не могли свалить эти деревья.

Бергман из кухни поглядывал в приоткрытую дверь спальни и, вспоминая слова Карлсона, думал: «Неужели это и есть самый сильный враг царя? А с виду — обыкновенный человек. Вот он сидит у стола, опустив левое плечо, чуть склонив набок большую голову, и быстро-быстро пишет, не обращая внимания ни на вой ветра, ни на рокот волн. Потом просматривает какие-то таблицы, греет руки под мышками и снова пишет».

Семья садится завтракать. Хозяйка ставит на стол медный кофейник, снимает с шеста круглые хлебы.

— Пожалуйста, к столу,— приглашает хозяин.

Владимир Ильич выходит в кухню, приветливо улыбается, и вот он уже полон доброжелательного внимания и интереса к жизни этой семьи, их заботам. Он расспрашивает, как Бергман умудряется сеять на скалах, какие культуры выращивает, интересуется уловом рыбы, даже молчаливую хозяйку вовлекает в разговор.

* * *

Несколько дней Владимир Ильич живет у Бергмана. А медлить нельзя — его ждут большие, неотложные дела. Во что бы то ни стало надо скорее попасть в Стокгольм и затем в Швейцарию, чтобы оттуда наладить связь с рабочими России, с партией и готовиться к будущим революционным боям.

Прошло еще два томительных дня.

Утром, после обычного вопроса «как лед?», Бергман ответил:

— Лед еще не стал. Ветер не переменился. Раньше нового года отсюда не выбраться. На следующей неделе начинаются рождественские праздники, а кто в праздники отправляется в путешествие?

— Нет,— твердо сказал Владимир Ильич.— Мне надо быть в Стокгольме до рождественских праздников. Завтра мы должны выехать. Завтра!

Рыбак молчал, продолжая заниматься своими делами.

Но после обеда он вытащил из-под навеса небольшую плоскодонную лодку и начал ее оснащать: впереди уключин прибил прочные стойки высотой в полметра, а на них, поперек лодки, прикрепил шест.

Вечером Бергман сообщил, что к отъезду все готово. Отправляться надо до рассвета, чтобы в темноте миновать населенные места и вовремя добраться до водяной дороги, проложенной ледоколом. Он неодобрительно посмотрел на хромовые сапоги гостя и после обеда куда-то ушел. Вернулся с огромными рыбацкими сапогами.

...До конца ночи оставалось менее двух часов. Хозяйка подала на стол жареную рыбу, хлеб, кофе. Владимир Ильич отхлебнул несколько глотков и, подойдя к хозяйке, крепко пожал ей руку:

— Большое спасибо! Большое спасибо за все!

Скупая, как зимнее северное солнце, улыбка осветила лицо женщины.

* * *

С моря доносились тревожные гудки пароходов. Луна, выбираясь из тумана, освещала темную поверхность Ботнического залива.

Держась с обеих сторон за шест, путники двигали лодку вперед. Она громыхала деревянным днищем по неровной поверхности льда, ноги спотыкались о замерзшие комья снега. Владимир Ильич правой рукой держался за шест, а в левой нес рыбацкий фонарь.

Бергман вел каким-то хитрым, извилистым, одному ему известным путем. Каждые пятьдесят — сто шагов он останавливался, брал из лодки багор с острым наконечником и сильным движением с возгласом «я-гха!» вбивал его впереди лодки, проверяя, насколько прочен лед.

Северный ветер усиливался, стегал по воспаленным лицам, мимо фонаря проносились густые космы игольчатого снега.

Прошли не больше двух километров, а уже устали, пот заливал глаза.

Наметился мутный рассвет, серый и немощный. Казалось, он никогда не превратится в белый день.

Ледяные пространства между островами становились все шире. Перед одним островком была огромная полынья. Путники в первый раз забрались в лодку и в несколько взмахов весел подвели ее к ледяной кромке. Потом волоком перетащили лодку через островок.

— Теперь надо перебраться на тот остров. — Бергман показал рукавицей прямо перед собой.

Впереди виднелись ледяные торосы, запорошенные снегом.

Держась за шест, который вырывался из руки, стараясь согласовывать свои движения с Бергманом, Владимир Ильич всматривался в даль.

— Много ли мы прошли? — спросил он.

— Самое длинное — позади, самое трудное — впереди,— загадочно ответил Бергман.

Он все чаще останавливался, произнося свое «я-гха!». Оно звучало то как тревога, то как вопрос, а то и как яростное ругательство.

На большой плоской льдине Владимир Ильич хотел перевести дыхание, расправить руки и ноги. Но не успел он сделать и двух шагов, как льдина накренилась и левая нога скользнула в воду.

Владимир Ильич еще крепче ухватился за шест и широко занес правую ногу, чтобы опереться ею на ребро прозрачной льдины, выпиравшей из-под снега. Но едва он ступил на нее, ледяная глыба нырнула, вода залила сапог, шест затрещал...

Льдины, зловеще шурша, стали расходиться в разные стороны, лед уходил из-под ног: велика была опасность!

Владимир Ильич взглянул на своего спутника: лицо Бергмана потемнело, глаза округлились; гулко ухая, он проваливался по пояс в воду.

— В лодку! Скорее в лодку!

Кто сказал это? Может быть, Бергману почудилось? Быстро перехватывая руками шест, оба приблизились к лодке. Шест гнулся и скрипел. Спутники схватились за уключины и рывком, одновременно с обеих сторон, перебросились в лодку.

Владимир Ильич почувствовал внезапный озноб. Не в силах сдержать дробного стука зубов, он неожиданно громко рассмеялся:

— А вода довольно прохладная...

Бергман трясущимися руками развернул большой тюк войлока. Он вынул оттуда сапоги Владимира Ильича. Сапоги будто сняли с печки — они были совсем теплые, а внутри лежали шерстяные носки, засунутые туда заботливой хозяйкой. Рыбак поймал веселый благодарный взгляд своего спутника и отвел глаза в сторону.

Держа в руках носки, Владимир Ильич спросил, не промок ли Бергман. Нет, не промок. На нем был брезентовый комбинезон с притачанными сапогами. Владимир Ильич сменил носки и сапоги и стал делать энергичные движения руками, чтобы согреться.

Бергман тем временем извлек из войлока флягу и осторожно открутил крышку. Из посудины повалил пар горячего кофе.

— Чудесно! — с восхищением сказал Владимир Ильич, отпивая из кружки горячий напиток.

Подкрепившись, двинулись в путь. Добрались до ледяной кромки и снова потащили лодку.

Теперь уже не более полукилометра отделяло путников от острова Нáгу, у которого проходила водяная дорога. Там нужно было дожидаться шведского парохода, идущего из Або в Стокгольм.

Эти сотни метров, казалось, были самыми трудными.

Но вот блеснула узкая лента воды, проложенная ледоколом. Еще немного усилий, и оба путника, забравшись в лодку, стали ждать пароход.

Бергман отбил стойки от бортов. Больше они не нужны. Лодку он оставит у знакомого рыбака, а сам вернется домой на пароходе.

Туман рассеивался. Ледяные просторы из серых стали зеленовато-голубыми. Наступил день.

Сидя в лодке, Владимир Ильич и Бергман смотрели на северо-восток, откуда должен был прийти пароход.

И вот над высоким островом показался движущийся султан серого дыма. Пароход! Он казался огромным на узкой водяной дороге. Путники энергично замахали шарфами... Их заметили.

С борта спускали шлюпку с матросом.

Владимир Ильич обеими руками сжал руку Бергмана, потом привлек его к себе и обнял за плечи.

— Счастливого пути! Счастливого пути! — тихо повторял Бергман.

Михаил Александрович Дудин

Родился в 1916 году

СТИХИ О ШАЛАШЕ

Мелкий лес да болото. В лиловом огне горизонт.
Грохот взрывов, и дыма тяжелая грива;
Через два километра уже начинается фронт.
Облака раздробились в чешуйчатой ряби Разлива.
Нас мороз леденил,
К нам в землянки врывалась вода,
Снег крутил, заметал переходы и щели,
Пели пули во тьме, и свистели в ночи провода,
Прорывались враги, и прорваться они не сумели.
Артиллерия била, визжал за снарядом снаряд.
И зима, и мороз, и костлявая лапа блокады.
Рядом, сзади за нами, упрямо стоял Ленинград,—
Мы стояли на страже у стен своего Ленинграда.
Это воинов долг. Это подвиг решительный наш.
Это наше единство, горячая сила порыва.
Это видевший виды из веток сосновых шалаш.
Это Ленин здесь жил, в шалаше у скупого Разлива.
Разжигая костер, он, прищурясь, смотрел в темноту.
В лунном свете вода отливала холодною сталью.
Сквозь застенки и ссылки он нес золотую мечту,
И мечту эту вместе мы сделали крепкою явью.
Мы стоим на часах. Тишина. Из густой темноты
Только звезды сквозь тучи, и ветер, летящий над миром.
...Он обходит расчеты и, проверяя посты,
Подбодряет бойцов, наставленья дает командирам.
Мы не слышали слов, но мы чувствуем наверняка,
Что вот именно так, что иначе никак не бывает,—
Этот голос, и жест, и на Запад простерта рука,
Непременно вперед, непременно вперед призывает!
Он приходит — победы решительный час.
Трубы грянут тревогу. Дорога крута и открыта.
Ленин вышел и встал.
И, прищурившись, смотрит на нас.
Мелкий лес да болото.
Бессмертный шалаш из гранита.

Николай Семенович Тихонов

1896–1979

* * *

...Неисчислимы Ленина портреты,
Они вблизи и в дальнем далеке,
В полярном мраке, на зимовках где-то,
В огнях столиц, в разбуженной тайге.

На корабле, что все моря изведал,
На заводской на вахте боевой,
Его портрет на знамени Победы,
И в космос взял его Береговой[1].

Любовь людей и глубже всё и шире,
Во имя жизни, лучшего всего,
И нет сейчас таких народов в мире,
Чтобы не знали облика его.

С грядущего завесу Ленин поднял,
Чтоб видеть мир свободным от оков,
И Ленина приветствуют сегодня
Народы всех пяти материков.

Поднявшись над прославленными всеми,
Живущий вечно в мыслях и в сердцах,
Он всех живей – над ним не властно время,
И не измерить дел его размах.

Он весь–земли бесценное наследство,
Пусть поколенья свой проходят круг,
И с каждым он встречаться будет с детства
И в жизни жить, как самый верный друг!

---

[1] *Берегово́й* Г. Т. – летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза.

Раздел II

Владимир Владимирович Маяковский

1893–1930

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЧКА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Слава тебе, краснозвёздный герой!
Землю кровью вымыв,
во славу Коммуны,
к горе за горой
шедший твердынями Крыма.
Они проползали танками рвы,
выпятив пушек шеи,–
телами рвы заполняли вы,
по трупам перейдя перешеек.
Они за окопами взрыли окоп,
хлестали свинцовой рекою,–
а вы отобрали у них Перекоп
чуть не голой рукою.
Не только
тобой завоеван Крым
и белых разбита орава,–
удар твой двойной:
завоевано им
трудиться великое право.
И если
в солнце жизнь суждена
за этими днями хмурыми,
мы знаем –
вашей отвагой она
взята в перекопском штурме.
В одну благодарность сливаем слова
тебе,
краснозвёздная лава.
Во веки веков, товарищи,
вам –
слава, слава, слава!

КАЗАНЬ

Стара,
коса
стоит
Казань.
Шумит
бурун:
«Шурум...
бурум...»
По-родному
тараторя,
снегом
лужи
намарав,
у подворья
в коридоре
люди
смотрят номера.
Кашляя
в рукава,
входит
робковат,
глаза таращит.
Приветствую товарища.
Я
в языках
не очень натаскан —
что норвежским,
что шведским мажь.
Входит татарин:
«Я
на татарском
вам
прочитаю
„Левый марш“.
Входит второй.
Косой в скуле.
И говорит,
в карманах порыскав:

«Я –
мариец.
Твой
„Левый“
дай
тебе
прочту по-марийски».
Эти вышли.
Шедших этих
в низкой
двери
встретил третий.

«Марш
ваш –
наш марш.
Я –
чуваш,
послушай,
уважь,
Марш
вашинский
так по-чувашски...»

Как будто
годы
взял за чуб я:
– Станьте
и не пылите-ка!
рукою
своею собственной
щупаю
бестелое слово
«политика».
Народы,
жившие
вьямясь в нужду,
притершись
Уралу ко льду,
ворвались в дверь,
идя
на штурм,

на камень,
на крепость культур.
Крива,
коса,
стоит
Казань.
Шумит
бурун:
«Шурум...
бурум...»

Демьян Бедный

1883—1945

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ПЕСНЯ

Как родная мать меня
Провожала,
Как тут вся моя родня
Набежала:

«А куда ж ты, паренек?
А куда ты?
Не ходил бы ты, Ванёк,
Да в солдаты!

В Красной Армии штыки
Чай, найдутся.
Без тебя большевики
Обойдутся.

Поневоле ты идешь?
Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь
Ни за что ты.

Мать, страдая по тебе,
Поседела,
Эвон в поле и в избе
Сколько дела!

Как дела теперь пошли:
Любо-мило!
Сколько сразу нам земли
Привалило!

Утеснений прежних нет
И в помине.
Лучше б ты женился, свет,
На Арине.

С молодой бы жил женой,
Не ленился!»
Тут я матери родной
Поклонился.

Поклонился всей родне
У порога:
«Не скулите вы по мне,
Ради бога.

Будь такие все, как вы,
Ротозеи,
Что б осталось от Москвы,
От Расеи?

Все пошло б на старый лад,
На недолю.
Взяли б вновь они назад
Землю, волю;

Сел бы барин на земле
Злым Малютой.
Мы б завыли в кабале
Самой лютой.

А иду я не на пляс,
На пирушку,
Покидаючи на вас
Мать-старушку:

С Красной Армией пойду
Я походом,
Смертный бой я поведу
С барским сбродом,

Что с попом, что с кулаком –
Вся беседа:
В брюхо толстое штыком
Мироеда!

Не сдаешься? Помирай,
Шут с тобою!
Будет нам милее рай,
Взятый с бою,–

Не кровавый, пьяный рай
Мироедский,–
Русь родная, вольный край,
Край советский!»

ГАЗЕТЕ «ПРАВДА»

Броженье юных сил, надежд моих весна,
Успехи первые, рожденные борьбою,
Всё, всё, чем жизнь моя досель была красна,
Соединилося с тобою.

Не раз теснила нас враждебная орда
И наше знамя попирала,
Но вера в наш успех конечный никогда
У нас в душе не умирала.

Ряд одержав побед под знаменем твоим
И закалив навек свой дух в борьбе суровой,
В тягчайшие часы мы верим: мы стоим
Пред новою борьбой и пред победой новой!

Стяг красный водрузив у древних стен Кремля,
Стяг красный правды всенародной,
Знай, трудовая рать, знай, русская земля,
Ты выйдешь из борьбы – великой и свободной!

Михаил Александрович Шолохов

1905–1984

ЖЕРЕБЕНОК

Среди белого дня возле навозной кучи, густо облепленной изумрудными мухами, головой вперед, с вытянутыми передними ножонками, выбрался он из мамашиной утробы и прямо над собою увидел нежный, сизый, тающий комочек шрапнельного разрыва; воющий гул кинул его мокренькое тельце под ноги матери. Ужас был первым чувством, изведанным тут, на земле. Вонючий град картечи с цоканьем застучал по черепичной крыше конюшни и, слегка окропив землю, заставил мать жеребенка — рыжую Трофимову кобылицу — вскочить на ноги и снова с коротким ржаньем привалиться вспотевшим боком к спасительной куче.

В последовавшей затем знойной тишине отчетливей зажужжали мухи; петух, по причине орудийного обстрела не рискуя вскочить на плетень, где-то под сенью лопухов разок-другой хлопнул крыльями и непринужденно, но глухо пропел. Из хаты слышалось плачущее кряхтенье раненого пулеметчика. Изредка он вскрикивал резким осипшим голосом, перемежая крики неистовыми ругательствами. В палисаднике на шелковистом багрянце мака звенели пчелы. За станицей в лугу пулемет доканчивал ленту, и под его жизнерадостный строчащий стук, в промежутке между первым и вторым орудийными выстрелами, рыжая кобыла любовно облизала первенца, а тот, припадая к набухшему вымени матери, впервые ощутил полноту жизни и неизбывную сладость материнской ласки.

Когда второй снаряд жмякнулся где-то за гумном, из хаты, хлопнув дверью, вышел Трофим и направился к конюшне. Обходя навозную кучу, он ладонью прикрыл от солнца глаза и, увидев, как жеребенок, подрагивая от напряжения, сосет его, Трофимову, рыжую кобылу, растерянно пошарил в карманах, дрогнувшими пальцами нащупал кисет и, слюнявя цигарку, обрел дар речи:

— Та-а-ак... Значит, ожеребилась? Нашла время, нечего сказать. — В последней фразе сквозила горькая обида.

К шершавым от высохшего пота бокам кобылы прилипли

бурьянные былки, сухой помет. Выглядела она неприлично худой и жидковатой, но глаза лучили горделивую радость, приправленную усталостью, а атласная верхняя губа ежилась улыбкой. Так, по крайней мере, казалось Трофиму. После того как поставленная в конюшню кобыла зафыркала, мотая торбой с зерном, Трофим прислонился к косяку и, неприязненно косясь на жеребенка, сухо спросил:

– Догулялась?

Не дождавшись ответа, заговорил снова:

– Хоть бы в Игнатова жеребца привела, а то черт его знает в кого... Ну, куда я с ним денусь?

В темноватой тишине конюшни хрустит зерно, в дверную щель точит золотистую россыпь солнечный кривой луч. Свет падает на левую щеку Трофима, рыжий ус его и щетина бороды отливают краснино́ю, складки вокруг рта темнеют изогнутыми бороздами. Жеребенок на тонких пушистых ножках стоит, как игрушечный деревянный конек.

– Убить его? – Большой, пропитанный табачной зеленью палец Трофима кривится в сторону жеребенка.

Кобыла выворачивает кровянистое глазное яблоко, моргает и насмешливо косится на хозяина.

* * *

В горнице, где помещался командир эскадрона, в этот вечер происходил следующий разговор:

– Примечаю я, что бережется моя кобыла, рысью не перебежит, намётом – не моги, опышка ее душит. Доглядел, а она, оказывается, сжерёбанная... Так уж береглась, так береглась... Жеребчик-то масти гнедоватой... Вот... – рассказывает Трофим.

Эскадронный сжимает в кулаке медную кружку с чаем, сжимает так, как эфес палаша перед атакой, и сонными глазами глядит на лампу. Над желтеньким светлячком огня беснуются пушистые бабочки, в окно налетают, жгутся о стекло, на смену одним – другие.

– ...безразлично. Гнедой или вороной – все равно. Пристрелить. С жеребенком мы навродь цыганев будем.

– Что? Вот и я говорю, как цыгане. А ежели командующий, что тогда? Приедет осмотреть полк, а он будет перед фронтом солонцевать и хвостом этак... А? На всю Красную Армию стыд и позор. Я даже не понимаю, Трофим, как ты мог допустить? В

разгар гражданской войны и вдруг подобное распутство... Это даже совестно. Коноводам строгий приказ: жеребцов соблюдать отдельно.

Утром Трофим вышел из хаты с винтовкой. Солнце еще не всходило. На траве розовела роса. Луг, истоптанный сапогами пехоты, изрытый окопами, напоминал заплаканное, измятое горем лицо девушки. Около полевой кухни возились кашевары. На крыльце сидел эскадронный в сопревшей от давнишнего пота исподней рубахе. Пальцы, привыкшие к бодрящему холодку револьверной рукоятки, неуклюже вспоминали забытое, родное — плели фасонистый половник для вареников. Трофим, проходя мимо, поинтересовался:

— Поло́вничек плетёте?

Эскадронный увязал ручку тоненькой хворостинкой, процедил сквозь зубы:

— А вот баба — хозяйка — просит... Сплети да сплети. Когда-то мастер был, а теперь не того... не удался.

— Нет, подходяще,— похвалил Трофим.

Эскадронный смел с колен обрезки хвороста, спросил:

— Идешь жеребенка ликвидировать?

Трофим молча махнул рукой и прошел в конюшню.

Эскадронный, склонив голову, ждал выстрела. Прошла минута, другая — выстрела не было. Трофим вывернулся из-за угла конюшни, как видно чем-то смущенный.

— Ну, что?

— Должно, боёк спортился... Пистон не пробивает.

— А ну, дай винтовку.

Трофим нехотя подал. Двинув затвором, эскадронный прищурился.

— Да тут патрон нету!..

— Не могёт быть!.. — с жаром воскликнул Трофим.

— Я тебе говорю, нет.

— Так я ж их кинул там... за конюшней...

Эскадронный положил рядом винтовку и долго вертел в руках новенький половник. Свежий хворост был медвяно пахуч и липок, в нос ширяло запахом цветущего краснотала, землей попахивало, трудом, позабытым в неуемном пожаре войны...

— Слушай!.. Черт с ним! Пущай при матке живет. Временно и так далее. Кончится война — на нем еще того... пахать. А командующий, на случай чего, войдет в его положение, потому что

молокан и должен сосать... И командующий титьку сосал, и мы сосали, раз обычай такой, ну и шабаш! А боёк у твово винта справный.

* * *

Как-то, через месяц, под станицей Усть-Хопёрской, эскадрон Трофима ввязался в бой с казачьей сотней. Перестрелка началась перед сумерками. Смеркалось, когда пошли в атаку. На полпути Трофим безнадежно отстал от своего взвода. Ни плеть, ни удила, до крови раздиравшие губы, не могли понудить кобылу идти намётом. Высоко задирая голову, хрипло ржала она и топталась на одном месте до тех пор, пока жеребенок, разлопушив хвост, не догнал ее. Трофим прыгнул с седла, пихнул в ножны шашку и с перекошенным злобой лицом рванул с плеча винтовку. Правый фланг смешался с белыми. Возле яра из стороны в сторону, как под ветром, колыхалась куча людей. Рубились молча. Под копытами коней глухо гудела земля. Трофим на секунду глянул туда и схватил на мушку выточенную голову жеребенка. Рука ли дрогнула сгоряча, или виною промаха была еще какая-нибудь причина, но после выстрела жеребенок дурашливо взбрыкнул ногами, тоненько заржал и, выбрасывая из-под копыт седые комочки пыли, описал круг и стал поодаль! Обойму не простых патронов, а бронебойных – с красномедными носами – выпустил Трофим в рыжего чертенка и, убедившись в том, что бронебойные пули (случайно попавшие из подсумка под руку) не причинили ни вреда, ни смерти потомку рыжей кобылы, вскочил на нее и, чудовищно ругаясь, трюпком поехал туда, где бородатые краснорожие староверы теснили эскадронного с тремя красноармейцами, прижимая их к яру.

В эту ночь эскадрон ночевал в степи возле неглубокого буерака. Курили мало. Лошадей не расседлывали. Разъезд, вернувшийся от Дона, сообщил, что к переправе стянуты крупные силы противника.

Трофим, укутав босые ноги в полы резинового плаща, лежал, вспоминая сквозь дрему события минувшего дня. Плыли перед глазами: эскадронный, прыгающий в яр, щербатый старовер, крестящий шашкой политкома, в прах изрубленный москлявенький казачок, чье-то седло, облитое черной кровью, жеребенок...

Перед светом подошел к Трофиму эскадронный, в потемках присел рядом.

– Спишь, Трофим?

— Дремаю.

Эскадронный, поглядывая на меркнувшие звезды, сказал:

— Жеребца своего сничтожь! Наводит панику в бою... Гляну на него, и рука дрожит... рубить не могу. А все через то, что вид у него домашний, а на войне подобное не полагается... Сердце из камня обращается в мочалку... И, между прочим, не стоптали поганца в атаке, промеж ног крутился... — Помолчав, он мечтательно улыбнулся, но Трофим не видел этой улыбки.— Понимаешь, Трофим, хвост у него, ну, то есть... положит на спину, взбрыкивает, а хвост, как у лисы... Замечательный хвост!..

Трофим промолчал. Накрыл шинелью голову и, подрагивая от росной сырости, уснул с диковинной быстротой.

* * *

Против старого монастыря Дон, притиснутый к горе, мчится с бесшабашной стремительностью. На повороте вода кучерявится завитушками, и зеленые гривастые волны с наскока поталкивают меловые глыбы, рассыпанные у воды вешним обвалом.

Если б казаки не заняли колена, где течение слабее, а Дон шире и миролюбивей, и не начали оттуда обстрела предгорья, эскадронный никогда не решился бы переправлять эскадрон вплавь против монастыря.

В полдень переправа началась. Небольшая комяга[1] подняла одну пулеметную тачанку[2] с прислугой и тройку лошадей. Левая пристяжная, не видавшая воды, испугалась, когда на средине Дона комяга круто повернула против течения и слегка накренилась набок. Под горой, где спешенный эскадрон расседлывал лошадей, отчетливо слышно было, как тревожно она храпела и стучала подковами по деревянному настилу комяги.

— Загубит лодку! — хмурясь, буркнул Трофим и не донес руку до потной спины кобылы: на комяге пристяжная дико всхрапнула, пятясь к дышлу тачанки, стала в дыбки.

— Стреляй!.. — заревел эскадронный, комкая плеть.

Трофим увидел, как наводчик повис на шее пристяжной, сунул ей в ухо наган. Детской хлопушкой стукнул выстрел, коренник и правая пристяжная плотней прижались друг к дружке. Пулеметчики, опасаясь за комягу, придавили убитую лошадь к за-

---

[1] *Комя́га* — на Дону так называют обычно лодку-долблёнку (выдолбленную из цельного дерева).

[2] *Тача́нка* — четырехколесная повозка для пулемета, которую везли лошади.

дку тачанки. Передние ноги ее медленно согнулись, голова повисла...

Минут через десять эскадронный заехал с косы и первый пустил своего буланого в воду, за ним следом с грохочущим плеском ввалился эскадрон — сто восемь полуголых всадников, столько же разномастных лошадей. Сёдла перевозили на трех каюках. Одним из них правил Трофим, поручив кобылу взводному Нечепуренко. С середины Дона видел Трофим, как передние лошади, забредая по колено, нехотя глотали воду. Всадники понукали их вполголоса. Через минуту в двадцати саженях от берега густо зачернели в воде лошадиные головы, послышалось многоголосое фырканье. Рядом с лошадьми, держась за гривы, подвязав к винтовкам одежду и подсумки, плыли красноармейцы.

Кинув в лодку весло, Трофим поднялся во весь рост и, жмурясь от солнца, жадно искал глазами в куче плывущих рыжую голову своей кобылы. Эскадрон похож был на ватагу диких гусей, рассыпанную по небу выстрелами охотников: впереди, высоко поднимая глянцевитую спину, плыл буланый эскадронного, у самого хвоста его белыми пятнышками серебрились уши коня, принадлежавшего когда-то политкому, сзади плыли темной кучей, а дальше всех, с каждой секундой отставая все больше и больше, виднелись чубатая голова взводного Нечепуренко и по левую руку от него острые уши Трофимовой кобылы. Напрягая зрение, Трофим увидал и жеребенка. Плыл он толчками, то высоко выбрасываясь из воды, то окунаясь так, что едва виднелись ноздри.

И вот тут-то ветер, плеснувшийся над Доном, донес до Трофима тонкое, как нитка паутины, призывное ржанье: и-и-и-го-го-го!..

Крик над водой был звонок и отточен, как жало шашки. Полоснул он Трофима по сердцу, и чудно́е сделалось с человеком: пять лет войны сломал, сколько раз смерть по-девичьи засматривала ему в глаза, и хоть бы что, а тут побелел под красной щетиной бороды, побелел до пепельной синевы — и, ухватив весло, направил лодку против течения, туда, где в коловерти кружился обессилевший жеребенок, а саженях в десяти от него Нечепуренко силился и не мог повернуть матку, плывшую к коловерти с хриплым ржаньем. Друг Трофима, Стешка Ефремов, сидевший в лодке на куче седел, крикнул строго:

– Не дури! Правь к берегу! Видишь, вон они, казаки!..

– Убью! – выдохнул Трофим и потянул за ремень винтовку.

Жеребенка течением снесло далеко от места, где переправлялся эскадрон. Небольшая коловерть плавно кружила его, облизывая зелеными гребенчатыми волнами. Трофим судорожно махал веслом, лодка двигалась скачками. На правом берегу из яра выскочили казаки. Забарабанила басовитая дробь «максима»[1]. Чмокаясь в воду, шипели пули. Офицер в изорванной парусиновой рубахе что-то кричал, размахивая наганом.

Жеребенок ржал все реже, глуше и тоньше был короткий режущий крик. И крик этот до холодного ужаса был похож на крик ребенка. Нечепуренко, бросив кобылу, легко поплыл к левому берегу. Подрагивая, Трофим схватил винтовку, выстрелил, целясь ниже головки, засосанной коловертью, рванул с ног сапоги и с глухим мычанием, вытягивая руки, плюхнулся в воду.

На правом берегу офицер в парусиновой рубахе гаркнул:

– Пре-кра-тить стрельбу!..

Через пять минут Трофим был возле жеребенка, левой рукой подхватил его под нахолодавший живот, захлебываясь, судорожно икая, двинулся к левому берегу... С правого берега не стукнул ни один выстрел.

Небо, лес, песок – все ярко-зеленое, призрачное... Последнее чудовищное усилие – и ноги Трофима скребут землю. Волоком вытянул на песок ослизлое тельце жеребенка, всхлипывая, блевал зеленой водой, шарил по песку руками... В лесу гудели голоса переплывших эскадронцев, где-то за косою дребезжали орудийные выстрелы. Рыжая кобыла стояла возле Трофима, отряхаясь и облизывая жеребенка. С обвислого хвоста ее падала, втыкаясь в песок, радужная струйка...

Качаясь, встал Трофим на ноги, прошел два шага по песку и, подпрыгнув, упал на бок. Словно горячий укол пронизал грудь; падая, услышал выстрел. Одинокий выстрел в спину – с правого берега. На правом берегу офицер в изорванной парусиновой рубахе равнодушно двинул затвором карабина, выбрасывая дымящуюся гильзу, а на песке, в двух шагах от жеребенка, корчился Трофим, и жесткие посиневшие губы, пять лет не целовавшие детей, улыбались и пенились кровью.

---

[1] *Макси́м* – пулемет, стреляющий патронами (назван по имени изобретателя).

Алексей Александрович Сурков

1899–1983

КОНАРМЕЙСКАЯ

По военной дороге
Шел в грозе и тревоге
Боевой восемнадцатый год.
Были сборы недолги,
От Кубани до Волги
Мы коней поднимали
в поход.

Среди зноя и пыли
Мы с Будённым[1] ходили
На рыся́х на большие дела
По курганам горбатым,
По речным перекатам
Наша громкая слава прошла.

На Дону и в Замостье
Тлеют белые кости,
Над костями шумят ветерки,
Помнят псы-атаманы,
Помнят польские паны
Конармейские наши клинки.

Если в край наш спокойный
Хлынут новые войны
Проливным пулеметным
дождем –
По дорогам знакомым
За любимым наркомом[2]
Мы коней боевых поведем!

Раздел III

Василий Иванович Лебедев-Кумач

1898–1949

* * *

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

---

[1] *Будённый* С. М. (1883–1973) – прославленный герой гражданской войны, Маршал СССР, трижды Герой Советского Союза.

[2] *Нарко́м* – сокращенное название *Народного комиссара*, члена правительства; так до Великой Отечественной войны называли министров.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идет война народная,
Священная война.

Как два различных полюса,
Во всем враждебны мы:
За свет и мир мы боремся,
Они — за царство тьмы.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идет война народная,
Священная война.

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идет война народная,
Священная война.

Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идет война народная,
Священная война.

Михаил Васильевич Исаковский

1900–1973

В ПРИФРОНТОВОМ ЛЕСУ

С берез, неслышен, невесом,
Слетает желтый лист.
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист.

Вздыхают, жалуясь, басы,
И, словно в забытьи,
Сидят и слушают бойцы –
Товарищи мои.

Под этот вальс весенним днем
Ходили мы на круг,
Под этот вальс в краю родном
Любили мы подруг;

Под этот вальс ловили мы
Очей любимых свет,
Под этот вальс грустили мы,
Когда подруги нет.

И вот он снова прозвучал
В лесу прифронтовом,
И каждый слушал и молчал
О чем-то дорогом;

И каждый думал о своей,
Припомнив ту весну,
И каждый знал – дорога к ней
Ведет через войну...

Так что ж, друзья, коль наш черед,–
Да будет сталь крепка!
Пусть наше сердце не замрет,
Не задрожит рука;

Пусть свет и радость прежних встреч
Нам светят в трудный час,
А коль придется в землю лечь,
Так это ж только раз.

Но пусть и смерть — в огне, в дыму —
Бойца не устрашит,
И что положено кому —
Пусть каждый совершит.

Настал черед, пришла пора,—
Идем, друзья, идем!
За всё, чем жили мы вчера,
За всё, что завтра ждем;

За тех, что вянут, словно лист,
За весь родимый край...
Сыграй другую, гармонист,
Походную сыграй!

Валентин Петрович Катаев

Родился в 1897 году

ФЛАГ

Несколько шиферных крыш виднелось в глубине острова. Над ними подымался узкий треугольник кирхи[1] с черным прямым крестом, врезанным в пасмурное небо.

Безлюдным казался каменистый берег. Море на сотни миль вокруг казалось пустынным. Но это было не так.

Иногда далеко в море показывался слабый силуэт военного корабля или транспорта. И в ту же минуту бесшумно и легко, как во сне, как в сказке, отходила в сторону одна из гранитных глыб, открывая пещеру. Снизу в пещере плавно поднимались три дальнобойных орудия. Они поднимались выше уровня моря, выдвигались вперед и останавливались. Три ствола чудовищной

[1] *Ки́рха* — протестантская, лютеранская церковь (в рассказе речь идет о прибалтийском побережье).

длины сами собой поворачивались, следуя за неприятельским кораблем, как за магнитом. На толстых стальных срезах, в концентрических желобах блестело тугое зеленое масло.

В казематах, выдолбленных глубоко в скале, помещался небольшой гарнизон форта[1] и все его хозяйство. В тесной нише, отделенной от кубрика фанерной перегородкой, жили начальник гарнизона форта и его комиссар.

Они сидели на койках, вделанных в стену. Их разделял столик. На столике горела электрическая лампочка. Она отражалась беглыми молниями в диске вентилятора. Сухой ветер шевелил ведомости. Карандашик катался по карте, разбитой на квадраты. Это была карта моря. Только что командиру доложили, что в квадрате номер восемь замечен вражеский эсминец[2]. Командир кивнул головой.

Простыни слепящего оранжевого огня вылетели из орудий. Три залпа подряд потрясли воду и камень. Воздух туго ударил в уши. С шумом чугунного шара, пущенного по мрамору, снаряды уходили один за другим вдаль. А через несколько мгновений эхо принесло по воде весть о том, что они разорвались.

Командир и комиссар молча смотрели друг на друга. Все было понятно без слов: остров со всех сторон обложен; коммуникации порваны; больше месяца горсточка храбрецов защищает осажденный форт от беспрерывных атак с моря и воздуха; бомбы с яростным постоянством бьют в скалы; торпедные катера и десантные шлюпки шныряют вокруг; враг хочет взять остров штурмом. Но гранитные скалы стоят непоколебимо; тогда враг отступает далеко в море; собравшись с силами и перестроившись, он снова бросается на штурм; он ищет слабое место и не находит его.

Но время шло.

Боеприпасов и продовольствия становилось все меньше. Погреба пустели. Часами командир и комиссар просиживали над ведомостями. Они комбинировали, сокращали. Они пытались оттянуть страшную минуту. Но развязка приближалась. И вот она наступила.

— Ну? — сказал наконец комиссар.

— Вот тебе и ну,— сказал командир.— Всё.

---

[1] *Форт* — крупное оборонительное сооружение, составная часть крепости.

[2] *Эсми́нец* — сокращенное название *миноносца*, входящего в состав *эскадры* — крупного соединения кораблей.

— Тогда пиши.

Командир не торопясь открыл вахтенный журнал, посмотрел на часы и записал аккуратным почерком: «20 октября. Сегодня с утра вели огонь из всех орудий. В 17 часов 45 минут произведен последний залп. Снарядов больше нет. Запас продовольствия на одни сутки».

Он закрыл журнал — эту толстую бухгалтерскую книгу, прошнурованную и скрепленную сургучной печатью,— подержал его некоторое время на ладони, как бы определяя его вес, и положил на полку.

— Такие-то дела, комиссар,— сказал он без улыбки.

В дверь постучали.

— Войдите.

Дежурный в глянцевитом плаще, с которого текла вода, вошел в комнату. Он положил на стол небольшой алюминиевый цилиндрик.

— Вымпел?

— Точно.

— Кем сброшен?

— Немецким истребителем.

Командир отвинтил крышку, засунул в цилиндр два пальца и вытащил бумагу, свернутую трубкой. Он прочитал ее и нахмурился. На пергаментном листке крупным, очень разборчивым почерком, зелеными ализариновыми чернилами было написано следующее:

«Господин коммандантий совецки флот и батареи. Вы есть окружени зо всех старон. Вы не имеете больше боевых припаси и продукты. Во избегания напрасни кровопролити предлагаю Вам капитулирование. Условия: весь гарнизон форта зовместно коммандантий и комадиры оставляют батареи форта полный сохранность и порядок и без оружия идут на площадь возле кирха — там сдаваться. Ровно 6.00 часов по среднеевропейски время на вершина кирхе должен есть быть иметь выставить бели флаг. За это я обещаю вам подарить жизнь. Противни случай смерть. Здавайтесь.

Командир немецки десант контр-адмирал

фон Эвершарп».

Командир протянул условия капитуляции комиссару. Комиссар прочел и сказал дежурному:

— Хорошо. Идите.

Дежурный вышел.

— Они хотят видеть флаг на кирхе,— сказал командир задумчиво.

— Да,— сказал комиссар.

— Они его увидят,— сказал командир, надевая шинель.— Большой флаг на кирхе. Как ты думаешь, комиссар, они заметят его? Надо, чтоб они его непременно заметили. Надо, чтоб он был как можно больше. Мы успеем?

— У нас есть время,— сказал комиссар, отыскивая фуражку.— Впереди ночь. Мы не опоздаем. Мы успеем его сшить. Ребята поработают. Он будет громадный. За это я тебе ручаюсь.

Они обнялись и поцеловались в губы, командир и комиссар. Они поцеловались крепко, по-мужски, чувствуя на губах грубый вкус обветренной, горькой кожи. Они поцеловались первый раз в жизни. Они торопились. Они знали, что времени для этого больше никогда не будет.

Комиссар вошел в кубрик и приподнял с тумбочки бюст Ленина. Он вытащил из-под него плюшевую малиновую салфетку. Затем он встал на табурет и снял со стены кумачовую полосу с лозунгом.

Всю ночь гарнизон форта шил флаг, громадный флаг, который едва помещался на полу кубрика. Его шили большими матросскими иголками и суровыми матросскими нитками из кусков самой разнообразной материи, из всего, что нашлось подходящего в матросских сундучках.

Незадолго до рассвета флаг размером по крайней мере в шесть простынь был готов.

Тогда моряки в последний раз побрились, надели чистые рубахи и один за другим, с автоматами на шее и карманами, набитыми патронами, стали выходить по трапу наверх.

На рассвете в каюту фон Эвершарпа постучался вахтенный начальник. Фон Эвершарп не спал. Он лежал одетый на койке. Он подошел к туалетному столу, посмотрел на себя в зеркало, вытер мешки под глазами одеколоном. Лишь после этого он разрешил вахтенному начальнику войти. Вахтенный начальник был взволнован. Он с трудом сдерживал дыханье, поднимая для приветствия руку.

— Флаг на кирхе? — отрывисто спросил фон Эвершарп, играя витой, слоновой кости, рукояткой кинжала.

— Так точно. Они сдаются.

— Хорошо,— сказал фон Эвершарп.— Вы принесли мне превосходную весть. Я вас не забуду. Отлично. Свистать всех наверх.

Через минуту он стоял, расставив ноги, на боевой рубке. Только что рассвело. Это был темный, ветреный рассвет поздней осени. В бинокль фон Эвершарп увидел на горизонте маленький гранитный остров. Он лежал среди серого, некрасивого моря. Угловатые волны с диким однообразием повторяли форму прибрежных скал. Море казалось высеченным из гранита.

Над силуэтом рыбачьего поселка подымался узкий треугольник кирхи с черным прямым крестом, врезанным в пасмурное небо. Большой флаг развевался на шпиле. В утренних сумерках он был совсем темный, почти черный.

— Бедняги,— сказал фон Эвершарп,— им, вероятно, пришлось отдать все свои простыни, чтобы сшить такой большой белый флаг. Ничего не поделаешь. Капитуляция имеет свои неудобства.

Он отдал приказ.

Флотилия десантных шлюпок и торпедных катеров направилась к острову. Остров вырастал, приближался. Теперь уже простым глазом можно было рассмотреть кучку моряков, стоявших на площади возле кирхи.

В этот миг показалось малиновое солнце. Оно повисло между небом и водой, верхним краем уйдя в длинную дымчатую тучу, а нижним касаясь зубчатого моря. Угрюмый свет озарил остров. Флаг на кирхе стал красным, как раскаленное железо.

— Черт возьми, это красиво,— сказал фон Эвершарп,— солнце хорошо подшутило над большевиками. Оно выкрасило белый флаг в красный цвет. Но сейчас мы опять заставим его побледнеть.

Ветер гнал крупную зыбь. Волны били в скалы. Отражая удары, скалы звенели, как бронза. Тонкий звон дрожал в воздухе, насыщенном водяной пылью. Волны отступали в море, обнажая мокрые валуны. Собравшись с силами и перестроившись, они снова бросались на приступ. Они искали слабое место. Они врывались в узкие, извилистые промоины. Они просачивались в глубокие трещины. Вода булькала, стеклянно журчала, шипела. И вдруг, со всего маху ударившись в незримую преграду, с пушечным выстрелом вылетала обратно, взрываясь целым гейзером кипящей розовой пыли.

Десантные шлюпки выбросились на берег. По грудь в пенистой воде, держа над головой автоматы, прыгая по валунам, скользя, падая и снова подымаясь, бежали немцы к форту. Вот они уже на скале. Вот они уже спускаются в открытые люки батарей.

Фон Эвершарп стоял, вцепившись пальцами в поручни боевой рубки. Он не отрывал глаз от берега. Он был восхищен. Его лицо подергивали судороги.

– Вперед, мальчики, вперед!

И вдруг подземный взрыв чудовищной силы потряс остров. Из люков полетели вверх окровавленные клочья одежды и человеческого тела. Скалы наползали одна на другую, раскалывались. Их корежило, поднимало на поверхность из глубины, из недр острова, и с поверхности спихивало в открывшиеся провалы, где грудами обожженного металла лежали механизмы взорванных орудий.

Морщина землетрясения прошла по острову.

– Они взрывают батареи! – крикнул фон Эвершарп. – Они нарушили условия капитуляции! Мерзавцы!

В эту минуту солнце медленно вошло в тучу. Туча поглотила его. Красный свет, мрачно озарявший остров и море, померк. Все вокруг стало монотонного гранитного цвета. Все, кроме флага на кирхе. Фон Эвершарп подумал, что он сходит с ума. Вопреки всем законам физики громадный флаг на кирхе продолжал оставаться красным. На сером фоне пейзажа его цвет стал еще интенсивней. Он резал глаза. Тогда фон Эвершарп понял все. Флаг никогда не был белым. Он всегда был красным. Он не мог быть иным. Фон Эвершарп забыл, с кем он воюет. Это не был оптический обман. Не солнце обмануло фон Эвершарпа. Он обманул себя сам.

Фон Эвершарп отдал новое приказание.

Эскадрильи бомбардировщиков, штурмовиков, истребителей поднялись в воздух. Торпедные катера, эсминцы и десантные шлюпки со всех сторон ринулись на остров. По мокрым скалам карабкались новые цепи десантников. Парашютисты падали на крыши рыбачьего поселка как тюльпаны. Взрывы рвали воздух в клочья.

И посреди этого ада, окопавшись под контрфорсами кирхи, тридцать советских моряков выставили свои автоматы и пулеметы на все четыре стороны света – на юг, на восток, на север и

на запад. Никто из них в этот страшный последний час не думал о жизни. Вопрос о жизни был решен. Они знали, что умрут. Но, умирая, они хотели уничтожить как можно больше врагов. В этом состояла боевая задача. И они выполнили ее до конца. Они стреляли точно и аккуратно. Ни один выстрел не пропал даром. Ни одна граната не была брошена зря. Сотни немецких трупов лежали на подступах к кирхе.

Но силы были слишком неравны.

Осыпаемые осколками кирпича и штукатурки, выбитыми разрывными пулями из стен кирхи, с лицами, черными от копоти, залитыми потом и кровью, затыкая раны ватой, вырванной из подкладки бушлатов, тридцать советских моряков падали один за другим, продолжая стрелять до последнего вздоха.

Над ними развевался громадный красный флаг, сшитый большими матросскими иголками и суровыми матросскими нитками из кусков самой разнообразной красной материи, из всего, что нашлось подходящего в матросских сундучках. Он был сшит из заветных шелковых платочков, из красных косынок, шерстяных малиновых шарфов, розовых кисетов, из пунцовых одеял, маек, даже трусов. Алый коленкоровый переплет первого тома «Истории гражданской войны» был также вшит в эту огненную мозаику.

На головокружительной высоте, среди движущихся туч, он развевался, струился, горел, как будто незримый великан-знаменосец стремительно нес его сквозь дым сражения вперед, к победе.

Алексей Иванович Фатьянов

1919–1959

СОЛОВЬИ

Пришла и к нам на фронт весна,
Солдатам стало не до сна –
Не потому, что пушки бьют,
А потому, что вновь поют,
Забыв, что здесь идут бои,
Поют шальные соловьи.

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят...

Но что война для соловья —
У соловья ведь жизнь своя.
Не спит солдат, припомнив дом
И сад зеленый над прудом,
Где соловьи всю ночь поют,
А в доме том солдата ждут.

Ведь завтра снова будет бой,
Уж так назначено судьбой,
Чтоб нам уйти, недолюбив,
От наших жен, от наших нив.
Но с каждым шагом в том бою
Нам ближе дом в родном краю.

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят,
Немного пусть поспят...

Владимир Карпович Железников

Родился в 1925 году

ХОРОШИМ ЛЮДЯМ — ДОБРОЕ УТРО

Сегодня у нас праздник. У нас с мамой всегда праздник, когда прилетает дядя Николай — старый друг моего отца. Они вместе учились когда-то еще в школе, сидели на одной парте и воевали против фашистов: летали на тяжелых бомбардировщиках.

Своего папу я ни разу не видел. Он был на фронте, когда я родился. Я его видел только на фотографиях. Они висели в нашей квартире. Одна, большая,— в столовой над диваном, на котором я спал. На ней папа был в военной форме, с погонами старшего лейтенанта. А две другие фотографии, совсем обыкновенные, гражданские, висели в маминой комнате. Папа там — мальчишка лет восемнадцати, но мама почему-то любила эти папины фотографии больше всего.

Папа часто снился мне по ночам. И, может быть, потому, что я его не знал, он был похож на дядю Николая.

Самолет дяди Николая прибывал в девять часов утра. Мне хотелось его встретить, но мама не разрешила, сказала, что с уроков уходить нельзя. А сама повязала на голову новый платок, чтобы ехать на аэродром. Это был необыкновенный платок. Дело не в материале. В материалах я мало разбираюсь. А в том, что на платке были нарисованы собаки разных пород: овчарки, мохнатые терьеры, шпицы, доги. Столько собак сразу можно увидеть только на выставке.

В центре платка красовался громадный бульдог. Пасть у него была раскрыта, и из нее почему-то вылетали нотные знаки. Музыкальный бульдог. Замечательный бульдог. Мама купила этот платок давно, но ни разу не надевала. А тут надела. Можно было подумать, что специально берегла к приезду дяди Николая. Завязала кончики платочка сзади на шее, они еле дотянулись, и сразу стала похожа на девчонку. Не знаю, как кому, а мне нравилось, что моя мама похожа на девчонку. Очень, по-моему, приятно, когда мама такая молодая. Она была самая молодая мама в нашем классе. А одна девочка из нашей школы, я сам слышал, просила свою маму, чтобы та сшила себе такое пальто, как у моей мамы. Смешно. Тем более что пальто у моей мамы старое. Даже не помню, когда она его шила. В этом году у него обтрепались рукава, и мама их подогнула. «Теперь модны короткие рукава»,– сказала она. А платочек ей очень шел. Он даже делал новым пальто. Вообще я на вещи не обращаю никакого внимания. Готов ходить десять лет в одной форме, только чтобы мама покрасивее одевалась. Мне нравилось, когда она покупала себе обновки.

На углу улицы мы разошлись в разные стороны. Мама заторопилась на аэродром, а я пошел в школу. Шагов через пять я оглянулся, и мама оглянулась. Мы всегда, когда расстаемся, пройдя немного, оглядываемся. Удивительно, но мы оглядываемся почти одновременно. Посмотрим друг на друга и идем дальше. А сегодня я оглянулся еще раз и издали увидел на самой маминой макушке бульдога. Ох, до чего он мне нравился, этот бульдог! Музыкальный бульдог. Я ему тут же придумал имя: «Джаз».

Я едва дождался конца занятий и помчался домой. Вытащил ключ, у нас с мамой отдельные ключи, и потихоньку открыл дверь.

— Поедем в Москву,— услыхал я громкий голос дяди Николая. — Мне дали новую квартиру. И Толе будет со мной лучше, и ты отдохнешь.

У меня гулко забилось сердце. Поехать в Москву вместе с дядей Николаем! Я давно тайно мечтал об этом. Поехать в Москву и жить там втроем, никогда не расставаясь: я, мама и дядя Николай. Пройтись с ним за руку на зависть всем мальчишкам, провожая его в очередной полет. А потом рассказывать, как он летает на пассажирском турбовинтовом лайнере «ИЛ-18». На высоте шести тысяч метров, выше облаков. Это ли не жизнь? Но мама ответила:

— Я еще не решила. Надо поговорить с Толей.

«Ох, боже мой, она еще не решила! — возмутился я.— Ну конечно, я согласен».

— Право, мне смешно. Что он так запал тебе в память? — Это дядя Николай заговорил о моем отце. Я уже хотел войти, но тут остановился.— Прошло столько лет. Ты и знала-то его всего полгода.

— Таких помнят вечно. Он был добрый, сильный и очень честный. Один раз мы с ним заплыли на Адалары, в Гурзуфской бухте. Влезли на скалу, и я уронила в море бусы. Он прыгнул в воду не раздумывая, а скала была высотой метров двадцать. Смелый.

— Ну, это просто мальчишество,— сказал дядя Николай.

— А он и был мальчишкой, и погиб мальчишкой. В двадцать три года.

— Ты его идеализируешь. Он был обыкновенный, как все мы. Кстати, любил прихвастнуть.

— Ты злой,— сказала мама.— Я даже не предполагала, что ты злой.

— Я говорю правду, и тебе это неприятно,— ответил дядя Николай.— Ты вот не знаешь, а он не погиб в самолете, как тебе писали. Он попал в плен.

— Почему ты раньше об этом не рассказал?

— Я сам недавно узнал. Нашли новые документы, фашистские. И там было написано, что советский летчик, старший лейтенант Нащоков, сдался в плен без сопротивления. А ты говоришь: смелый. Может быть, он оказался трусом.

— Замолчи! — крикнула мама.— Сейчас же замолчи! Ты не смеешь о нем так думать!

— Я не думаю, а предполагаю,— ответил дядя Николай. — Ну, успокойся, это ведь давно прошло и не имеет к нам никакого отношения...

— Имеет. Фашисты написали, а ты поверил? Раз ты так думаешь о нем, тебе нечего приходить к нам. Ты нас с Толей не поймешь.

Мне надо было войти и выгнать дядю Николая за его слова о папе. Мне надо было войти и сказать ему что-нибудь такое, чтобы он выкатился из нашей квартиры. Но я не смог, я боялся, что, когда увижу маму и его, просто разревусь от обиды. Раньше, чем дядя Николай успел ответить маме, я выбежал из дома.

На улице было тепло. Начиналась весна. Около подъезда стояли знакомые ребята, но я отвернулся от них. Я больше всего боялся, что они видели дядю Николая и начнут меня расспрашивать о нем. Я ходил, ходил и все думал про дядю Николая и никак не мог додуматься, зачем он так плохо сказал о папе. Ведь он знал, что мы с мамой любим папу. Наконец я вернулся домой. Мама сидела за столом и царапала ногтем скатерть.

Я не знал, что мне делать, и взял в руки мамин платок. Стал его рассматривать. На самом уголке был нарисован маленький ушастый песик. Не породистый, обыкновенный дворняга. И красок художник для него пожалел: он был серенький с черными пятнами. Песик положил морду на лапы и закрыл глаза. Печальный песик, не то что бульдог Джаз. Мне его стало жалко, и я решил ему тоже придумать имя. Я назвал его Подкидышем. Не знаю почему, но мне показалось, что это имя ему подходит. Он на этом платке был какой-то случайный и одинокий.

— Знаешь, Толя, уедем в Гурзуф.— Мама заплакала.— На Черное море. Дед давно ждет нас.

— Хорошо, мама,— ответил я.— Уедем, только ты не плачь.

Прошло недели две. Как-то утром я открыл глаза, а над моим диваном на стене, где висел папин портрет в военной форме,— пусто. От него осталось только квадратное темное пятно. Я испугался: «Вдруг мама поверила дяде Николаю и поэтому сняла папин портрет? Вдруг поверила?» Вскочил, побежал в ее комнату. На столе стоял открытый чемодан. А в нем были аккуратно уложены папины фотографии и его старая лётная фуражка, которая сохранилась у нас от довоенного времени. Мама собирала вещи в дорогу. Мне очень хотелось поехать в

Гурзуф, но почему-то стало обидно, что на стене вместо папиной фотографии – темное пятно. Грустно как-то, и всё.

И тут ко мне пришел мой лучший друг Лешка. Он был самый маленький в нашем классе, а сидел на высокой парте. Из-за нее виднелась только Лешкина голова. Он сам себя поэтому прозвал: «голова профессора Доуэля»[1].

Но у Лешки была одна слабость – он болтал на уроках. И учительница часто делала ему замечания. Однажды на уроке она сказала: «У нас есть девочки, которые очень много внимания уделяют своим прическам». Мы повернулись в сторону Лешкиной парты,– знали, что учительница намекает на его соседку. А он встал и говорит: «Наконец это, кажется, ко мне не относится». Глупо, конечно, и совсем не остроумно. Но получилось ужасно смешно. После этого я просто влюбился в Лешку. Многие над ним смеялись, что он маленький и голос у него тоненький, девчачий. А я нет.

Лешка протянул мне письмо.

– Перехватил у почтальона,– сказал он.– А то ключ доставать да лезть в почтовый ящик.

Письмо было от дяди Николая. Я совсем расквасился. Сам не заметил, как у меня слезы выступили на глазах. Лешка растерялся. Я никогда не плакал, даже когда схватился за горячий утюг и сильно обжег руку. Лешка пристал ко мне, и я все ему рассказал.

– Про твоего папку – это сущая ерунда. Столько орденов получил за храбрость – и вдруг струсил. Ерунда. А на этого Николая наплюй! Был и нет. И всё. Зачем он вам?

«Нет, этого даже Лешка понять не может. У него есть отец, а у меня его никогда не было. А дядя Николай так мне раньше нравился,– подумал я.– Был и нет. И всё. Веселый Лешка!»

Вечером я отдал письмо маме. Она взяла новый конверт, запечатала туда невскрытое письмо дяди Николая и сказала:

– Скорей бы кончались занятия в школе. Поедем в Гурзуф, и ты будешь бродить по тем самым местам, где бродили мы с папой.

От Симферополя до Алушты мы ехали автобусом. В автобусе маму сильно укачало, и мы пересели на теплоход.

---

[1] *«Голова профессора Доуэля»* – фантастический роман известного советского писателя А. Р. Беляева (1884–1942).

Теплоход ходил рейсом от Алушты до Ялты, через Гурзуф. Мы сели на носу и стали ждать отправления. Мимо прошел широкоплечий краснолицый моряк в темных очках, посмотрел на маму и сказал:

– Вас здесь зальет водой.

– Ничего,– ответила мама. Она вытащила из сумки платочек и повязала голову.

Моряк поднялся в рубку. Он был капитаном. И теплоход отчалил.

Из Гурзуфской бухты дул сильный ветер и поднимал волну. А нос теплохода разбивал волну, но брызги крупными каплями падали на нас. Несколько капель упало на мамин платок. На том месте, где стоял бульдог Джаз, появилось большое пятно. Мое лицо тоже было мокрым. Я облизнул губы и закашлял от соленой морской воды.

Все пассажиры ушли на корму, а мы с мамой остались на прежних местах. Наконец теплоход причалил, и я увидел деда – маминого папу. Он был в парусиновой куртке и матросской тельняшке. Когда-то дед плавал корабельным коком, а теперь он работал поваром в городской чебуречной. Делал чебуреки и пельмени.

Теплоход ударился о деревянный помост, матрос укрепил причальный трос.

Капитан высунулся в окошко:

– Привет коку! В Ялту собрался?

– Привет, капитан! Дочь встречаю,– ответил дед и заспешил к нам навстречу.

А мама, как увидела деда, бросилась к нему и вдруг заплакала.

Я отвернулся. Капитан снял темные очки, и лицо у него стало обыкновенным.

– Слушай, братишка, надолго вы сюда?

Я сначала не понял, что он обращается ко мне, а потом догадался. Рядом никого не было.

– Мы,– говорю,– насовсем.

– А... – Капитан понимающе покачал головой.

Я проснулся от незнакомого запаха. Я спал во дворе под персиковым деревом. Это оно так незнакомо пахло. На скамейке сидела мама. Она была одета так же, как вчера. И поэтому мне

показалось, что мы все еще в дороге, все еще не приехали. Но мы приехали... Просто мама не ложилась спать.

— Мама,— спросил я,— что мы будем делать?

— Не знаю,— ответила мама.— А в общем, знаю. Завтракать.

Скрипнула калитка, и во двор вошла маленькая полная женщина в домашнем халате.

— Здравствуйте,— сказала она,— с приездом. Я ваша соседка, Волохина Мария Семеновна. Уж как ждал вас старик! Уж как ждал! Все говорил: у меня дочь красавица.— Соседка как-то непонятно замурлыкала.— Я-то думала, всем отцам их дочери кажутся красавицами. А теперь вижу, что не хвастал...

— Добрый день,— перебила ее мама.— Присаживайтесь.

— Мария!— раздался мужской голос из-за забора.— Я ухожу на работу!

— Подождешь! — грубо ответила женщина и снова повернулась к маме.— Мой, все ему некогда. Такая красотка, и без муженька,— продолжала соседка.— Ну, здесь вы не пропадете. На курортах мужчины ласковые.

— Перестаньте,— сказала мама и посмотрела в мою сторону.

— Мария! — снова раздалось из-за забора.

Соседка убежала. А мы с мамой позавтракали и пошли гулять по городу. Людей на узких гурзуфских улицах было мало. Местные работали, а отдыхающие сидели у моря. Была очень сильная жара. Асфальт перегрелся и прогибался под ногами, как подушка. Но мы с мамой ходили и ходили. Я молчал, и мама молчала. Мне казалось, что мама хочет замучить себя и меня. Наконец мы спустились к морю.

— Можешь выкупаться,— сказала мама.

— А ты?

— Я не буду.

Море было теплым и тихим. Я плыл долго и все ждал, когда мама крикнет, чтобы я возвращался. Но мама не кричала, а я уже устал. Тогда я оглянулся. Мама сидела, как-то неловко поджав под себя ноги. Я подумал, что мама похожа на раненую птицу. Один раз я нашел на озере утку с перебитым крылом, она так же как-то неловко сидела.

Я поплыл назад. Вылез на берег. От напряжения у меня дрожали ноги и в ушах сильно стучало. Лег животом на горячие камни и опустил голову на руки. Совсем рядом зашуршали камни, кто-то прошел чуть ли не по моей голове и остановился.

Я приоткрыл глаза и увидал ноги в исцарапанных и сбитых от постоянного хождения по камням сандалиях. Я поднял голову: за маминой спиной стояла маленькая девочка и рассматривала собак на платке. Когда она заметила, что я уставился на нее, то отвернулась от собак.

— Тебя как зовут? — спросил я.

— Сойка,— ответила девочка.

— Сойка? — удивился я. — Это птичье имя. А может быть, ты лесная птица из породы воробьиных?

— Нет. Я девочка. Я живу на Крымской улице, дом четыре.

«Ну, Сойка так Сойка,— подумал я. — Мало ли каких имен не придумывают родители для своих детей! У нас, например, в классе учился мальчик, которого звали Трамвай. Его отец был первым вагоновожатым на первой трамвайной линии, проложенной в городе. Это было, можно сказать, историческое событие. В честь этого он дал своему сыну имя Трамвай. Не знаю, как они называли его дома: Трамвайчик, или Трамчик, или Трамваюшко? Язык сломаешь. Комедия. А Сойкин отец, вероятно, охотник».

— Сойка,— спросил я,— твой отец охотник?

— Нет. Он рыбак. Бригадир.

Мама повернулась, посмотрела на Сойку и сказала:

— Ее зовут не Сойка, а Зойка. Правда?— Девочка кивнула. — Просто она еще маленькая и не выговаривает букву «з».

— До свидания, Зойка,— сказала мама.

— До свидания, Сойка,— сказал я. Теперь мне больше нравилось имя «Сойка». Смешное имя и какое-то ласковое.

Деда дома не оказалось. Он пришел значительно позже, когда на соседнем дворе уже раздавались голоса курортников. Наша соседка сдавала внаём комнаты приезжим.

Дед пришел веселый. Он похлопал меня по плечу и сказал:

— Ну вот что, Катюша (это так зовут мою маму), завтра пойдешь наниматься на работу. Я уже договорился. В санаторий, по специальности, медицинской сестрой.

— Вот это хорошо!— сказала мама.

И вдруг дед вскипел. Он даже закричал на маму:

— Долго ты будешь в прятки со мной играть? Что у тебя случилось?

Мама рассказала деду про дядю Николая и про то, что́ он говорил о папе.

— Все это твои придирки к Николаю. Он хороший парень.

— Он был бы плохим отцом для Толи,— упрямо сказала мама.

— Толя, Толя! Семь пядей во лбу. Толя первое время мог бы пожить у меня.

— Я не останусь без мамы,— сказал я. — И она тоже никуда не поедет. Я не люблю дядю Николая.

— А ты-то что? Ты даже не знал своего отца. Николай его обидел? А если Николай прав, если он до сих пор где-нибудь живет там, в чужой стране?

Дед сказал страшное. «Папа живет там, в чужой стране? — подумал я. — Значит, он просто предатель».

— Этого не может быть,— сказал я.

— Много ты понимаешь в людях!— ответил дед.

— Отец, сейчас же замолчи!— закричала мама. — Подумай, что ты говоришь?..

Последних слов ее я уже не слышал. Я выскочил из дому и побежал по темным улицам Гурзуфа.

— Толя, Толя!.. — послышался голос мамы. — Вернись!.. Толя-я!..

Я решил тут же уехать от деда, раз он мне такое сказал. Он, видно, меня ненавидит, потому что я как две капли воды похож на своего отца. И мама из-за этого никогда не сможет забыть про папу. У меня не было ни копейки денег, но я прибежал на пристань. Там стоял тот самый теплоход, на котором мы приехали в Гурзуф. Я подошел к капитану и спросил:

— На Алушту?

— На Алушту!

Я думал, что капитан меня узнáет, но он меня не узнал. Я немного прошелся по причалу и снова подошел к капитану:

— Товарищ капитан, вы меня не узнали? Мы вчера приехали с мамой на вашем теплоходе.

Капитан внимательно посмотрел на меня.

— Узнал. А ты куда один так поздно?

— Надо в Алушту, срочно. А денег у меня нет, не успел у мамы захватить. Пропустите без билета, а я потом вам отдам.

— Ладно, садись,— сказал капитан. — Довезу.

Я проскочил на теплоход, пока капитан не передумал, и уселся на последней скамейке, в углу.

Теплоход отчалил, качаясь на волнах. За бортом мелькали

береговые огоньки. Они всё больше и больше удалялись, а впереди было черное ночное море. Оно шумело за бортом, обдавало меня холодными брызгами.

Ко мне подошел матрос и сказал:

– Эй, паренек, тебя капитан зовет в рубку.

Я встал и пошел. Идти было трудно: сильно качало и палуба уходила из-под ног.

Капитан стоял за рулем и смотрел в темноту. Не знаю, что он там видел. Но он смотрел пристально и изредка крутил колесо то в одну, то в другую сторону. Над ним горела тусклая электрическая лампочка, и такие же лампочки горели на носу и на корме теплохода. Наконец капитан оглянулся:

– Ну, что там у тебя стряслось?

Я промолчал. Мне нечего было говорить этому чужому человеку. Но он ко мне пристал, и я в конце концов сказал:

– С дедом поругался...

– Так,– сказал капитан и снова уставился в темноту.

Я начал говорить, что уезжаю к своему приятелю Лешке и там как-нибудь устроюсь, но тут наш теплоход загудел и заглушил все мои слова.

– Так,– снова сказал капитан,– а как же мама? Ох, эти гордые сыновья, они всегда думают только о своей персоне, а что бы им подумать о маме?

– Маму жалко,– ответил я.

– А деда не жалко? Старик погорячился, а ты сразу в амбицию.

Я не стал отвечать капитану – ведь он ничего не знал...

– А твой дед – славный человек. Чебуреки делает – пальчики оближешь.

– Это не самое главное. – Я со злостью отвернулся.

Навстречу нам шел катер. Он тоже в ответ загудел. Катер был маленький, его почти не было видно в ночном громадном море, только электрические лампочки, которые висели на нем, плыли, раскачиваясь на волнах.

– У него три сына на войне погибли,– сказал капитан. – Здесь, в Крыму, мы вместе воевали. Несколько дней были в бою. Устали и ночью легли поспать. А утром встать не можем, примерзли к земле. Поотрывались – и в бой. Они все трое так и погибли в этом бою... Холодно было воевать.

Капитан замолчал. Из-за шума волн и гула машины гово-

рить было трудно, приходилось все время кричать. Мы молчали до самой Алушты. Когда причалили, я повернулся и пошел. Медленно так. Вышел на пристань. Постоял. Потом появился капитан. Он мне сказал:

– Я на твоем месте вернулся бы назад. Нехорошо так. Завтра я к вам зайду и все улажу. Мы с твоим дедом старые друзья.

– Не могу я.

– А я все же на твоем месте вернулся бы назад. Мать сейчас, небось, по всему Гурзуфу бегает, тебя ищет. – Капитан закурил. – Привычка с войны. Никак не могу бросить курить. Ну, пошли в обратный рейс. – Капитан бросил папироску в море и тяжело прыгнул на палубу теплохода. А я следом за ним. Сел на свое старое место и просидел до самого Гурзуфа. Когда причалили, я услыхал голос деда:

– Костя, ты не видел, мой паренек не уезжал с тобой рейсом на Алушту?

Капитан промолчал.

Тогда я сказал:

– Здесь я! – и вышел на пристань.

Мама и дед уходили на работу рано, и я оставался один. Каждое утро я просыпался от одних и тех же слов:

– У-ух ты, зайчишка мой! У-ух ты, зайчишка какой!

Это наш сосед Волохин играл со своим маленьким сынишкой, пока его жена торговала персиками на базаре.

Но сегодня Волохин не играл с сыном, а отчаянно ругал свою жену. Я вышел на улицу. У Волохиных калитка была открыта, и по двору с ребенком на руках расхаживал Волохин – длинный белёсый мужчина. Он помахал мне рукой и заискивающе попросил:

– Моя ушла и пропала. А мне надо уходить. Посиди, пожалуйста, с зайчишкой.

Не успел я опомниться, как «зайчишка» оказался у меня на руках, а Волохина и след простыл.

Ребенок был толстый, лицо у него было как помидор. Я начал его трясти и раскачивать, но он не произносил ни звука. «Немой какой-то,– подумал я. – Ни разу не слышал его голоса». У меня устали руки, и я опустил «зайчишку» на землю. И вдруг он как заорет. Пришлось снова взять его на руки и продержать до прихода Волохиной.

— Мой длинный уже убежал? — спросила Волохина. — Дырявая галоша! Другие мужья с женами на базаре торгуют. А этому неудобно. Он физрук в санатории, и его могут узнать отдыхающие. Начальник!

Я выскользнул в калитку и направился к морю. Шел по набережной и стучал палкой о железную изгородь городского парка, в который никого из местных жителей не пускали. Там построили санаторий. И тут я увидел Волохина — он играл в теннис с толстым мужчиной.

Волохин заметил меня, подбежал к изгороди. Он вытер со лба пот рукой и сказал:

— Работаю. Восстанавливаю нормальный вес у больного. Ну как, моя ругалась?

— Ругалась.

— Жестокая женщина. — Он рассмеялся. — Но хозяйка первый сорт. Во всем у нее расчет. Давай заходи.

— Меня же не пропустят,— сказал я.

— Давай заходи. — Волохин тряхнул головой. — Я дам команду.

Я подошел к входу в парк.

— Ивановна, запомни этого паренька,— сказал Волохин контролерше. — Чтобы всегда, в любой час, его пропускали.

Весь день я проторчал в парке, подавал волейболистам мяч, играл с толстым курортником вместо Волохина в теннис. А вечером, когда вернулся домой, застал у нас Волохину. Она разговаривала с мамой.

— Народу в этом году приехала тьма. Ты почему, Катерина, не сдаешь комнаты? Лишние деньжонки не в тягость карману.

— У нас тесно,— ответила мама.

— Слушай, что я тебе скажу. — Волохина наклонилась к маме. — У меня отдыхающих уже много, в милиции больше не пропишут, а места еще есть. Ты давай оформляй их на свою площадь в милиции, а жить они будут у меня. Десять рублей тебе за это.

— Нет,— ответила мама. — Нам своих денег хватает.

— Даровые же деньги...

— Толя, ты ужинать будешь? — спросила мама.

— Да,— ответил я и посмотрел на Волохину.

— Ишь какие!— сказала она со злостью. — Разыгрывают из себя честных. А у самой-то муженек!.. Это всем известно.

Волохина хлопнула калиткой и ушла. Мы с мамой сидели

молча и про ужин забыли. А Волохина стояла у забора и громко разговаривала с какой-то отдыхающей про войну, про то, как ее муж честно воевал, а некоторые сдавались в плен.

На другой день, когда я проходил мимо парка, меня окликнул толстый курортник и позвал играть в теннис. У входа я наскочил на Волохина.

– А, сосед,– сказал Волохин. Он взял меня за плечо и подвел к контролерше. – Ивановна, чтоб больше этого паренька здесь не было. Ходят всякие посторонние... До свидания, дорогой! – И Волохин помахал рукой. – Привет маме!

Я не знал, что делать. Если бы я был взрослым, то подрался бы с Волохиным. Я взобрался на гору к развалинам старинной татарской крепости и просидел там целый день. Когда я возвращался домой, то увидел маму, а в нескольких шагах позади нее – дядю Костю. Я не стал их нагонять, а пошел следом.

Так мы шли друг за другом. Дядя Костя почему-то не догонял маму. А я не догонял ни маму, ни дядю Костю.

У калитки нашего дома прогуливался Волохин с ребенком на руках.

– А у этой женщины, зайчишка,– показал Волохин на мою маму,– муж бяка.

Мама ничего не ответила Волохину и прошла в калитку, а к нему подошел дядя Костя.

– Вот что, почтенный,– сказал дядя Костя,– если ты еще раз скажешь эти слова, я тебе... В общем, будешь иметь дело со мной!

– Но-но-но... – Волохин отступал к своей калитке. – Осторожнее! У меня ребенок на руках.

Я подошел вплотную к дяде Косте. Лицо его стало красным. Я подумал, что он сейчас ударит Волохина, но он тихо сказал:

– Великолепный негодяй. Прикрывается ребенком.

Мама ждала нас во дворе. Она сказала мне:

– Зря мы приехали в Гурзуф. Все у нас здесь не ладится.

– Да бросьте вы обращать внимание на всяких негодяев! – сказал дядя Костя.

А я подумал, что мама права. Жили бы мы на старом месте, там хоть Лешка был. Он верный друг.

Дядя Костя ушел. Мы с дедом сидели во дворе, когда почтальон принес письмо от Лешки. Я разорвал конверт. В нем, кроме маленькой Лешкиной записки, оказалось еще одно письмо, в бе-

лом конверте, с обратным адресом, написанным не по-русски. Скоро я разобрал, что оно было из Чехословакии. «Странно,– подумал я. – Маме письмо из Чехословакии». Я подержал его в руках, и неясная тревога вдруг овладела мной. Почему-то не хотелось бежать к маме с этим письмом. Но тут мама сама вышла во двор.

– Толя, ты не видел моего платка? – спросила мама. – Ах, как жалко, кажется, я его потеряла. Милый платочек. И память о нашем городе.

– Мама,– сказал я,– тебе письмо из Чехословакии. Леша переслал. Оно прибыло на наш старый адрес.

– Из Чехословакии? – удивилась мама и сразу забыла про платочек.

Дед поднял голову. Мама торопливо надорвала конверт, я видел – у нее дрожали руки, и вытащила письмо.

– Почерк Карпа,– сказала она. – Я не могу читать, дрожат руки и мелькает в глазах... Ничего не вижу...

– Толя, читай,– сказал дед.

Я взял из маминых рук письмо. Там было несколько пожелтевших тетрадочных страничек. А первым лежал новенький белый листок бумаги, исписанный крупными, ровными буквами.

Я начал читать:

«Дорогая соудружка Катерина Нащокова!

Пишет Вам письмо старый чех, дед Ионек. Точнее, пишет не дед, он не знает русского языка, а его внучек Зденек.

Слава богу, наконец-то я нашел вас. Теперь получу ответное письмо, и тогда я успокоюсь.

Пересылаю письмо вашего мужа, погибшего на чехословацкой земле. Я должен был давно отправить вам это письмо, но во время фашистской оккупации письмо у меня хранилось отдельно от конверта с адресом. И конверт пропал, когда фашисты сожгли мой дом. Несколько лет я узнавал вашу фамилию, ведь в письме ее не было. Я писал много писем в Советский Союз, но по одним именам – Карпишек (так мы звали вашего мужа) и Катерина – много ли узнаешь?

Наконец я разыскал одного чеха-партизана из отряда вашего мужа. Он жил в Высоких Татрах. Я поехал к нему. Он меня отправил к другому партизану, в Братиславу. В общем, я объездил десять человек. Все помнили русского, а фамилии его не знал никто. Командир партизанского отряда знал, но он погиб. Мой

сын знал, но он тоже погиб. А потом, когда узнали вашу фамилию, начали искать ваш адрес. На это понадобилось немало времени.

Дорогая соудружка Катерина!

Приезжайте к нам в гости. Берите сына и приезжайте. Здесь у нас в селе в каждом доме примут вас как родную. Приезжайте, будьте ласковы. До скорого свидания. Ваш Ионек Брейхал».

Я отложил письмо деда Ионека и посмотрел на папин почерк, на листки бумаги, пожелтевшие и высохшие. Они стали как крылья бабочек в коллекции или листья и трава в гербарии. И, не поднимая головы, я начал читать папино письмо:

«Дорогие Катя и Толя! Давно вы не получали моих писем, а это мое последнее письмо. Больше мне уже не придется ходить по земле. На рассвете я буду в руках гестаповцев. Но сначала по порядку.

Мы возвращались с боевого задания. Бомбили тылы врага. Летели мы в одиночку. Наш самолет получил повреждение и отстал от основной группы. Над Чехословакией самолет загорелся, и я приказал всем прыгать. Последним прыгнул сам.

В ту минуту, когда я приземлился и погасил парашют, меня окружили фашисты. Их было человек десять. Они обыскали меня, отняли пистолет и твое письмо. Документы в полеты мы не брали.

„Один?“ – спросил офицер.

Было раннее утро, только немного начинало сереть, и фашисты не могли рассмотреть, сколько человек сбросилось на парашютах. Видимо, они засекли одного меня.

„Один,– сказал я. – Остальные погибли. Там, там“. – Я показал на небо.

Офицер засмеялся. Он что-то приказал солдатам и побежал с ними к рощице, которая виднелась вдали.

Двое солдат отвезли меня на мотоцикле в город, в гестапо. Там я пробыл десять дней, а потом попал в концентрационный лагерь. Русских в лагере не было. Одни чехи.

После гестапо мне было трудно работать: болели руки и ноги. Но не пойти на работу было нельзя. Больных отправляли в госпиталь. А оттуда никто не возвращался. И я работал.

Из лагеря мне помогли бежать чешские товарищи. Они переправили меня в партизанский отряд.

Отряд был маленький, всего человек двадцать, и нам приходилось туго. И вот мы взорвали железнодорожный мост, который был очень нужен фашистам. Они через него возили нефть из Румынии в Германию.

На другой день фашисты приехали в село, расположенное поблизости от моста, пришли в местную школу и арестовали целый класс ребят — двадцать мальчиков и девочек. Это было „наше“ село. У нас там жили свои люди. Одним из таких был дед Ионек, отец партизана Франтишека Брейхала. Он нам и принес эту новость.

Фашисты дали срок три дня: если в течение трех дней не появится тот человек, который взорвал мост, дети будут расстреляны.

И тогда я решил идти к гестаповцам. Чехи меня не пускали, они сказали: „Дети наши, мы и пойдем“. Но я ответил, что если пойдет кто-нибудь из них, чехов, то фашисты из мести все равно могут расстрелять ребят. А если придет русский, то дети будут спасены. И я пошел с дедом Ионеком.

Теперь ночь, а утром я пойду к фашистам. Когда ты получишь это письмо, то расскажи всем, как я погиб. Главное, найди моих товарищей по полку, пусть обо мне вспомнят.

Все. Уже рассвет. А у меня еще много дел. Сейчас я передам и письмо и конверт деду Ионеку. Он все это сохранит и, когда придет время, отправит вам. Прощайте. Ваш Карп».

* * *

Весь вечер дед читал папино письмо. Потом он долго сморкался, теребил рукой колено и наконец сказал:

— Катенька, мне надо пройтись. Ты не возражаешь? — Он показал на папино письмо: — Я возьму его с собой.

Маме надо было идти в санаторий, чтобы сделать укол больному, и я пошел вместе с ней. Не хотелось оставаться одному. На обратном пути мы встретили Сойку, ту самую девочку, которая купалась со мной в первый день.

— У меня ваш платок. Одна тетя его нашла, а я ей сказала: «Я знаю, чей это платок».

Сойка протянула маме платок, та развернула его и посмотрела, в который раз, на эту собачью выставку.

— Я дарю его тебе,— сказала мама. — Он ведь совсем детский. Собаки.

Я посмотрел на маму и понял: она не хотела, чтобы этот платок возвращался к ней и о чем-то ей напоминал. Может быть, о дяде Николае. А мне все равно было жалко платок. И ведь не маленький я. А жалко. Привык к собакам. Но тут же я перевел глаза на Сойку. Что случилось с ее лицом, просто не передать. Какие у нее были испуганные, недоверчивые, настороженные глаза. Она не верила своему счастью. Ей эти собаки нравились, видно, еще больше, чем мне. У меня после этого всю мою жадность как рукой сняло.

– Эту собаку зовут Джаз,– сказал я. – А вот этого маленького песика – Подкидыш. Остальным ты сама придумай имена.

– До свидания. – Она торопилась побыстрее уйти. – Я их уже полюбила.

Мы молча дошли до дома. Я разделся и лег спать.

– Мне кажется, что он все время был жив,– сказал я,– а погиб только вчера.

– Спи, Толя. Пересчитай, сколько над нами звезд, и заснешь.

– А ты?

– Мне звезды уже не помогают. Я дождусь деда.

* * *

На следующее утро я встал рано и ушел на рыбалку. Я любил ловить рыбу. Правда, я был плохой рыбак, вечно зевал, когда начинался клев. Но я любил ловить рыбу. На море тихо. Солнце. И настроение то веселое, то грустное. Можно подумать о маме, о дяде Косте и о дедушке. Можно поговорить с папой. Так, про себя. А сегодня я придумал написать папе письмо. Пусть многим это покажется странным, а я все равно напишу. Мне так хотелось написать ему письмо, я ведь никогда ему не писал. Напишу и отправлю Лешке. Лешке можно, он поймет.

Тихо на море. Солнце искрится в воде. И никто тебе не мешает – что хочешь, то и придумывай. «Хорошо, что мы с дядей Костей любим море,– подумал я. – И хорошо, что есть такой дядя Костя». Но папе я тоже не могу изменить, и я придумал: буду морским летчиком.

Когда я возвращался, то увидал маму, она шла к пристани.

«В Ялту едет,– догадался я. – В горвоенкомат. Искать папиных товарищей».

Мама была в белом платье, которое давным-давно не надевала, и в белых туфлях на высоких каблуках.

У причала стоял теплоход дяди Кости. Мама поднялась на пирс, и ей навстречу вышел дядя Костя. Мне очень хотелось подойти к ним, но я почему-то не подошел. Я спрятался за будку билетной кассы и смотрел за ними. Я почти ничего не видел, только широкую спину дяди Кости в белом кителе.

Потом теплоход отчалил.

Я долго смотрел вслед теплоходу, пока он не превратился в маленькую белую точку, сверкающую на солнце.

На верхней набережной я встретил отряд артековцев[1]. Они шли строем. В белых рубашках с красными галстуками и в коротких синих трусах. Загорелые. У них был настоящий крымский загар — светло-коричневый. Такого загара нигде не встретишь.

Когда артековцы появлялись на улицах Гурзуфа, прохожие останавливались и смотрели на них. И сейчас все остановились, и я тоже остановился. А вожатый артековцев скомандовал, и они громко крикнули: «Всем-всем — доброе утро!»

Мне очень нравилось, что они так кричали.

После встречи с артековцами настроение у меня стало совсем хорошее. Спокойное такое и чуть-чуть грустное, но хорошее.

Анна Андреевна Ахматова

1889—1966

* * *

Прошло пять лет,— и залечила раны,
Жестокой нанесенные войной,
Страна моя, и русские поляны
Опять полны студёной тишиной.

И маяки сквозь мрак приморской ночи,
Путь указуя моряку, горят.
На их огонь, как в дружеские очи,
Далёко с моря моряки глядят.

---

[1] *Арте́к* — Всесоюзный пионерский лагерь, расположенный в Гурзуфе, на берегу Черного моря.

Где танк гремел — там ныне мирный трактор,
Где выл пожар — благоухает сад,
И по изрытому когда-то тракту
Автомобили легкие летят.

Где елей искалеченные руки
Взывали к мщенью — зеленеет ель,
И там, где сердце ныло от разлуки,—
Там мать поет, качая колыбель.

Ты стала вновь могучей и свободной,
Страна моя! Но живы навсегда
В сокровищнице памяти народной
Войной испепелённые года.

Для мирной жизни юных поколений,
От Каспия и до полярных льдов,
Как памятники выжженных селений,
Встают громады новых городов.

Евгений Александрович Евтушенко

Родился в 1933 году

АРМИЯ

В палате выключили радио,
и кто-то гладил мне вихор...
В зиминском госпитале
раненым
давал концерт наш детский хор.
Уже начать нам знаки делали.
Двумя рядами у стены
стояли мальчики и девочки
перед героями войны.
Они,
родные,
некрасивые,
с большими впадинами глаз,

и сами тихие,
несильные,
смотрели с жалостью на нас.
В тылу измученные битвами,
худы,
замо́рены,
бледны,
в своих пальтишках драных
были мы
для них героями войны.
О взгляды долгие, подробные!
О сострадание сестер!
Но вот:
«Вставай, страна огромная!» —
запел, запел наш детский хор.
И вот запел хохол из Винницы.
Халат был в пятнах киселя,
и войлок сквозь клеенку выбился
на черном ложе костыля.
Запел бурят на подоконнике,
запел сапер из Костромы.
Солдаты пели, словно школьники,
и, как солдаты,
пели мы.
Все пели праведно и доблестно —
и няня в стареньком платке,
и в сапогах кирзовых докторша,
забывши градусник в руке.
Вошли смущенно шефы-грузчики
и, встав тихонько за кровать,
большие,
гордые
и грустные,
сняв шапки,
стали подпевать.
Разрывы слышались нам дальние,
и было свято и светло...
Вот это все и было —
Армия.
Все это Родину спасло.

ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ?

Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
Над ширью пашен и полей
и у берез и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
что под березами лежат,
и пусть вам скажут их
сыны,
хотят ли русские войны.
Не только за свою страну
солдаты гибли в ту войну,
а чтобы люди всей земли
спокойно ночью спать могли.

Под шелест листьев и афиш
ты спишь, Нью-Йорк, ты
спишь, Париж.
Пусть вам ответят ваши сны,
хотят ли русские войны.
Да, мы умеем воевать,
но не хотим, чтобы опять
солдаты падали в бою
на землю грустную свою.
Спросите вы у матерей.
Спросите у жены моей.
И вы тогда понять должны,
хотят ли русские войны.

Раздел IV

Сергей Александрович Есенин

1895–1925

* * *

Разгулялась вьюга,
Наклонились ели
До земли. С испуга
Ставни заскрипели.

И в окно снежинки
Мотыльками бьются,
Тают, и слезинки
Вниз по стеклам льются.

Жалобу кому-то
Ветер шлет на что-то
И бушует люто:
Не услышал кто-то.

А снежинок стая
Всё в окно стучится
И слезами, тая,
По стеклу струится.

ЧЕРЕМУХА

Черемуха душистая
С весною расцвела
И ветки золотистые,
Что кудри, завила.

Кругом роса медвяная
Сползает по коре,
Под нею зелень пряная
Сияет в серебре.

А рядом, у проталинки,
В траве, между корней,
Бежит, струится маленький
Серебряный ручей.

Черемуха душистая,
Развесившись, стоит,
А зелень золотистая
На солнышке горит.

Ручей волной гремучею
Все ветки обдает
И вкрадчиво под кручею
Ей песенки поет.

Николай Алексеевич Заболоцкий

1903–1958

* * *

Уступи мне, скворец, уголок,
Посели меня в старом скворешнике.
Отдаю тебе душу в залог
За твои голубые подснежники.

И свистит и бормочет весна,
По колено затоплены тополи.
Пробуждаются клёны от сна,
Чтоб, как бабочки, листья захлопали.

И такой на полях кавардак,
И такая ручьев околесица,
Что попробуй, покинув чердак,
Сломя голову в рощу не броситься!

Начинай серенаду, скворец!
Сквозь литавры и бубны истории
Ты — наш первый весенний певец
Из березовой консерватории.

Открывай представленье, свистун!
Запрокинься головкою розовой,
Разрывая сияние струн
В самом горле у рощи березовой.

Я и сам бы стараться горазд,
Да шепнула мне бабочка-странница:
– Кто бывает весною горласт,
Тот без голоса к лету останется.

А весна хороша, хороша!
Охватило всю душу сиренями.
Поднимай же скворешню, душа,
Над твоими садами весенними.

Поселись на высоком шесте,
Полыхая по небу восторгами,
Прилепись паутинкой к звезде
Вместе с птичьими скороговорками.

Повернись к мирозданью лицом,
Голубые подснежники чествуя,
С потерявшим сознанье скворцом
По весенним полям путешествуя.

О КРАСОТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЛИЦ

Есть лица, подобные пышным порталам[1],
Где всюду великое чудится в малом.
Есть лица – подобия жалких лачуг,
Где варится печень и мокнет сычуг[2]
Иные холодные, мертвые лица
Закрыты решетками, словно темница.
Другие – как башни, в которых давно
Никто не живет и не смотрит в окно.
Но малую хижинку знал я когда-то,
Была неказиста она, небогата,
Зато из окошка ее на меня
Струилось дыханье весеннего дня.

---

[1] *Портáл* (от лат. слова *пóрта* – «ворóта») – богато украшенный вход в здание.

[2] *Сычýг* – один из отделов желудка коровы и других жвачных животных.

Поистине мир и велик и чудесен!
Есть лица — подобья ликующих песен.
Из этих, как солнце, сияющих нот
Составлена песня небесных высот.

Александр Трифонович Твардовский

1910–1971

* * *

Снега потемнеют синие
Вдоль загородных дорог,
И воды зайдут низинами
В прозрачный еще лесок.

Недвижной гладью прикинутся,
И разом — в сырой ночи
В поход отовсюду ринутся,
Из русел выбив ручьи.

И, сонная, талая,
Земля обвянет едва,
Листву прошивая старую,
Пойдет строчить трава.

И с ветром нежно-зеленая
Ольховая пыльца,
Из детских лет донесенная,
Как тень, коснется лица.

И сердце почует заново,
Что свежесть поры любой
Не только была, да канула,
А есть и будет с тобой.

* * *

Июль — макушка лета,—
Напомнила газета.
Но прежде всех газет —
Дневного убыль света;
Но прежде малой этой,
Скрытнейшей из примет,—
Ку-ку, ку-ку — макуш-ка —
Отстукала кукушка
Прощальный свой привет.
А с липового цвета,
Считай, что песня спета,
Считай, пол-лета нет,—
Июль — макушка лета.

* * *

Как после мартовских метелей,
Свежи, прозрачны и легки,
В апреле –
Вдруг порозовели
По-вербному березняки.
Весенним заморозком чутким
Подсушен и взбодрен лесок.
Еще одни, другие сутки,
И под корой проснется сок.
И зимний пень березовый
Зальется пеной розовой.

Федор Александрович Абрамов

1920–1983

НА СЕНОКОС!

Из романа «Две зимы и три лета»

У Пряслиных такого еще не бывало.

Ворота настежь, двери в избу настежь. Крыльцо стонет под ногами. Кто тащит косы, обернутые в мешковину, кто – косовища и грабли, кто – корзину с посудой и харчами, кто бренчит чайником и котелками, черными, насквозь продымленными еще в прошлогодние страды...

– Ушат-то, ушат-то не забудьте! – кричит, выбежав на крыльцо, мать, Анна. – Может, грибы пойдут, пособираете сколько.

– А удилища нам взять? – спрашивают Петька и Гришка.

– Миша, Миша! – кричит Лизка. – А соль-то мы не позабыли?

И старший брат Михаил, чертыхаясь, снова и снова перевязывает воз.

Жара. Оводы. Конь бьет ногами – оглобли трещат. Орет, в три ручья заливается Танюха – «на пож-ню-ю-ю[1] хочу», и люди,

---

[1] *По́жня* – покос, сенокос, луг (чаще всего по речкам).

люди, ползаулка людей. Свои, соседка Семеновна, старушонки. Этим, в их годы, на что бы ни глядеть, лишь бы скоротать день. А бабы – Лукерья, Паладья, Таля Евдокимовых?.. Они-то зачем приперлись? Неужели не видали, как на сенокос выезжают?

Затем еще одна делегатка – председатель колхоза Анфиса Петровна. Эта прискакала верхом, как на пожар.

– Ох, все думала – опоздаю. С поскотины[1] коня без передыха гнала.

А зачем, за каким, спрашивается, дьяволом гнала? Ей ли сейчас забаву в чужой бригаде искать, когда свои люди еще не выехали на пожню?

Наконец Михаил увязал воз. Проверил еще раз завертки у саней – на телеге на Среднюю Синельгу не проедешь: грязища.

– Ну, кто на коня полезет?

Младшие братья подскочили – все трое вдруг: каждому хочется во главу поезда.

– Да уж мало́й пускай,– подсказала мать. Эта своего любимчика не забывает.

Михаил подхватил Федюху под мышки, забросил на коня.

Тот, сверкая своими рысьими глазищами, как с трона посмотрел на братьев.

– Ничего,– подбодрил двойнят Михаил. – Вы большие. Вы со мной.

И вот – золотые ребята! – уже улыбаются. Не хотят портить праздник ни себе, ни другим.

А праздник, если вообще можно так назвать выезд на дальний сенокос, достался им нелегко.

Первое условие, которое им было поставлено,– без троек закончить год. Затем – сушьё. Разорваться, а насушить рыбешки на страду.

Ну ребята и старались. Утром глаза продерешь, а они уже у окошка, уроки свои долбят. А из школы прибежали – куда? На улицу? Нет, к реке. И сидят, сидят за удилищем – хоть дождь, хоть ветер. И если бы не они, не их старание, ничего бы из его затеи с семейным выездом на пожню не вышло: не с чем ехать.

– Ну, ничего не забыли? – на всякий случай еще раз спросил Михаил.

– Да нет, кабыть,– ответила мать.

---

[1] *Поско́тина* – выгон, пастбище.

Михаил поднял руку: трогай. И тут к нему подошла Анфиса Петровна:

— А помнишь, Михаил, я однажды тебе говорила: придет, говорю, такое время — бригадой поедут Пряслины на сенокос? Не помнишь? — От волнения у Анфисы Петровны побелели щеки, росой окропились черные глаза...

Так вот она зачем без передыху скакала от поскотины, подумал Михаил. Чтобы увидеть, как он со своими ребятами выезжает на пожню. И Лукерья, и Паладья, и Таля — эти, наверно, тоже прибежали не ради того, чтобы убить времечко...

Горячая волна подступила к его горлу. Каким-то не своим, писклявым голосом он крикнул: «Трогай!» — и вдруг сам, как будто мало у него помощников, побежал открывать воротца.

У Терёхина поля, там, где дорога ныряет в густой березняк, Лизка, вздохнув, сказала:

— Помашите в последний раз. Дальше сузём[1] начинается — не увидите больше деревни.

И Петька и Гришка, уже сколько раз оглядывавшиеся назад и махавшие рукой, оглянулись снова.

Мать с Татьянкой — далеко видать в ясную погоду от Терехина поля — все еще стояли у колодца (Татьяна на изгороди). И там же был еще один человек — Анфиса Петровна. Михаил узнал ее по белому платку.

Этот белый платок памятен всем в деревне еще с войны. Бывало, как определить, есть ли председатель на поле? А по платку. Нет такого другого платка в Пека́шине. Ярче снега горит. То ли оттого, что с мылом стиран, тогда как другие нажимали на щелок, то ли в чем другом секрет.

И, завидев этот знакомый, сверкающий своей белизной платок, Михаил опять удивился Анфисе Петровне. Это сколько же годов она помнила? — спросил он себя. С осени сорок второго. Шесть лет. Да, он об этом забыл, а она не забыла. Она помнила. Да только ли помнила?.. Кабы не она, Анфиса Петровна, еще неизвестно, что было бы с ихней семьей.

А нынешний выезд на сенокос? Кому они обязаны? Да всё ей же, Анфисе Петровне. Кабы она слово на правлении не замолвила, разве бы он шагал сейчас со своей оравой?.. Вы совсем

[1] *Сузём* — сплошной, дремучий лес.

безголовые стали, сказала она бабам. Надо ему когда-нибудь ребят приучать к работе? Надо. А разве он может ехать на Верхнюю Синельгу со своей мошкарой? Вы же первые подымете крик, когда у вас ребятишки малые начнут путаться под ногами. Разве я вас не знаю?

Вот так сказала Анфиса Петровна на правлении. И трудно было что-нибудь возразить против этого. Согласились люди.

Жилье ребятам не понравилось. Избушка старая, заросла ремзой да крапивой — только одна крыша в зеленых заплатах мха проглядывает. К дверям не подступишься — ольшаник. И темно. Плотным мохнатым тыном поднимается ельник за избушкой.

От гнуса гул и вой стоял в воздухе. Тут из-за того, что солнышко не заглядывает в этот угол, обычного распорядка не существовало: днем овод-красик, а к вечеру, после того как спадает жара,— комары, мошкара, слепни. Нет, тут вся эта нечисть шпарила без передыху, круглые сутки...

Первым делом Михаил стал распрягать коня. Всем досталось за дорогу — шесть верст сузема пятнадцати и двадцати обычных сто́ят, а конь просто на глазах сел. Они, люди, все-таки выбирают: тут по валежинке, там бровкой, здесь по кочкарнику скок, а лошадь все серединой, ни одной грязи не минует, да еще с санями, с поклажей.

— Ну, чего стоите? — прикрикнул Михаил на приунывших ребят. — На курорт приехали? — Он вытащил из натопорни[1] топор, подал двойнятам: — Дуйте в лес за дровами!

Началась работа по устройству жилья. Вдвоем с Лизкой они быстро обкосили вокруг избы, которая, судя по всему, и по первости не отличалась удобствами: вместо рам — черные продымлённые ставешки-задвижки, вместо дверей в сенцах — жердяные засовы, на которые в дождь навешиваются пластины бересты. Крыша тоже не из досок, а из жердняка, застланного в несколько рядов берестой, теперь очень обветшавшей, искрошившейся, густо проросшей зеленым мхом. В общем, поставивший эту избу старик Степан Андреянович возводил жилье по правилу: лишь бы над головой не капало да было где от гнуса

---

[1] *Натопо́рня* — кожаный чехол для лезвия топора.

уберечься. И старик, наверно, и сейчас не стал бы вырубать вокруг кусты. Зачем время тратить? Обойдется и так. А Михаил вырубил – большие окна проделал в кустарнике над ручьем слева от избы и начисто срезал ольшаник вдоль пригорка, так, чтобы ничто не закрывало тот, обрывистый, из красной глины берег и главное – чтобы ветерок заглядывал в их угол и выдувал гнуса.

Тем временем с дровами пришли ребята и наперебой стали рассказывать о том, что недалеко от избы по дороге ходит корова с теленочком – бо-о-ль-ща-а-я...

Михаил рассмеялся:

– Дак чего же вы не гнали ее сюда? Вот бы и с молоком зажили.

– А мы самой-то коровы не видели. Мы только следы в грязи видели. Бо-о-ль-ши-и-е! А у теленочка копытца маленькие-маленькие, вот такие.

– Дуральё! У этой коровы знаете какие копыта? У волка череп трещит, если долбанет.

– Лосиха?

– А то. Тут зверья всякого. Подождите, завтра начнем косить – еще не то увидите. Сам Михаил Иванович Топтыгин притопает. Он любит новеньких.

– Давай дак не пугай их,– сказала Лизка, только что на четвереньках выползшая из дымной избы. Слезы текли по ее скуластому лицу.

Пока брат обрубал вокруг кустарник, она выгребла из избы старую сенную подстилку, потом затопила каменку. И вот теперь вся избушка была окутана густым белым дымом. Дым валил из дымника – специального проруба в стене под крышей, дым шел из дверей, из окошек, из пазов – Степан Андреянович не промшил стены, пожалел лишних полдня.

Солнце было еще высоконько, но дневная жара уже спáла и овод-красик подался от избы к речке. Там, у речки, поблескивая на солнце мокрыми от пота боками, бродил, обмахиваясь длинным хвостом, Лысан, их гнедой мерин, и много-много резвилось стрекоз.

Михаил не стал бы утверждать, что слышит треск их сверкающих крылышек, но порог слева, который еще недавно заглушал дневной шум, уже лопотал. Пока по-щенячьи – тяв-тяв, а

замитингует он на всю окрестность часа через три, когда сядет солнышко.

Эх, подумал Михаил, хорошо бы сейчас заглянуть в ближайшие пороги! Раньше он так и делал: чуть только подъехал к избе — за удилище. А сейчас не один и не вдвоем с матерью. Надо тому косу наладить, другому, третьему — дай бог успеть до заката. А крыша? Долго ли проживешь под этим берестяным старьем? До первого дождя.

Вздохнув, он взялся за топор (первым делом надо надрать бересты для крыши, пока еще нет росы) и вдруг не выдержал — схватил рябинку, которую срезал еще давеча, когда вырубал кустарник, намотал на рябинку леску и — к речке.

В первых двух порогах забросы ничего не дали. Зато на Митькиной яме, только он коснулся червяком воды, так рвануло, что удилище едва не вылетело у него из рук. Не ожидал. Так, для очистки совести забросил. Потому что в жару какой на яме хариус? В жару хариус стоит в пороге, вошь с себя смывает.

Михаил быстро сменил червяка и сейчас уже с большой осторожностью, прижимаясь к сухому замшелому стволу черемшины, закинул снова. Никого. Он так, он эдак: вприпляс по воде, низом по камёшнику, кругами-петлями — пропала рыбина. Попробовал на овода, на кобылку — тот же результат.

Петька и Гришка — сами рыбаки — зашептали сзади из травы:

— Может, он ушел?

— Может,— сказал тихо Михаил, сделал шаг вперед и тотчас же откинул туловище назад.

Сколько раз он протаскивал червяка вдоль палки, лежащей на дне в тени круглого валуна, густо забрызганного сверху белым птичьим пометом, и еще все боялся, как бы не зацепить ее, а она вон какая палка — с плавниками. Ибо как раз в ту самую секунду, когда он сделал шаг вперед, из-за прибрежного ивняка брызнул красный луч вечернего солнца и палка у валуна блеснула золотом.

Вот с этой самой минуты и началась, по сути дела, рыбалка. Всё в сторону: червяка, овода, кобылку. Только голый крючок да твоя сноровка.

Величайшее терпение и выдержка требуются от рыбака, решившего взять рыбину зацепом. Сперва надо закинуть крючок в сторону, да так, чтобы не вспугнуть всплеском хариуса (осто-

рожная, ух, осторожная рыба!). Затем крючок надо подвести из-под низа к брюху или к голове рыбины (лучше к голове, потому что большого хариуса за брюхо не вытащишь). Затем – подсек, вернее, ловкий рывок – и крючок в теле рыбины.

Как будто несложно, особенно если весь этот процесс разложить по частям, а на деле немногим, очень немногим удается поднять рыбину зацепом. Непременно где-нибудь да сорвешься или раньше времени обнаружишь себя. Как быть? Зацепом можно взять рыбину только в светлый день, когда хорошо ее видно с берега. Но ведь ежели ты рыбину видишь, то и она тебя видит. Или по тени догадывается о твоем присутствии.

Михаилу, можно сказать, повезло. Берег обрывистый, старая развесистая черемуха над плёсом, так что ни малейшей тени. И солнышко. Косым лучом высвечивает хариуса. Ну а насчет терпения беспокоиться нечего. Закален.

Над ним тучей висели слепни и комары, мураши проложили свои тропы по его белой рубахе, по телу, по сапогам (страсть сколько их оказалось на стволе черемшины, к которому он жался), а он стоял. Он не двигался. И медленно, сантиметр за сантиметром, подводил крючок к хариусу.

Вечернее солнце все больше и больше зажигало речку. Чешуя у хариуса стала золотой. И вот чудо – рыбина стала расти быстро, на его глазах, как если бы кто-то надувал ее изнутри.

Но Михаил ничем не выдал своего удивления. Не ахнул, не пошевелился. Жизнь у него была только в руках, а все остальное закостенело, задеревенело, и муравьиные караваны, беспрерывно сновавшие по нему вверх и вниз, едва ли теперь отличали его тело от ствола черемухи.

И все-таки, несмотря на всю свою собранность и величайшее внимание, Михаил не мог бы сказать, как хариус оказался на крючке. Что произошло в самый решающий момент: он ли сделал раньше подсек (ему казалось, что до рыбины оставалось меньше четверти), или хариус, метнувшись, напоролся на крючок, но только вода возле валуна вдруг заходила, забурлила, и тоненькое рябиновое удилище в его руках выгнулось дугой.

Рывок. Рывок. Еще рывок... Золотой сверкающий клин резал воду...

«Только бы выдержала леска, только бы выдержала леска»,– твердил про себя Михаил.

Леска в шесть конских волосьев была явно не рассчитана на такую рыбину, и он, переступая по кромке обрывистого берега, осторожно и мягко, без малейшего надрыва, выводил ее к травянистому мыску, на котором уже, с нетерпением поджидая хариуса, стояли ребята.

Леска выдержала. Не выдержала рыбья брюшина. Сорвался, дьявол, с крючка. У самого мыса сорвался.

От досады, от горя Михаил только что не рвал на себе волосы, а двойнята – те просто расплакались.

И все-таки они не с пустыми руками вернулись к избе. С рыбой. Два хариуса-ножовика Михаил выдернул в следующем пороге, да там же, на плесе,– три ельца, да еще каким-то чудом выбросили на берег налима ребята, порядочного, не меньше чем на фунт.

– Лиза, эво-то! Посмотри-ко! – звонко закричал Петька, едва они завидели избу, и высоко над головой поднял вязанку с рыбой.

– Да,– сказал Михаил, тоже не в силах побороть радостную улыбку на своем лице,– освежились... – Михаил кивнул Федьке: – Есть елец на плесах. Вот ты и будешь нас подкармливать. Понял?

Солнышко только-только начало подыматься за рекой, а Анна уже входила в поля. С котомкой, с туесом[1], с граблями. И ей радостно было, что она раньше всех встала, раньше всех управилась с печью и коровой и раньше всех выходит на работу. А еще ей радостно было оттого, что скоро она увидит своих детей.

Три дня она жила вдвоем с Танюхой, и ей, привыкшей к вечному ребячьему шуму и гаму, дом свой показался пустым и мертвым.

Первая встреча со своими детьми у нее произошла еще задолго до Синельги, в березовых кустах за Терехиным полем. Тут Анна по старой привычке потянулась за веткой, чтобы лесной дорогой отбиваться от гнуса. И вот только она заломила березку – увидела сомлевшие ветки на вершинке. А немного подальше, на другой обочине дороги, тоже надломленные березовые ветки, только пониже.

[1] *Туéс, туесóк* – круглая берестяная корзинка с тугой крышкой.

И она поняла: ребята ломали. Те, с той березки, которую нагнула сейчас она, ломал Михаил, а за дорогой — двойнята. И она даже представила, как это было.

Бежали, бежали двойнята впереди, выхвалялись перед старшим братом — вот как мы умеем бегать, посмотри, Миша! — да вдруг услыхали, что Миша березовые прутья ломает, и они давай ломать: так, значит, надо, Миша зря ничего не делает. А может, и сам Михаил крикнул: «Ребята, запасайтесь березой. Фашисты в воздухе!» — так, бывало, в войну называли оводов да слепней.

Дальше про то, как шли ее дети сузёмом, стала рассказывать ей дорога.

Четко, дождем не смыть, впечатал свой сапог Михаил, и шажище — метровка, точь-в-точь как у отца. А двойнята — те как олешки: где оставили следок, а где и нет. Легкие.

Свою ногу Анна старалась ставить в след дочери. Шаг у Лизки не крупный и не мелкий, как раз по ней, а самое главное — шла Лизка с разбором. Не то что Михаил. Михаилу все равно: грязь ли, болото ли — все прямо. Не любит обходы делать. А Лизка — нет. Лизка, если надо, и в сторону свернет, и круг даст — только чтобы под ногой сухо было.

На второй версте, на грязях у Лёшьей зыбки, Лизкин след внезапно оборвался. Анна глянула в одну сторону, глянула в другую — нет следа.

Она пошла обочиной, по осотистой бровке, рядом с натопами Михаила и двойнят. Но знакомого следа — круглый каблук с большой шляпкой у гвоздя — не оказалось и за грязями. Потом, спустя малое время,— босая нога на дороге, узкая и длинная. Лизкина, догадалась Анна. Это ведь ей сапог новых жалко стало. И вот, когда начались грязи, сняла.

Сапоги для Лизаветы принес Степан Андреянович уже в самую последнюю минуту, когда Михаил с ребятами выезжал из заулка. Лизка была любимицей старика, дочь родную не все так любят, как он любил Лизку. В прошлом году пропадать бы Лизке без валенок в лесу — выручил Степан Андреянович. Разжился где-то шерстью, сам и скатал.

И валенки, и сапоги, понятно, немалое дело по нынешним временам, да ведь и Лизка не в долгу перед Ставровыми. Ну-ко, с сорок второго года обстирывать да обмывать старика с парнем — стоит это чего-нибудь, нет?

Так, мысленно беседуя с детьми, угадывая по следам, как они шли, где останавливались, Анна и не заметила, как вышла к Синельге.

Надо бы передохнуть хоть немного, надо бы лицо сполоснуть: зажарела, запотела — не порожняком шла, но до отдыха ли, до прохлады ли речной, когда где-то совсем близко дети?

И вот он, ее праздник, ее день, вот она, выстраданная радость: пряслинская бригада на пожне! Михаил, Лизавета, Петр, Григорий...

К Михаилу она привыкла — с четырнадцати лет за мужика косит, и равных ему косарей теперь во всем Пекашине нет. И Лизка тоже ведет прокос — позавидуешь. Не в нее, не в мать, а в бабку Матрену, говорят, ухваткой. Но малые-то, малые! Оба с косками, оба бьют косками по траве, у обоих трава ложится под косками... Господи, да разве думала она когда-нибудь, что увидит эдакое чудо!

С самого рожденья не повезло двойнятам. С самого рожденья им пришлось все делить пополам друг с другом: и молоко материнское, и одежду, и обутку,— и в войну, казалось, им первым карачун. А они устояли. Они выжили.

Весело, со свистом летает серебряная коса у Михаила, а у Лизки, по пояс зарывшейся в густую траву, на виду другая коса — девичья, тугим льняным ручьем стекающая по запотелой, в мокрых пятнах спине, и фик-фик — синичками звенят косы двойняток.

И, видно, не одной ей, Анне, было удивительно то, что делалось в этот час на пожне под высокими березами с искрящимися на солнце макушками.

Сверху, над пожней, большими плавными кругами ходил пепельно-серый канюк[1] и не кричал, как всегда, „пить-пить“, а молчал.

Молчал и смотрел.

Смотрел и дивился.

Лизка первая увидела мать, закричала на всю пожню:

— Мама, мама пришла!

Затем, не долго думая, бросила посреди пожни косу, подбежала к матери, помогла снять со спины котомку.

[1] *Канюк* — полевой коршун.

— А вон-то, вон-то! — живо зашептала она, кивая на двойнят. — Мужики-то наши. Давай дак не фасоньте! Видите ведь, кто пришел.

Петька и Гришка выдержали — ни разу не обернулись назад. Дескать, некогда глазеть по сторонам. На работе мы. И только когда старший брат объявил перекур, только тогда дали волю своим чувствам: скоком, наперегонки кинулись к матери:

— Мама, мама, ты видела, да?

— Видела, видела.

— Как не видела,— рассмеялась Лизка. — Мы только и смотрели на вас. Ну уж, говорим, и ребята у нас. Поискать таких работников.

— А где у вас малый-то? — спросила, оглядываясь по сторонам, Анна. — Почему не видно?

— Удит,— ответила Лизка и указала на дымок за мысом. — С косьбой ничего не получается. Позавчера принимался. Овод да муха, вишь, мешают. Выстал середи пожни, обмахивается веничком. Федюха, Федюха, говорю, ты ведь не в бане. На пожне-то косой от гнуса отмахиваются, а не веником.

Все — и подошедший к этому времени Михаил, и двойнята — рассмеялись: Лизка мастерица была разыгрывать домашние спектакли.

— Малой еще,— вступилась по обыкновению за Федюху Анна. — Подрастет, будет и он косить.

— Ничего не малой,— возразила Лизка. — Бо́льно лени много у этого малого, вот.

— А нас, мама, оводы не кусают. Смотри-ко! — Петька и Гришка были без куклей — накомарников. Сняли, подражая старшему брату,— тот все лето ходил с открытой головой.

А напрасно сняли, подумала Анна. Дорого обошлась им эта лихость. До волдырей, до коросты раскусаны лица.

Отдыхать сели на выкошенный угорышек к Синельге. Прямо на солнцепек. Тут по крайней мере не донимает комар.

Туес с молоком Михаил опустил в речку под густую черемшину. Котомку с хлебами повесил на сук березы — чего-чего, а мышей на Синельге хватает.

Анна, отдуваясь от жары (все, кроме Михаила,— и двойнята, и Лизка — сгрудились вокруг матери), стала рассказывать деревенские новости...

– А как та рёва? – опять на свою семью перевела разговор Лизка. – Наверно, вся уревелась?

– Татьяна-то? Спала еще, когда я пошла. Семеновну просила – к себе возьмет.

Михаил попыхал-попыхал еще немного цигаркой и принялся налаживать косу для матери.

Лизка тоже поднялась. Достала из-под травы свою дорогую обнову – она сидела босиком, чтобы не жарить зря сапоги на солнце,– быстрёхонько обулась.

– А с этими-то что будем делать? – Анна, не решаясь пошевелиться, кивнула себе за плечо.

Петька и Гришка так уробились, что с первых минут, как только обхватили ее сзади, начали засыпать. Она это почувствовала по их жаркому дыханию, по расслабленной тяжести, с которой они навалились на нее.

Михаил крикнул:

– Подъем, помощники!

И до чего же круто да проворно вскочили двойнята! Будто и не спали. Мигнули раза два-три – и глаза чистые-чистые, до самого донышка просвечивают. Как Синельга в ясную погоду.

– А мы и не спали. Мы это так, да, Гриша?

– Так, так,– успокоила их Анна. – Не расстраивайтесь. Я сама чуть было не заснула, ребята.

Солнце набирало свою дневную силу. Над пожней стоял гул от овода, от слепня. Михаил и Лизка спокойно и деловито вошли в траву. И пошли, и пошли ставить улицы да переулки. А ей куда, в какую сторону?

Двойнята, оседлавшие тенистую кулижку[1] возле кустов, звали: «Мама, мама, иди к нам!» – и в другой бы раз она охотно, с радостью присоединилась к ним (что поделаешь, если с косой она с малых лет не в ладах), но сегодня этого нельзя было делать. Нельзя.

Сколько лет в глубине своей души она ждала этого семейного праздника, самого большого торжества в своей жизни,– так как же смотреть на него из кулижки, из кустов?

И она пошла за взрослыми – за Михаилом и Лизаветой.

---

[1] *Кули́жка, кули́га* – полянка, небольшой ровный покос среди леса или пашни.

Евгений Иванович Носов

Родился в 1925 году

ВАРЬКА

Отрывок из рассказа

Вот уже битый час Варька, мокрая и встрепанная, в куцем, выгоревшем за лето сарафане, гонялась по озеру за утками. Она упиралась широко расставленными ногами в борта полузатопленной плоскодонки, весло цепко увязало в иле, путалось в пухлых травяных пластах. От каждого толчка лодка заваливалась набок, и в ее отсеках хлюпала и взбрызгивалась парная, цвёлая вода. Комары столбом толклись над головой, и Варька, отмахиваясь, яростно шлепала себя то по остро выпиравшим лопаткам, темным и худым плечам, то по мокрым и красным, исцарапанным камышами икрам.

— И чтоб я в другой раз заместо кого осталась! — кричала она злым, грубым голосом. — И пропади они все пропадом, те утки! Нашли дуру!

Птица нахально лезла в самое непролазное лопушьё, набивалась в камыши, рассчитывая пересидеть там Варькино буйство и все-таки остаться ночевать на озере. Варька шуровала веслом в камышах, колотила плашмя по воде, взбивая розовые при закатном солнце брызги. Утки, тоже розовые, мельтешили в ее глазах вместе с ослепительными бликами взбаламученной воды. Устав махать веслом, Варька оглядела озеро, рукой заслоняясь от багрового солнца.

— И когда же вас, самураев, заберут от меня на птицекомбинат, навязались вы на мою головушку...

Сторож Емельян что-то кричал, командовал Варьке, но она в утином гомоне ничего не разбирала и только, оборачиваясь, видела, как Емельян, черный на светлом предвечернем небе, прыгал на своей деревяшке по крутому голому берегу, размахивая кисетом.

— А иди ты... — досадовала на него Варька. — Размахался!

Птичник стоял в лугах, верстах в семи от деревни, на берегу глубокой старицы с донными ключами. Построили его года четыре назад, когда пошла по колхозам мода на водоплавающую

птицу. Председатель Парашечкин, круглый, коренастый мужичок в кепке с пуговкой, верхом на своем белом горбоносом жеребце, как Наполеон перед сражением, самолично выбирал позицию. Он долго петлял по лугам, среди неразберихи стариц, заросших ивняком и всякой дурной болотной всячиной, и под конец остановился на этом одиноком бугре. Будучи человеком осторожным и прижимистым, он не стал сразу разоряться на капитальное строительство, а поначалу распорядился сладить птичник на скорую руку – для пробы. «Так – дак так, а не так – дак и ладно»,– приговаривал он, размечая бугор саженкой – откуда и докуда ладить постройку. Плотники сплели из лозы опояску в полметра высотой, сверху сомкнули жердяные стропильца и все это закидали соломой. С тех пор и стоит посреди лугов этот приземистый, безглавый балаган. Мода, однако, прижилась, утка оказалась доходной птицей, теперь можно было бы взамен шалаша поставить что-нибудь поосновательнее, тем более что колхоз при средствах,– но Парашечкин что-то не спешил.

– Срамота-то какая! – донимали Парашечкина птичницы, когда тот появлялся на озере. – Против соседей совестно. В миллионерах ведь ходим.

Парашечкин, сощурясь, издали оглядывал птичник и вдруг, побагровев, начинал ругаться:

– Ну-к что, что в миллионерах! С красоты воды не пить. Птичник как птичник. Не капает. Утка тебе что? Утка тебе не курица. Ей хоромы не нужны. А если я сюды двести тыщ кирпича убухаю, посчитайте, во что кило птицы обернется, дуры!

– Да ведь мы-то не утки. Нам и переночевать негде. В деревню каждый раз не набегаешься.

– Вон берите тракторную будку, хватит с вас.

По весне на птичник завозили с инкубатора две-три тысячи зеленовато-желтых пискунов, выпускали их на старицу, все лето полоскались они на полной природе; казенные харчи, правда, тоже были подходящие, подкармливали зерновыми отходами, мучной мешанкой, так что к концу августа, к тому моменту, когда надо закруглять дело, от уток на озере некуда было бросить камень. К этой поре все чаще наведывался Парашечкин, хватал первую попавшуюся утку, прикидывал ее на руке, разгребал пух и тихо так, заискивающе говорил:

– Вы уж, девки, давайте пошуруйте эту недельку. Чтоб все по

высшей категории пошло. А я, так и быть, помимо грамот... — он прищуривал один глаз и совсем так, как только что оглядывал уток, оценивающе посматривал на птичниц,— так и быть, я вам по набору духов преподнесу. По «Кармену». От себя лично.

Наконец объявляли сдачу, несколько дней на птичнике стоял гам, уток распихивали по клетушкам, грузили на машины и отправляли на птицекомбинат.

Остальное время балаган пустовал. Зимой по нему, занесенному сугробами, упиваясь утиным духом, шастали лисы. Весной же он одиноко торчал на бугре, со всех сторон облитый полой водой.

Варьку на птичнике называли «приблудной». Она объявилась там сама по себе и не числилась ни в каких штатных расписаниях. Позапрошлой весной шла она из школы домой, увидела возле правления грузовик, из которого доносился жалобный многоголосый писк, залезла на заднее колесо, заглянула в кузов. В решетчатых ящиках копошились черноглазые, похожие на пуховички вербы утята.

«Ой, да какие же они!» — загорелась Варька счастливой нежностью, закинула портфель в кузов и прикатила на птичник. Сначала бегала туда после уроков, а когда распустили на каникулы, осталась там на все лето.

Приходила мать, ругалась с птичницами за то, что они сманивают девку, отбивают ее от двора, и Варька пряталась от матери в камышах. Из-за этого птичницы сперва косились на Варьку, гнали ее домой, но потом привыкли и даже не мыслили своего дела без Варькиной помощи.

Варька разжигала кормозапарник, замешивала отруби, гонялась за утками, когда те, узнав про соседнюю бахчу, улепетывали туда клевать помидоры, бегала с поручениями птичниц в контору, палила из дробовика по коршунам, с Емельяном ставила в лопушистых заводях верши. Сарафанишко висел на ней застиранной и вконец выгоревшей тряпицей, сама же она заветривала и обгорала до сизой шелухи, а руки и ноги истончались до такой степени, что от выпиравших суставов походили на узловатые жерди.

К концу лета утки надоедали ей до крайности. Из нежных беспомощных пискунов они превращались в прожорливых, нахальных и бестолковых тварей. Они изматывали Варьку до того, что у нее начинал портиться характер. Варька становилась злой,

как осенняя муха, и клялась, что больше ноги ее не будет на этом распроклятом птичнике. А на следующую весну Варька опять прибегала к озеру, с какой-то болезненной жадностью набрасывалась на недельных утят, прижималась к ним щекой, хватала ртом черные мягкие клювики и визжала, дрожа голосом:

– Ой, девчата, не могу! Какие же они хорошенькие!

И все начиналось сначала. Вот уже третье лето.

После обеда на птичник должны были привезти подкормку. Возил корм обычно Генка на газике. Но вместо него неожиданно, прикатил на пароконке с тремя мешками комбикорма Сашка-цыган.

Года три назад, в позднюю осеннюю распутицу, Сашка прибился к деревне вместе со своей матерью. Варька впервые увидела его в тот день возле правления. Пока мать обговаривала свою просьбу в кабинете Парашечкина, Сашка, тогда еще щуплый, узкоплечий мальчонка с заостренным, перепуганным лицом, сидел на затоптанном осенней грязью крыльце правления и сторожил узелок с пожитками. На нем была какая-то замызганная, не по росту, кацавейка с подвернутыми рукавами, из которых зябко торчали черные сухие пальцы с белёсыми ногтями. Больше всего Варьке запомнилась Сашкина обувь – глубокие резиновые старушечьи боты, дырявые и переломленные в носах, отчего казались странно и неприятно пустыми. Варька, пока шла мимо, поминутно оглядывалась, дивясь не столько самому цыганенку, сколь его неприкаянному и равнодушно-покорному виду, и ей хотелось, чтобы Парашечкин не отказал и принял их в колхоз.

Зимовали они на свиноферме, в общественной хате, служившей и красным уголком, и обогревалкой. Весной для них запахали кусок выгона на краю деревни, и до той поры, когда появится вольный материал на хату, плотники помогли сладить маленькую времянку в одно оконце. С первыми теплыми днями соседка бабка выгребла из своего погреба мешок картошки, набрала в подол узелков и кулечков со всякими семенами и повела Сашкину мать Марию на свежераспаханный выгон обучать земле. Мария, высокая, сухая цыганка, застенчиво улыбаясь своей неумелости, неловко и терпеливо что-то сажала и сеяла, поглядывая на проворные и корявые бабкины пальцы. Любопытные бабы нарочно бегали с ведрами к выездному колодцу, чтобы ненароком подсмотреть, как обживаются чужепришельцы. Иные,

не скрывая своей стародавней крестьянской непримиримости к бродяжьей жизни, посмеиваясь, кивали:

— Сеять да пахать — не на карты брехать!

Однако постепенно все это изгладилось. Мария помаленьку обвыклась, привыкли и к ней. Она оказалась неназойливой женщиной, без нарочитой цыганской нахалинки, на свинарнике работала с молчаливым терпением — одним словом, баба как баба. К тому ж и горе носила в себе самое обычное, бабье: бросил ее муж. Рассказывала, что цыган не смирился перед новым законом, не сдал коня государству, а в необдуманной горячности и глухой тоске по прежней кочевой жизни тайно забил его в лесу, мясо продал, а сам подался искать волю в Молдавию, а может, и дальше куда, к сербам. Звал и ее с собой. Но одному, может, где и воля, а куда ж ей с мальчонкой...

Труднее приживался на деревне Сашка. Ребятишки то липли к нему, забавляясь его чужой необычностью, странным говором и привычками, то вдруг, не поделив какой пустяк, дружно и наглухо чурались, лепили всякие обидные прозвища и по малолетству бездумно попрекали всем цыганским: Сашкиной кучерявостью, глазастостью. «Сыган, сыган, коску смыгал!» — выкрикивал из-за плетня какой-нибудь сопливый бесштанный пацан, просто так, от нечего делать. Свистушки девчонки, без семи лет невесты, тоже сочиняли про Сашку всякую обидную небывальщину, вроде того, что, мол, у него цыганские ненадежные глаза, многозначительно ахали и, пугая друг дружку Сашкиной неверностью, уговаривались «ни за что на свете» не водить с ним компанию.

Сашка держался хотя и не враждебно, но настороженно и замкнуто, больше вертелся возле взрослых мужиков и все дни пропадал на конюшне. На улице видели его редко, в дневную школу он не ходил, стеснялся своего роста, в вечёрке же по причине его неграмотности не нашлось начальных классов. Ради него одного учреждать изначальное обучение в вечерней школе никто не стал, хотя завуч и уговорил Сашку по вечерам брать уроки у него на дому.

Свалив мешки, Сашка закурил сигарету, присел у заднего колеса на корточки.

— Девчата, шестимесячный приехал! — крикнула птичница Нинка Арбузова, и вслед за ней все остальные высыпали из вагончика.

Сашка бывал на птичнике редко, и на него сбегались глядеть, как на диковину. Сашкину голову покрывала буйная копна нестриженых волос, опутывавших шею сине-смоляными кольцами. Девчата завидовали этому даром доставшемуся нечесаному счастью и между собой называли Сашку «шестимесячным».

— Саш, продай бигуди,— притворно серьезным тоном сказала Ленка Пряхина, присев перед цыганенком на корточки.

Птичницы томились знойной скукой августовского дня и обрадовались случаю побалагурить.

— Какие бигуди? — не понял Сашка.

Девчата прыснули, Сашка, смигивая черными ресницами, выжидающе поглядывал то на одну, то на другую.

— Он их на конюшню отнес,— вставила Нинка, подписывавшая на грядке телеги Сашкину накладную. — Кобылам на ночь хвосты накручивает.

Девчата снова дружно захохотали. Сашка отвернулся, пустил длинную струйку дыма на свои босые серопыльные ноги.

— Саш, а правду говорят, что ты девкам зелье подсыпаешь? — не унималась Ленка. — Девки выпьют и сразу дурочками становятся?

— Ты и без зелья дурочка,— огрызнулся Сашка.

Варька, сочувствовавшая Сашке еще с того самого дня, как увидела его на крыльце правления с узелком под мышкой, не принимала участия в балагурстве, топталась в сторонке, испытывая стыдливую неловкость от обидных и задиристых шуток птичниц. Девчата заметили Варькино смущение, тотчас истолковали его на свой лад и бессовестно набросились на нее.

— Ты чего за спины прячешься?

— Девки, да она краснеть научилась...

— Хорош парень, а?

— Одни глаза чего стоят!

— Берегись, Варька, они глазливые!

Поймав на себе черно-сливовый Сашкин взгляд, Варька совсем смешалась, еще больше пыхнула от жаркого и сладкого испуга и гнева и, чувствуя, как глаза наливаются слезами, нагнула голову и убежала за будку.

— Отдай накладную,— нахмурился Сашка.

— Погоди! Куда ты спешишь? Побудь с нами.

— Сашечка, сплясал бы, что ли!

— Ага, Саш! Чего тебе стоит! А мы Парашечкина попросим, чтоб он тебе трудодень за это начислил. Как за художественную самодеятельность.

Сашка угрюмо зыркал из-под спутанных завитков, потом подскочил, хотел было выхватить накладную, но Нинка, увернувшись и подняв бумажку над головой, захохотала:

— Сперва спляши...

— Дай, говорю! Я на работе, поняла?

— Поняла... Твоя работа никуда не убежит. Вон как хвосты обвисли.

Сашка затравленно и дико озирался. Не найдя слов, болезненно скривясь, он вдруг выхватил из повозки длинный кнут.

Девчата взвизгнули и рассыпались. Перевалившись через решетчатую дробину и огрев кнутом сонно выстаивавших жару лошадей, Сашка покатил прочь в сухом грохоте растрепанной телеги.

— Ой! — спохватилась Ленка Пряхина, когда Сашка был уже за озером. — А что же мы про кино не спросили? Сегодня же четверг. В клубе кино должно быть...

Александр Андреевич Прокофьев

1900–1971

ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА

По широкой, по прямой
В летний теплый вечер
Хорошо идти домой
Огонькам навстречу.

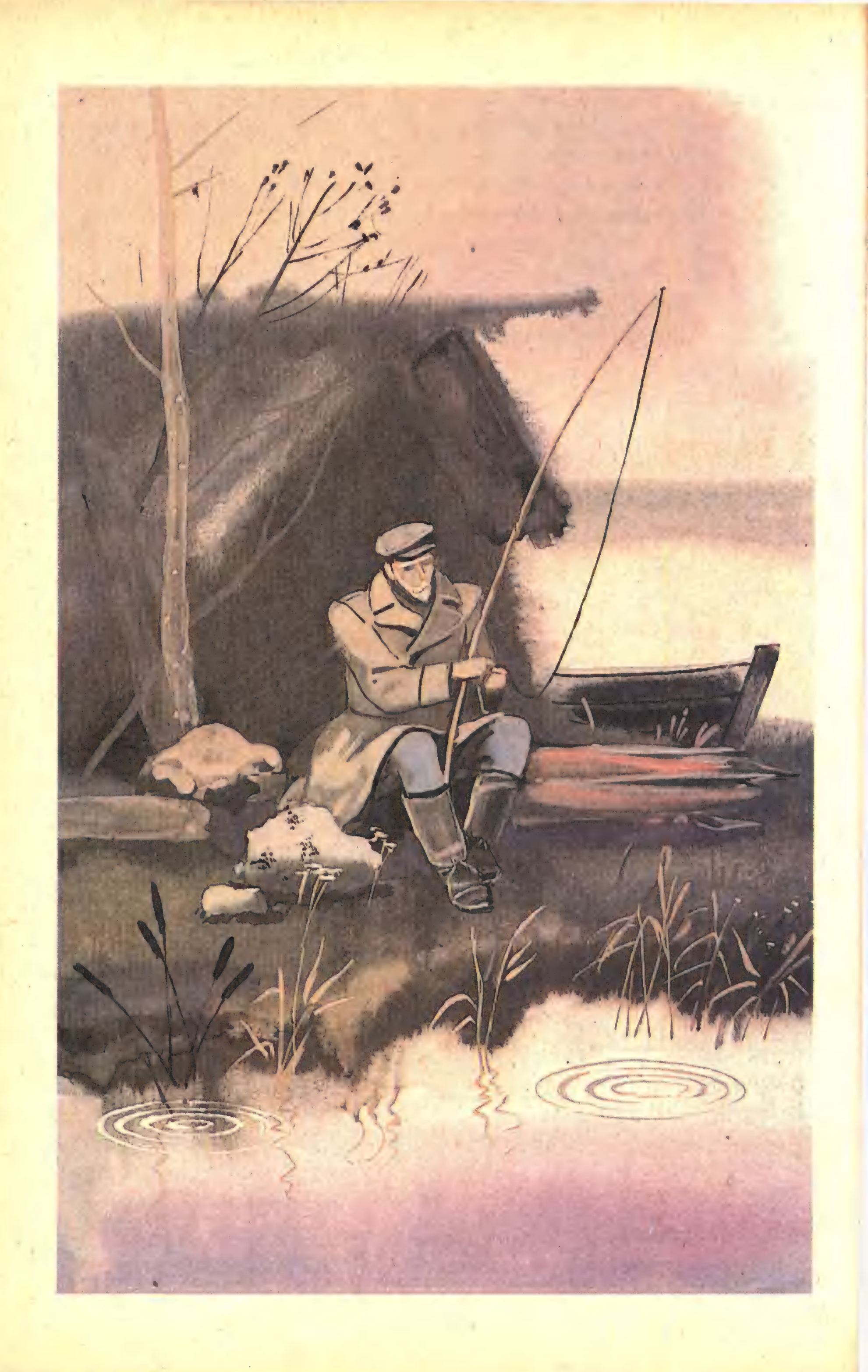
Их не видно, но горят
За высоким бором
И прибавить шаг велят,
Замирают скоро.

И тревоги далеки,
И забот немного.
Золотые огоньки,
Дальняя дорога.

Сколько троп выходит к ней,
А над нею, свесясь,
И звезда горит ясней,
И светлее месяц.

Слышен трепет камыша,
Свой, веселый, местный,
И распахнута душа
В наш простор чудесный.

Где синеют ручейки,
Где привал у стога...
Золотые огоньки,
Дальняя дорога.



* * *

Здесь тишина. Возьми ее, и трогай,
И пей ее, и зачерпни ведром.
Выходит вечер прямо на дорогу,
И месяц землю меряет багром.

Высоких сосен бронзовые стены
Окружены просторами долин,
И кое-где цветут платки измены[1]
У одиноко зябнущих рябин.

И мне видны расплавленные смолы
И перелесок, спящий на боку,
За рощей – лес, а за лесами – долы
И выход на великую реку.

Все голубым окутано покоем,
И виден день, заброшенный в траву...
Вы спросите: да где ж это такое?
А я не помню и не назову.

Оправдываться буду перед всеми
И так скажу стареющим друзьям:
«Товарищи! Земля идет на север,
К зеленым океанам и морям!»

И мне не повторить такого мига,
Отправимся за ним и не найдем,
А я хочу, чтоб голубое иго
Еще звенело в голосе моем.

* * *

Как хорош этот мачтовый лес,
Он под ветром натянут до звона,
Доросли до высоких небес
Молодые зеленые кроны.

---

[1] *Платки измены* – образное выражение: желто-оранжевая рябина напоминает поэту о «цвете измены» – желтом.

Как пригожа березок гряда!
Бьет зеленый прибой у дороги,
Им без устали моет вода
Без того побелённые ноги.

Колокольцев лиловых в лугах
Льется звон по родимой сторонке,
Вешний луч, предзакатный и тонкий,
Лось несет на ветвистых рогах!

Никнут купы плакучих берез
Там, где ветер гуляет на воле...
Я люблю эту землю до слез
За былинку последнюю в поле!

Николай Иванович Рыленков

1909–1969

* * *

Скоро осень... Ну так что же?
Я тебе в саду
Золотое, наливное
Яблоко найду.

Это яблоко мне август
Посулил давно.
До поры в листве скрываясь,
Ждет меня оно.

Мы на блюдечко положим
В добрый час его
И увидим праздник лета,
Света торжество.

Всё, чем жили-дорожили
Мы из года в год,–
Золотое, наливное
Яблоко вернет.

Песни вó поле широком,
Где заря не спит,
Встречи, словно ненароком,
У седых ракит.

Пусть подернулись туманом
Дальние года,–
То, что мы добром помянем,–
С нами навсегда.

Скоро осень... Ну так что же?
Я тебе в саду
Золотое, наливное
Яблоко найду.

* * *

Назови меня, роща зеленая, сыном,
Сны дурные дыханьем сдувай с моих век.
Я поклялся березам твоим и осинам,
Что останусь им другом и братом навек.

В час тревоги увижу и за́ морем синим
Край туманных закатов и медленных рек...
Назови меня, роща зеленая, сыном,
Сны дурные дыханьем сдувай с моих век.

ДАЙ ПРИПАСТЬ К РУКЕ ТВОЕЙ, РОССИЯ

Скрылся день в туманы росяные,
Отпылали облаков края.
Дай припасть к руке твоей, Россия,
Вечная заботница моя.

Дай поцеловать твои мозоли,
Чтоб, как в детстве, сеном я пропах,
Чтоб навек остался привкус соли
На моих запекшихся губах.

Пусть войдет мне в душу каждый шорох,
Каждый вздох в краю моем родном.
Я всю жизнь учусь в твоих просторах
Жить, как пахарь твой,— грядущим днем.

Видел я не раз иные дали,
Но мечтал лишь об одном, любя,—
Чтоб друзья и недруги сказали,
Что характером я весь в тебя.

Мне таить перед тобой не надо,
Где я плакал, где дарил цветы.
Всё, что скрыто от чужого взгляда,
Материнским сердцем чуешь ты.

Освежит мои виски седые
Лишь твоя певучая струя.
Дай припасть к руке твоей, Россия,
Вечная заботница моя!

Ярослав Васильевич Смеляков

1913–1972

ПРОДОЛЖАТЕЛИ

Бригаде коммунистического труда
депо «Москва – Сортировочная»

В полуразрушенной России,
под красным заревом знамен
за всю историю впервые
был этот подвиг совершен.

С тех пор прошли
десятилетья,
но мы под знаменем родным,
как продолжатели и дети,
дела отцовские творим.

Сегодня в замыслах народных,
в рабочих душах и сердцах,
приобретает тот субботник
иную ширь, иной размах.

Ему простору больше надо,
и он, вздымая комсомол,
в коммунистических бригадах
своих наследников нашел.

Сегодня ты, народ свершений,
еще сильней и выше стал,–
вот это и предвидел Ленин,
когда про тот Почин писал.

ТОВАРИЩ КОМСОМОЛ

В папахе и обмотках
на съезд на первый шел
решительной походкой
российский комсомол.

Его не повернули,
истраченные зря,
ни шашки и ни пули
того офицерья.

О том, как он шагает,
свою винтовку сжав,
доныне вспоминают
четырнадцать держав.

Лобастый и плечистый,
от съезда к съезду шел
дорогой коммунистов
рабочий комсомол.

Он только правду резал,
одну ее он знал.
Ночной кулак обрезом
его не задержал.

Он шел не на потеху
в победном кумаче,
и нэпман не объехал
его на лихаче.

С нелегкой той дороги,
с любимой той земли
в сторонку лжепророки
его не увели.

Ему бывало плохо,
но он, упрям и зол,
не ахал и не охал,
товарищ комсомол.

Ему бывало трудно,—
он воевал со злом
не тихо, не подспудно,
а именно трудом.

Тогда еще бездомный,
с потрескавшимся ртом —
сперва он ставил домны,
а домики — потом.

По правилам науки
крестьянско-заводской
его пропахли руки
железом и землей.

Веселый и безусый,
по самой сути свой,
пришелся он по вкусу
Отчизне трудовой.

Анатолий Георгиевич Алексин

Родился в 1924 году

ДОМАШНЕЕ СОЧИНЕНИЕ

Когда Дима прочитал все, что создано в мировой литературе для его возраста, он принялся за книги, написанные для других возрастов.

— Почему ты не запираешь свой книжный шкаф? — спросила мама у папы.

— Запирать книги — это кощунство! — ответил папа. — Они еще никому не приносили вреда.

— А может, вообще отменить это понятие — «ребенок»? — спросила мама. — Раз в тринадцать лет можно все то же самое, что и в тридцать пять!

За справедливостью Дима всегда обращался к бабушке. В самый разгар родительских споров, касавшихся его судьбы, он с отчаянием в голосе произносил: «Ну, скажи ты!..» И спор немедленно обрывался: бабушка говорила так неторопливо и тихо, что к ее голосу надо было прислушиваться. Вступая в дискус-

сию, она чаще всего задавала вопрос, ответ на который таил в себе решение спора.

— В каком классе ты сама-то прочитала «Анну Каренину»? — спросила она у мамы.

— Не помню.

— А я помню. В шестом...

— Вот видите! — воскликнул Дима. — А я еще не читал!

— Дети не обязаны повторять ошибки родителей,— отважилась возразить мама. — Книга, прочитанная не вовремя, может навсегда отбить вкус к самой себе.

— Это бывает,— согласилась бабушка. — Но ты не волнуйся... Я присмотрю.

Прежде всего Дима принялся за «Большую энциклопедию». Ему в голову пришла мысль, что, если прочитать эти тяжеловесные тома, написанные обо всем на свете, можно сразу стать всесторонне образованным человеком.

Осилив за десять дней том на букву А, Дима перестал спать спокойно. Радости и трагедии, открытия и сражения, происходившие в разные годы и эпохи, но словно бы объединенные начальной буквой своих имен, перемешались в голове, путались, наскакивали друг на друга.

И все же Дима, вздохнув, принялся за второй том. Сначала он решил перелистать его, посмотреть картинки... И неожиданно остановился. Между 77-й и 78-й страницами лежал исписанный незнакомым ему почерком двойной лист, вырванный из обыкновенной тетрадки в линеечку: «Письмо 1972 году. Домашнее сочинение ученика 9-го класса „Б“ Владимира Платова».

— Бабушка! — от неожиданности вскрикнул Дима.

— Чего тебе? — раздался из другой комнаты бабушкин голос.

— Ничего... Я так просто. Хотел проверить, ты спишь или нет.

— К счастью, не сплю. А то бы ты меня разбудил.

— Прости, пожалуйста...

Дима решил сперва прочитать письмо сам. Судя по заголовку, ученик 9-го класса «Б» должен был адресовать его не человеку, а году. Однако первые же строки свидетельствовали о том, что ученик не вполне подчинился заданию учительницы...

«Дорогая Валя! Мария Никитична хочет, чтобы мы обращались к году, а я обращаюсь к тебе. К тебе, живущей в том самом году!

Прошло тридцать лет, как я написал это письмо. И вот ты его читаешь... Представь себе, что я стою рядом — вот здорово! — и разговариваю с тобой.

За это время произошло главное: я получил ответ на вопрос, который мучил меня в школьные годы. Дома, на уроках и переменах я думал: „Кого же она все-таки любит — Лешку Филиппова или меня?" Теперь я уже давно знаю, что ты любишь меня. А с Лешкой разговаривала на переменках просто для того, чтобы я немного поволновался. И еще потому, что вы оба занимались в литературном кружке. Это было единственное, что вас объединяло в ту далекую пору. Теперь уж я точно знаю...

Все эти тридцать лет я был ужасно счастлив из-за того, что ты любила меня, а не Лешку Филиппова! Хотя он хороший парень. (Теперь-то уж хороший пожилой человек!) Я сочувствовал ему все эти тридцать лет. Но, что поделаешь, Валечка! Раз ты любишь меня... Тут уж ничего не поделаешь?

Никогда не думал, что мечты могут сбываться с такой математической точностью! Мы работаем с тобой в одной больнице — ты на одиннадцатом этаже, а я на десятом...

Сегодня мы с тобой вместе оперировали больного. Я позвал тебя на помощь, и ты спустилась ко мне. А потом мы оба спустились вниз, где ждала нас его мать, и сказали ей: „Все в порядке!" Она не поверила, зарыдала... А мы стали уверять ее: „Опасности нет. Опасности больше нет!.." Чтобы иметь возможность хоть раз сказать это, стоит жить на земле! Ты согласна?

Потом мы вернулись домой... Валя-маленькая, наша дочь, готовится к последним экзаменам в институте. Не знаю, в каком... Но это не имеет значения! А сын Сережа ушел на футбольный матч. Он вообще увлекается спортом. Тебе даже кажется, что чересчур. Похож на отца! Пусть хоть это послужит тебе утешением. Ведь ты любишь меня...»

На этом домашнее сочинение обрывалось.

— Бабушка! — крикнул Дима.

— Чего тебе?

Дима молчал. Бабушка появилась на пороге... Говорили, что когда-то она была очень веселой. И даже любила петь... А потом стала тихой и, казалось, все время думала о чем-то одном. Думала, думала... Она стала такой в тот февральский день сорок пятого года, когда пришло извещение о гибели ее сына Володи.

Она всегда была уверена, что единственное, что пережить невозможно,– это гибель детей. Она и не пережила... Умерло ее веселье, умолкли песни, потухли глаза. И лишь через много лет, когда родился внук Дима, жизнь как бы вернулась к ней. Но не та, что была раньше, а совсем другая... Она стала бабушкой.

– Это... его сочинение,– сказал Дима. И протянул ей двойной тетрадный листок.

Бабушка прочитала. Потом еще раз... Потом еще. Дима ждал. А она все водила глазами по строчкам. И Диме казалось, что это не кончится никогда.

– А где эта Валя? – спросил он тихо.

– Валя Филиппова? Как и раньше... живет над нами, на шестом этаже.

– Филиппова?! – переспросил Дима.

– Ну да...

– Она вышла замуж за Лешку?

– Ее мужа зовут Алексеем Петровичем,– ответила бабушка.

– Это тот... который всем уступает дорогу в лифт, а потом сам не влезает? Какой-то чудак!

– Интеллигентный человек,– возразила бабушка. – И ее ты знаешь. Однажды, когда у тебя была высокая температура, мы позвали ее. Она сделала тебе укол... Помнишь?

– Еще бы! – Дима погладил себя по тому самому месту. – Она стала хирургом?

– Нет, педиатром.

– Кем?

– Детским врачом.

– И он тоже врач?

– Он преподает литературу. Кажется, в институте.

– Ну да... он же занимался в литературном кружке! А сын их такой высоченный и неуклюжий?

– Очень талантливый мальчик,– сказала бабушка.

– Откуда ты знаешь?

– Учится в аспирантуре. Его зовут Володей...

Когда начало темнеть, Дима спустился вниз и стал дежурить во дворе, возле подъезда. Люди возвращались с работы. Одни торопились так, будто дома их ждал какой-то сюрприз. Другие шли медленно, на ходу о чем-то размышляя, будто и не расставались с делами.

«Володя мечтал, что домой они будут возвращаться вдво-

ем... — вспомнил Дима. — Хорошо бы, чтоб сегодня она вернулась одна!»

Она подъехала на белой машине с красным крестом.

— Я только скажу моим мужчинам, чтобы не волновались, и сразу обратно,— сообщила она шоферу.

— Поешьте,— посоветовал он.

— Тогда, может, и вы?

— Я уж поел...

Дима вошел в подъезд вслед за ней и тихо, смущенно сказал:

— Простите, пожалуйста...

— Что с тобой? — спросила она с тревожным участием, будто предполагала, что он нуждается в медицинской помощи.

— Вам письмо!

— Мне?!

Он впервые разглядел ее, хотя лампочка над дверью лифта светила тускло.

Глаза были добрые, удивленные.

— Письмо?.. Мне? — Она ткнула пальцем в пуговицу пальто, из-под которого виднелся край белого халата. На голове у нее была белая медицинская шапочка, которая — Дима это давно заметил! — очень молодит женщин-докторов и всегда им к лицу.

«Все еще красивая...» — почему-то с огорчением подумал Дима. И протянул ей Володино домашнее сочинение.

— Прочтите...

— Что это? — с озорным любопытством спросила она, словно ожидала какого-то розыгрыша.

— Это письмо. Прочтите...

— Хорошо! Только поднимемся к нам,— предложила она. — А то здесь темно.

— Нет, лучше тут... — ответил ей Дима.

Его голос насторожил ее. Она раскрыла чемоданчик и достала очки.

«Лишь бы никто не вошел и не помешал ей! — думал Дима. — Лишь бы никто...» Он даже привалился спиной к двери, готовый задержать непрошеного жильца.

Она сняла очки... Белая шапочка уже не так молодила ее. Она медленно пошла вверх по лестнице, забыв, что в доме есть лифт.

— Скажите, пожалуйста... — срывающимся голосом крикнул вдогонку Дима. — Вы любили его?

Она обернулась.

— Вы любили его? — почти шепотом, изумляясь собственной храбрости, повторил он.

— Я любила его,— ответила она. Сделала несколько шагов, вновь обернулась и добавила: — И я ему навсегда благодарна.

— За что? — спросил Дима.

— За все,— тихо сказало она. — За все...

Александр Яковлевич Яшин

1913–1968

ТОЛЬКО НА РОДИНЕ

Да, только здесь, на Севере моем,
Такие дали, и такие зори,
Дрейфующие льдины в Белом море,
Игра сполóхов на небе ночном.

Нехожеными кажутся леса,
Бездонными — озерные затоны,
Неслыханными — птичьи голоса,
Невиданными — каменные склоны.

Здесь, словно в сказке, каждая тропа
Вас к роднику выводит непременно.
Здесь каждая деревня так люба,
Как будто в ней красоты всей вселенной.

И, уж конечно, нет нигде людей
Такой души, и прямоты, и силы
И девушек таких вот, строгих, милых,
Как здесь в лесах,
На родине моей.

Но если б вырос я в другом краю,
То все неповторимое,
Как чудо,
Переместилось, верно бы, отсюда
В тот край, другой,—
На родину мою.

Виктор Федорович Боков

Родился в 1914 году

* * *

Край наш — лес, да вода,
Да морошка,
Да висят невода
У окошка.

Да носами ладьи
В берег тычут,
Да тоскливо вдали
Чайки кличут.

Пахнет хвойным, лесным,
Черемшою
Да брезентом речным,
С чешуею.

Синева у осок
Гуще меда,
Так и льет на песок
С небосвода.

Где блеснет серебро —
Это рыбы.
— Эй, за сеть, за весло!
Неулыбы!

Край наш! Руки в смоле
И в рябинах!
Хлеб на нашем столе
Рос в глубинах.

РОДИНА

Милая родина!
Зори закатные,
Мачты высокие,
Голос турбин.
В золото осени
Ярко вплетаются
Флаги пунцовые,
Грозди рябин.

Я узнаю тебя
В голосе диктора,
В лязге лебедок,
Морских якорей.
В атомной станции,
В запуске спутников,
В рёве пропеллеров,
В шуме морей!

Ты вдохновенная,
Ты несравненная
В шаге, в заплыве,
В размахе крыла.
Ты — это самые
Скорые скорости,
Ты — это самые
Новые новости,
Самые лучшие
В мире дела.

Ты — это счастье
Народов безбрежное!
Ты — это самая
Светлая жизнь.
Ты от Памира с Камчаткой
До Мурмана
Вся устремленная,
Буйная, бурная,
Вся, как могучий
Порыв в коммунизм!

Радий Петрович Погодин

Родился в 1925 году

АЛФРЕД

...Деревня наша называется Светлый Бор. Другой такой деревни по красоте нет, наверное. Речка Тихоня вся блестит, будто это и не речка вовсе, а солнечный луч. Потом леса. Слышали по радио, как играет орган?[1] Словно ветер запутался между стволов, рвется вверх на простор, а сосны держат его и гудят басовито. Людям кажется, будто они всё знают про лес, а начни говорить, и выходит, нет таких слов, которые объяснят красоту леса.

Дороги в нашей деревне мягкие. Ноги грузнут по щиколотку в горячей пыли. Пыль не такая, как в городе, не летучая. Она как вода. Гуси дорогу переходят, будто плывут.

Воздух у нас ароматный, густой. Старики говорят, что из нашего воздуха можно пиво варить.

Алфред, наверное, не понимал такой красоты. Задень она его хоть легонько, все получилось бы по-другому. Алфред, наверно, никогда не видел, как цветут яблони. Словно тысячи розовых птиц опустились на ветки и колдуют там, шевеля крыльями.

У нас в деревне много садов. Развел их старый дед Улан. Когда-то давно он служил в кавалерии. С тех пор у него осталась кличка *Улан* и шрам на виске.

Годы его уже на вторую сотню перевалили. Никто не знает толком, сколько ему лет: то ли сто восемь, то ли сто десять.

На ребят у деда плохая память. Сколько их выросло на его веку — разве упомнишь! Улан нас по-своему различает. Если черные пятки, косматая голова, волосы цвета старой соломы, если мальчишка сует свой нос во все деревенские дела,— значит, Васька. Если мальчишка причесанный, в скрипучих сандалиях, на голове тюбетейка, чтобы солнцем в темя не ударило; если мальчишкины глаза смотрят на деревню с презрением и скукой,— значит, Алфред.

Всегда получается так. В начале лета Алфредов полно — приезжают из города. Ходят особняком, словно туристы с другой

---

[1] *Орга́н* — духовой клавишный инструмент, состоящий из набора деревянных и металлических труб. Звуки органа могут быть самыми разными — от еле слышного шепота до мощного, громоподобного звучания.

планеты. Под осень все городские до того пообвыкнут, такими станут Васьками – смотреть приятно. А тот, про которого я хочу рассказать, как приехал Алфредом, так и остался Алфредом. Наверно, и в городе он Алфред...

Но не могу я начать рассказ прямо с него, не заслуживает он такого почета. Лучше я расскажу сначала про наших ребят, про Степку, про Гурьку.

Степка наш, деревенский. Гурька каждое лето приезжает из Ленинграда. Сбросит свои городские ланцы – так у нас в деревне называют одежду – и ходит в одних узеньких трусиках. Старухи ему пальцами грозят, называют босяком-голоштанником. А он говорит:

– Отстали по старости лет. Нужно, чтобы кожу за лето продуло ветром насквозь, солнцем прожарило, тогда всю зиму будет тепло.

Зато Степка даже в самый жаркий день не снимает брюк: боится потерять солидность и уважение. Он немножко сутулый, словно несет на плечах что-то тяжелое.

Гурька веселый; все у него просто. Что думает, то сразу и говорит.

Есть у нас еще один человек – Любка. Мне про нее говорить трудно. Я в девчонках неважно разбираюсь, они непонятные. А эта и вовсе.

Иногда совсем на мальчишку похожа. Бегает в трусах да в майке. На прополке за ней не поспеть. Сено возить – Любка воз кладет. На возу самое трудное. И корову доить Любка умела не хуже взрослой. Ругалась так, что даже мальчишки краснели. А иногда вроде что-то найдет на нее. Напялит на себя материну кофту желтую, обмотает шею бусами из рябины, цветов в волосы натычет. Будь на дороге сто луж, она возле каждой остановится, посмотрит на свое отражение.

Мы ей говорим:

– Ну что ты в лужу глаза таращишь?

Она отвечает:

– Как я выгляжу на фоне неба?

Потом отвернется от нас и вздохнет. Может быть, она нас немножко презирала. У девчонок такое бывает. К тому же видом своим мы не очень отличались. Голоса хриплые. А разговоры...

Любка смотрит на нас, бывало, смотрит, потом головой помотает и скажет с укором:

— Глупые вы, как телята.

— А ты умная, почем горшки? — скажет ей Гурька.

Степка — тот промолчит. Только один раз он с Любкой поссорился. Это еще до Алфреда было.

Мы что делали: купались целыми днями, ходили в лес за малиной, по грибы. На сенокосе помогали, на огородах. По вечерам крали яблоки. Дед Улан вывел много сортов: скрыжапель, бельфлёр, золотая кандиль, розмарин. У нас для яблок свои названия: белый Фрол, Розмария, Золотое кадило. Что касается скрыжапели, мне наше название и писать неловко.

Кражу яблок мы не считали воровством. Крали во всех садах, кроме, конечно, колхозного,— там сторож с собакой. И еще мы не трогали яблок в саду у деда Улана. Это до нас было заведено.

Помню, сидели мы на бревнах, яблоки грызли,— до того наелись, что язык во рту будто ошпаренный.

Степка сказал:

— Эх, засадить бы всю землю фруктами, чтобы каждая кочка цвела! Была бы тогда земля веселая, вроде клумбы.

Он размахнулся, кинул яблоко в телеграфный столб. Яблоко разлетелось от удара в разные стороны, как граната.

— Правильно,— сказал Гурька. — Это при коммунизме так будет... — И тоже бросил яблоко в столб и добавил с удивлением: — Лет через двадцать так будет. Везде техника и сплошные сады. Вот черт, красотища будет, а?

Любка встала тогда и засмеялась. Ковыряет мягкую землю ногой и смеется, только не весело.

— Быстрее бы в нашей деревне клуб построили. Дороги асфальтовые. По вечерам электрические вывески, как северное сияние. Я читала, в будущем вместо деревень построят агрогорода...

— Тебя туда жить не пустят,— сказал кто-то.

Любка посмотрела на нас и сказала грустно:

— Ну и пусть. Вот мне уж как с вами надоело... Я летчицей буду. Лёха, это возможно?

Она у меня спросила. Меня Лёхой зовут.

Я промолчал, только пожал плечами. Непонятная эта Любка.

Гурька ответил:

— Лети,— говорит,— по ветру. Вон гусиные перья в траве. Вставь их вместо хвоста, чтобы рулить можно было.

Мальчишки захохотали, девчонки некоторые тоже засмеялись.

Мы со Степкой лучше других знали, как тяжело Любке живется. Любкины мать и отец между собой не ладили: скандалили каждый день. Мать отца ухватом из избы вытурит, а он идет с досады в продмаг или в чайную. Потом станет под окнами своей избы и выкрикивает всякую брань. Их и в правление вызывали, штраф накладывали.

Степка сказал:

– Хватит ржать.

Он взял у Любки последнее яблоко, хотел его в столб бросить и не бросил. Возле столба стоял дед Улан. Он шевелил битые яблоки палкой, тряс бородой. Потом опустился на колени, стал выковыривать из яблок семечки. Крикнул нам:

– Идите подсобляйте... Ишь, сердца у человека нет, сколько фруктов порушил. Жигануть бы ему в кресло-то из берданки.

Мы молчим, помогаем старику семечки выковыривать. Он немного успокоился, посветлел. Говорит:

– Мы их в землю посадим. Под солнышком они как раз поспеют к тому сроку, когда у вас ребятишки народятся.

Девчонки все как одна краснеют. Мальчишки отворачиваются.

– Вот у вас,– дед показал на Степку и Любку,– может, сынок будет, Васька. Вы ему яблочко сладкое. Нет на земле фрукта радостнее, чем яблоко.

Любка вскочила, мотнула косами.

– Чтобы я за такого лохматого замуж вышла? Он ведь и слова хорошего сказать не может.

Дед посмотрел на нее, усмехнулся в бороду и пошел. Дед с вересовой[1] палкой ходит – медленно, словно прислушивается к чему-то. Станет на лугу и глядит на цветы, на травы, на солнечные блюдца под деревьями. Он как наш лес: то хмурый, то улыбнется вдруг. И все сам по себе.

Дед Улан ушел.

Степка подождал, пока все успокоятся, и сказал негромко:

– У кого крадем? У себя крадем... – и добавил: – С такими людьми погибель. Всё только и смотрят, чего бы в рот запихать, не думают, чего бы посадить.

– А ты?! – вскочила Любка. – Ты сам первый такой. И

---

[1] *Вéресовая* – от слова *вéрес*, или *вéреск*: кустарник, которым часто зарастают лесные поляны. Иногда вересом называют и можжевельник, багульник.

Гурька такой. И Леха... И все вы.

Ребята загалдели.

Глаза у Любки сузились, как у кошки.

У Степки глаза тоже щелками стали. Губы в комок.

— Замолчите все! — крикнул он. — И ты, Любка!

— А что ты командуешь?! Что вы его слушаете, лохматого! Ты на дворняжку похож!

Степка сощурился еще больше. Мы все подумали, вот он сейчас Любке затрещину отвалит. А Степка вдруг усмехнулся и сказал:

— Ладно, пусть не слушают. Пусть на дворняжку похож... Я теперь, как узнаю, кто по садам шастает, самолично расправляться буду. Все поняли? Имейте в виду.

Гурька тоже сказал:

— Я хоть и не здешний, у меня своего сада нет, но я со Степкой согласен. А на Любку эту я чихать хочу...

Мы все порешили — хватит: сады не для озорства посажены. Тем более что яблоки во всех садах одинаковые — дед Улан разводил.

Любка от нас откачнулась. Станет в сторонке, смотрит, как танцуют под гармонь взрослые девчата и парни. Нас будто и нет в деревне.

Я все это рассказал, чтобы обрисовать наших ребят. Теперь начинаю про Алфреда.

Приехал он к нам летом. Оказался нашей колхозницы родной внук. Удивительно...

В тот день, когда мы с ним познакомились, нас искусали на речке береговые осы. Степку — в губы и в глаз. У Гурьки оба уха отвисли, как отмороженные, и щека надулась. Меня хуже всех — в язык. Они свои волдыри землей потерли. От земли боль утихает. А язык землей не потрешь.

Возле деревни нас нагнал трактор «Беларусь». За рулем сидел Гурькин дядя.

— Что это вас скривило? — спросил он, сдерживая смех.

— Осы, что,— ответил Гурька.

— Хотите, солидолом намажу? — предложил Гурькин дядя.

И тут за нашими спинами кто-то сказал с усмешкой:

— Нужно диметилфтолатом мазаться, тогда не укусят.

Мы обернулись. У канавы стояла Любка и с нею незнакомый мальчишка в голубой рубашке, в трусиках с ремешком.

— Ишь ты,— сказал Гурькин дядя. — Все знаешь. — Он включил сцепление и попылил к деревне.

А незнакомый мальчишка смеется:

— Шутник этот тракторист.

— Это не тракторист, а главный инженер,— сказал Гурька.

— Хорошо,— сказал мальчишка. — Я же с вами не спорю.

Степка смотрит на них и вдруг ни с того ни с сего берет мальчишку за ворот.

— Слушай ты, Алфред. А если я тебе фотографию помну для знакомства?

Мальчишка покосился на Любку и сказал храбро:

— Не посмеешь. Я французский бокс знаю.

Он выставил перед собой кулаки и заскакал на цыпочках.

Мы с Гурькой ничего не понимаем. Что происходит? Почему Степка на этого Алфреда жмет?

— Потанцуй, потанцуй, Алфред. У меня время есть. Люблю танцы глядеть, — сказал Степка сквозь зубы. — Ну-ка, еще какую-нибудь фигуру покажи.

Мальчишка перестал прыгать, но кулаками возле подбородка водит. Степка обошел его кругом. Поинтересовался:

— Что, во французском по уху нельзя?

— Нельзя.

— Ну, так я по-русски... — Степка замахнулся. И тут Любка стала между ними.

— Не смей бить человека,— сказала она. — Отрастил кулачищи.

Тут и Гурька в разговор вступил.

— Ха,— сказал он. — Ты, Любка, задаешься очень. Не понимаю, почему тебе Степка по ушам не надает. Я бы на его месте не Алфреда, а тебя в первую очередь отхлестал.

— Руки коротки,— сказала Любка. Она повела плечом. — Дикари вы. Культуры у вас никакой. И у тебя, Гурька, хоть ты из Ленинграда.

Она кивнула Алфреду — мол, пойдем, нечего с ними связываться.

А мы еще долго стояли у поскóтины, у загородки из жердей, которой деревню обносят, чтобы скотина ночью не вырвалась, не потравила посевы.

Степка шевелил бровью над распухшим глазом. Укушенный, он казался похожим на Чингисхана.

Гурька спросил:

— Чего ты на этого типа полез?

— Не знаю... Не понравилась мне его рожа...

Но, если правду сказать, Алфред был красивый. Я знаю, с лица не воду пить. И все-таки хорошо быть красивым. Даже моя родная мать и та говорит мне иногда:

— Ужас, на кого ты похож. Посмотри на себя в зеркало. Боже мой, наказание такое!..

Зачем мне смотреть в зеркало? Пусть Любка на себя в зеркало любуется, она красивая. Я знаю — я похож на отца, и горжусь. Мой отец был на фронте. Четыре раза ранен. Шесть орденов у него. А сейчас он председатель нашего колхоза. Хоть и некрасивый.

Под вечер мы снова увидели Любку и Алфреда. Они играли в футбол.

Любка стояла в старых разломанных воротах. Раньше в эти ворота въезжали телеги, потому что за ними была кузница. Теперь кузница новая, в другом месте, кирпичная. А здесь, вокруг закопченного сруба с просевшей крышей, растет крапива — лохматая, злая собачья трава. Говорят, если из крапивы сделать носки да надеть их на себя, можно вылечиться от ревматизма. Только никто такие носки не вяжет.

Мы, конечно, остановились, любопытства ради. Может, Алфред в футбол играть горазд.

Приготавливался он к удару как мастер спорта. Положил на мяч камушек для прицела. Разбежался. Бац!.. Ловко, прямо под штангу. Он для этого ботинки надел.

Любка прыг, ноги врозь, и сидит на земле. А мячик далеко за ее спиной, в крапиве.

Алфред смеется:

— Пропустила, иди за мячом.

Любка полезла в крапиву. Посмотрели мы — у нее все ноги и руки в больших красных пупырях. Вся обожженная.

Степка молчит. У Гурьки лицо тоскливое.

— Пошли. Раз Любке нравится в крапиву лазать, пусть лазает.

Степка стоит, только зубы сильнее стиснул.

Я подошел к Алфреду.

— Ты зачем над Любкой издеваешься? Нашел себе партнера играть в футбол! Она девчонка.

— Никто над нею не издевается,— ухмыльнулся Алфред. — И не футбол это вовсе, а новая игра «Сам виноват». Пропустил мяч — полезай в крапиву. Если она возьмет, я в ворота стану. Мне в крапиву лезть придется. Все по-честному.

Алфред разбежался — бац!

Поймала Любка мячик. Прижала к груди и показывает нам язык, словно мы виноваты, что она крапивой ожглась.

Мы смотрим, что будет дальше.

Алфред в воротах растопырился. Любка поставила мяч, закусила косы зубами, разбежалась да как подденет мяч большим пальцем и тут же села. Мяч просвистел у Алфреда над головой, заскочил в самую густую крапиву.

Степка с Гурькой заулыбались. Я тоже стою — рот до ушей.

— Полезай, Алфред. Сам такую дурацкую игру придумал.

Любка посмотрела на нас исподлобья и закричала вдруг:

— Чего вам-то?! Чего вы здесь стали? Уходите!

Она поднялась с земли и поскакала на одной ноге к Алфреду. Морщится — видно, очень ушибла палец при ударе.

Алфред ее остановил. Сказал:

— Не горячись, Люба. — И пошел за мячом.

Идет, посвистывает, будто и не крапива его по ногам скребет, а, к примеру, ландыш. Взял мяч, подбросил его. Поймал там же, в крапиве.

Мы ему смотрим на ноги — ни одного волдыря. А Любка смеется. Шевелит ушибленным пальцем и смеется:

— Ну что, выкусили? Ха-ха-ха...

Мы ушли.

Потом мы Алфреда одного встретили у канавы. Алфред сидел, мыл ноги. Проведет носовым платком по ноге — сразу пена.

— У него они мылом намазанные,— догадался Гурька.

Степка сразу — к Алфреду. Спрашивает:

— Ты перед игрой намылил ноги?

— А как же,— смеется Алфред. — Что я, дурак — об крапиву шпариться?

— А Любка дура?

— Конечно, дура... Хотя и от нее польза есть: без дураков скучно.

Степка промолчал, потом спросил спокойно, даже с любопытством:

— Скажи, Алфред, что ты кушаешь?

— Странный вопрос. Тебе зачем знать?

Степка усмехнулся:

— Мне интересно, чем такие паразиты, как ты, питаются.

Алфред вскочил, опять поднес кулаки к подбородку, а сам мечет глазами направо, налево — смотрит, как удобнее убежать.

— Трое на одного?.. Посмейте только.

Степка оглядел его с ног до головы, поморщился.

У меня чесались кулаки, словно не Любка, а я сам доставал из крапивы мяч. И почему я тогда не вступил с Алфредом в драку? Вы думаете, я его французского бокса испугался? Нет.

На следующий день я их опять вместе увидел. Я просто так ходил, прогуливался. Подошел к Любкиному дому и увидел. Через дорогу от них малина росла. Кусты молодые, ягод на них еще нет, зато высокие, скрывают с головой.

Любка рубила хряпу для поросят. Хряпа — это зеленые капустные листья. Рубят их сечкой в деревянном корыте. Потом намешают туда отрубей, хлебных корок, остатки каши, зальют теплой водицей — и готова поросячья еда.

Сечка в Любкиных руках — как игла в швейной машинке, не уследишь. Строчит вверх, вниз. Идет из одного края корыта к другому. Любка ловкая.

Алфред стоит рядом, наблюдает. Потом вытер руки.

— Давай я.

— Испачкаешься,— ответила Любка. — Чего уж тебе нашим делом мараться.

— Наплевать, если испачкаюсь. Я сейчас тебе покажу, как нужно рубить.

Любка протянула ему сечку.

— На,— говорит,— Шурик, руби.

Оказывается, Алфреда Шуриком зовут. Ишь ты, думаю, Шурик. Ишь ты, думаю, какая Любка стала вежливая. Раньше она все лето босиком бегала, как все. Пятки черные, с трещинами. Только в косах у нее всегда были яркие ленты. А сейчас на ней туфли с пуговками. Правда, ленты в волосах те же. Не придумали еще лент ярче Любкиных.

Алфред подошел к корыту, поднял ногу на край, чтоб оно не колыхалось. Размахнулся тяпкой — бац! Тяпка воткнулась в деревянное дно — ни туда, ни сюда.

— Ты не так сильно,— подсказала Любка. — Давай я покажу, как надо. Ты силу не применяй.

— Это пробный удар,— проворчал Алфред.

Я стою за кустом, и досада у меня и злость. Не умеешь — спроси. Люди научат.

Алфред поднял сечку да как застрекочет быстро-быстро, и всё по одному месту.

— Ты сечку веди,— говорит Любка.

— Не учи, сам знаю.

Алфред размахнулся опять и — тяп по своей ноге. Даже мне за кустом стало не по себе, будто я его нарочно под локоть толкнул.

Алфред сразу на землю сел. Уцепился за ногу, стучит зубами.

— Ой, ой-ой-ой!.. — Потом схватил тяпку да как швырнет ее в сторону.

Любка стоит неподвижно, только ресницы вздрагивают. А с Любкиных ресниц на Любкин нос сыплются крупные слезы. Она всегда боялась крови. Когда я весной руку об колючую проволоку рассадил, Любка ревела. Даже не подошла ко мне руку платком перевязать. У нее от крови кружится голова. Пришлось мне тогда платок зубами затягивать. Ну, думаю, кажется, пришла пора вылезать из кустов. Алфред не Алфред, а помощь оказать нужно. Может быть, у него сильное кровотечение. И вдруг Любка опустилась на колени, бормочет:

— Снимай сандаль, Шурик...

Алфред зубами стучит. Между пальцами бежит кровь.

Любка зажмурилась, сняла с его ноги сандалию и носок. Залепила ранку подорожником. Побежала в дом, принесла ковшик воды, бутылочку липок и чистую холщовую тряпку.

Липки у нас в деревне в каждой избе есть. Наберут бабушки ранней весной березовых почек, настоят на водке — вот и все снадобье. Липками его называют потому, что почки по весне прилипают к рукам. Лист оттуда едва свой зеленый гребешок показал, а запаху от него полна улица.

Любка промыла водой Алфредову ногу, плеснула из бутылочки прямо на ранку.

Алфред завыл,— липки почище йода дерут.

— Тише, тише, это сейчас пройдет,— успокаивает его Любка, а сама бинтует ногу тряпицей.

Алфред встал, попрыгал на одной ноге. Любка ему подала сандалию. На сандалии ремешок разрублен. Я думаю, если бы не этот ремешок, не скакал бы Алфред. Ремешок ему ногу спас.

Алфред схватил сандалию, швырнул прочь.

— Что ты мне ее даешь? Куда она теперь годна? Из-за тебя такую сандалию испортил.

Любка снова подняла Алфредову сандалию. Говорит:

— Ее очень просто починить. Только ремешок зашить,— а сама чуть не плачет.

— Ну и зашивай! — крикнул Алфред. — Все равно она уже не новая будет, а зашитая.

Если бы на Любкином месте был я, я бы Алфреду этой сандалией по башке. А Любка стоит, опустила голову, как виноватая. И так мне стало обидно, что вылез я из малинника и ушел. Чтобы не идти по улице мимо проклятого Алфреда, я пролез в сад. Пошел прямо садом.

Яблоки на ветвях висят. Я к ним без внимания. Кислые еще. Прямо скажу, не смотрел на яблоки даже. И напрасно меня дядя Николай, Любкин отец, за уши отодрал,— не рвал я его яблок.

* * *

Несколько дней мы не встречали ни Алфреда, ни Любки, потому что занялись делом.

Колхоз отдал нам старенький трактор «Беларусь» и старую кузницу. Мы ее вычистили, подлатали крышу. Крапиву во дворе скосили. Земля пахла древесным углем и железом. Хорошо. Зеленая трава, синее небо, черная кузница и красный трактор на высоких колесах. Красиво.

Первая работа была такая: мы возили навоз со скотного двора к парникам. Нагрузили две платформы и тянем. Эту работу Степка сам попросил у председателя. Нам он сказал:

— Кто не хочет,— значит, не хочет. В сельском хозяйстве нет работ чистых и грязных.

Никто не отказался. Подумаешь, навоз. Сходим на речку, вымоемся с мылом.

Настала моя очередь вести трактор.

Едем по улице. Я впереди на тракторе. Остальные своим ходом, горланят песни, шумят. Я смотрю — Любка стоит на краю дороги в туфельках, в носочках. Одна, без Алфреда. Я сразу отвернулся, будто не замечаю ее. Сам думаю: смотри, как я на тракторе еду. А Любка приложила руку к губам и крикнула:

— Эй ты, Леха, жук навозный, чего нос задрал?!

Я будто не слышу.

— Чего же ты, Любка, к нам не идешь? — спросил Степка. — Мы, видишь, трактор получили. Видишь, работаем.

— Ну и работайте. От работы кони дохнут... — Любка тряхнула головой, ленты у нее в косах вспыхнули начищенной оранжевой медью. Любка зажала нос пальцами: — Фу... Фу... Дышать нельзя. Нашли себе наконец занятие. В самый раз, по культуре.

— Ишь какая благородная! — загалдели ребята. — Будто у нее коровы нет.

Степка их остановил, говорит спокойно, даже как будто просит:

— Нам после этой работы другую дадут. Хочешь трактор посмотреть?

— А какое мне дело? — ответила Любка. — Работа дураков любит.

— Ой, Любка, с чужого голоса ты поешь!

Любка опустила голову, сказала тихо:

— Вы и без меня справитесь. Вон вас сколько. Я вам и не нужна, поди-ка...

Степка у нее тоже тихо спросил:

— Что это с тобой приключилось, Любка?

— Да ничего с ней не приключилось! Влюбилась в своего Алфреда! — выкрикнул Гурька и засмеялся.

Я поднялся с сидения, чтобы лучше видеть. Мне очень хотелось, чтобы Любка полезла в драку. Она это может. А она отвернулась и побежала в проулок.

— Влюбилась! — заорали ребята. — Алфредова невеста!

— Влюбилась!..

Я тоже закричал. Только Степка не произнес ни слова. Подошел ко мне, ткнул меня кулаком в ногу.

— Чего надрываешься? Трогай.

Потом мы возили жерди к реке. Там строили загон для свиней и обносили его жердями. Потом мы возили песок, солому — все, что нам было под силу.

Яблоки в садах зрели. Зрела наша ненависть к Алфреду. Почему мы его так ненавидели? Я и сейчас еще толком не понимаю. Кажется, лично нам он не делал никаких гадостей.

Он купался целыми днями, разъезжал с Любкой на велосипеде, валялся в гамаке, удил рыбу. Когда мы приходили на речку смыть свой рабочий пот и пыль, он удалялся, насвистывая, при-

чем на нас даже не глядел. А однажды, когда Степан наступил на его рубаху, сказал даже:

– Извините, я хочу взять рубашку.

В другой раз, когда Гурька, нырнув, привязал его леску к коряге, он просто отрезал ее ножом и ушел, улыбаясь.

Любка, завидев нас, переходила на другую сторону улицы или сворачивала в проулок.

Может быть, так вот и лето прошло бы, но случилась одна история.

Рано утром мы все лежали у кузницы, возле своего трактора, ждали, когда придет из колхозного правления Степка, принесет наряд на работу. Утреннее солнце клонило в сон. Оно будто водит перышком по щекам. Я заметил: если лежишь на солнце, ничего не делая, всегда хочется подремать.

Вдруг все ребята подняли головы. К кузнице шел дед Улан. Одной рукой он опирался на свою вересовую палку, а другой тащил здоровенный яблоневый сук. Он тащил сук с трудом. Коленки у него тряслись, голова вздрагивала.

Дед обвел нас взглядом, словно выискивал кого-то.

– Турки вы,– сказал дед. – Турки... алфреды...

К кузнице подошел Степка. Он увидел яблоневый сук у деда в руках и сразу понял, в чем дело.

– Дед, это не мы,– сказал он.

Улан отпихнул его палкой.

– Отойди... Турки вы,– бормотал он. – Пустое вы семя. Полова[1]...

Дед заплакал. Старый уже был человек. Даже отлупить нас у него не было силы. Мы бы не сопротивлялись, пусть лупит. А он повернулся и пошел прочь. Старается идти быстро. Ноги его не слушаются, только трясутся пуще, а шага не прибавляют.

– Кто? – спросил Степка.

Ребята молчат.

Степка еще раз спросил:

– Кто? – потом начал допытывать поименно.

Гурька рассердился, закричал:

– Ты что за прокурор? Говорят, не лазили – значит, не лазили. Кто к Улану полезет?

---

[1] *Поло́ва* (или *мяки́на*) – остатки от колосьев, листьев, зерен после обмолота.

— Никто,— согласился Степка. — Не было еще, чтобы к Улану в сад лазили.

И тут Гурька догадался:

— Алфред!

— Алфред! — зашумели ребята. — Айда!

Степка всех остановил.

— Куда? Нужно его с поличным захватить.

«Ух, Алфред, тяжко тебе придется»,— подумал я.

Целый день мы отработали на своем «Беларусе» — возили торф. А вечером все разошлись по садам караулить Алфреда. Мы со Степкой полезли к деду Улану.

Просидели до темноты.

Ночи у нас тихие — слышно, как бревна потрескивают в стенах, остывая; как коровы жуют жвачку, а куры на шестах чешутся. Слышно, как далеко-далеко гудит паровоз, будто тонкой петлей стягивает сердце, и замирает оно от того крика. Я даже песни сочинять стал:

Вы, Алфреды, гады,
Вы, Алфреды, паразиты,
Нет для вас пощады...

В этот вечер в садах было все покойно, и в следующий тоже. Зато на третий вечер, слышим, раздвигаются в плетне прутья и кто-то нас тихо кличет:

— Эй!..

Мальчишка, Игорек, совсем маленький, сын колхозного конюха, просунул голову в Уланов сад, шепчет:

— Эй!.. Бежим, я Алфреда углядел.

Мы через плетень, как козлы,— одним махом.

Игорек бежит между нами. Шуршит что-то. Нам некогда слушать. Степка от нетерпения подхватил его на закорки. Пролезли мы через Игорьков двор к проулку. Игорек доску в заборе отодвинул, показывает:

— Вот он, Алфред, глядите.

Нам в щелку виден весь проулок. Луна светит. Возле плетня в тени притаился Алфред, стоит тихо. А сад-то... Степкин.

Степка кулаки сжал.

— Выжидает, гадюка... Беги, зови ребят.

Скоро в Игорьковом дворе собралась толпа. Стоим, ждем, когда Алфред в сад полезет. Некоторые даже приговаривают:

— Ну, полезай же ты, Алфред несчастный.

И вдруг через забор из сада кто-то спрыгнул.

Любка?

Так и есть — она. Вытащила из-за пазухи яблоко и протянула. Алфред прислонился к плетню, жрет яблоко и что-то шепчет Любке и хихикает.

И тут мы все сразу через забор, чуть им не на головы.

— Стойте, голубчики!

Алфред уронил яблоко, глазами туда, сюда. Мы стоим плотно — не удерешь!

Степка взял Алфреда за горло.

— Ты у деда Улана яблоню сломал?.. — Степка выругался и оглянулся на Любку, забормотал что-то: неловко ему стало за свою брань.

И я смотрю на Любку. В темноте все люди кажутся бледными. А Любкино лицо сейчас белее зубов. Платье у нее перетянуто пояском. За пазухой яблоки.

Степка еще раз тряхнул Алфреда:

— Говори, ты у деда Улана яблоню потравил?

— Ничего я не знаю,— пробормотал Алфред. — Я не вор. Я не лазаю по садам!

Степка поднял руку, чтобы ударить. Алфред вцепился в его кулак.

— А за что ты меня хочешь бить? Ты Любку бей. Она к деду Улану лазала. И сюда тоже ведь она... — Алфред метнулся к Любке, рванул ее за поясок.

Яблоки посыпались к Любкиным ногам, будто ветку тряхнули. Большие яблоки, отборные.

— Что же ты ее не ударишь? — сказал Алфред. Он обвел нас глазами, подмигивая и кривя рот.

— Эй вы, я знаю, почему он Любку не бьет. Он...

— Эх... — Степка ударил, и Алфред ткнулся носом прямо в эти яблоки.

Я подошел к Любке.

— Ты зачем на яблоню лазишь? Ведь договаривались.

— А тебе что? — сказала она глухо. — Бейте...

Любка стояла не двигаясь, даже пояска не подняла.

Гурька подошел к ней.

— Думаешь, любоваться тобой будем? Пришла пора...

И тут Степка бросился к Любке. Он побледнел сильнее, чем она, поднял кулаки, готовый подраться со всеми нами.

— Ага,— поднимаясь с земли и вытирая лицо, проверещал Алфред. — Он влюблен в эту Любку! Ха-ха!..

Любка молчала, потом едва слышно произнесла:

— Пустите меня.

Мы расступились. Я поднял Любкины туфли (они лежали в траве у плетня), сунул их ей в руку. Она взяла и пошла по проулку.

Мы смотрели ей вслед. Любка будто почувствовала это. Обернулась.

— Ребята... — она прижала к лицу белые носочки, заплакала.

Мы словно очнулись.

— Бей гада! — крикнул Гурька...

Вот и вся история. Хочу только добавить: с тех пор нет в нашей деревне слова обиднее, чем «Алфред».

Юрий Павлович Казаков

1927–1982

ТИХОЕ УТРО

Еще только-только прокричали сонные петухи, еще темно было в избе, мать не доила коровы и пастух не выгонял стадо в луга, когда проснулся Яшка.

Он сел на постели, долго таращил глаза на голубоватые потные окошки, на смутно белеющую печь. Сладок предрассветный сон, и голова валится на подушку, и глаза слипаются, но Яшка переборол себя. Спотыкаясь, цепляясь за лавки и стулья, стал бродить по избе, разыскивая старые штаны и рубаху.

Поев молока с хлебом, Яшка взял в сенях удочки и вышел на крыльцо. Деревня, будто большим пуховым одеялом, была укрыта туманом. Ближние дома были еще видны, дальние едва проглядывали темными пятнами, а еще дальше, к реке, уже ничего не было видно, и, казалось, никогда не было ни ветряка на горке, ни пожарной каланчи, ни школы, ни леса на горизонте... Все исчезло, притаилось сейчас, и центром маленького замкнутого мира оказалась Яшкина изба.

Кто-то проснулся раньше Яшки, стучал возле кузницы молотком; чистые металлические звуки, прорываясь сквозь пелену тумана, долетали до большого невидимого амбара и возвраща-

лись оттуда уже ослабленными. Казалось, стучат двое: один погромче, другой потише.

Яшка соскочил с крыльца, замахнулся удочками на подвернувшегося под ноги петуха и весело затрусил к риге[1]. У риги вытащил из-под доски ржавый косарь[2] и стал рыть землю. Почти сразу же начали попадаться красные и лиловые холодные червяки. Толстые и тонкие, они одинаково проворно уходили в рыхлую землю. Но Яшка все-таки успевал выхватывать их и скоро набросал почти полную банку. Подсыпав червякам свежей земли, он побежал вниз по тропинке, перевалился через плетень и задами пробрался к сараю, где на сеновале спал его новый приятель — Володя.

Яшка заложил в рот испачканные землей пальцы и свистнул. Потом сплюнул и прислушался. Было тихо.

— Володька! — позвал он. — Вставай!

Володя зашевелился на сене, долго возился и шуршал там, наконец неловко слез, наступая на незавязанные шнурки. Лицо его, измятое после сна, было бессмысленно и неподвижно, как у слепого, а в волосы набилась сенная труха; она же, видимо, попала ему и за рубашку, потому что, стоя уже внизу, рядом с Яшкой, он все дергал тонкой шеей, поводил плечами и почесывал спину.

— А не рано? — сипло спросил он, зевнул и, покачнувшись, схватился рукой за лестницу.

Яшка разозлился: он встал на целый час раньше, червяков накопал, удочки притащил... а если по правде говорить, то и встал-то он сегодня из-за этого... заморыша — хотел места рыбные ему показать,— и вот вместо благодарности и восхищения — «рано»!

— Для кого рано, а для кого и не рано! — зло ответил он и с пренебрежением осмотрел Володю с головы до ног.

Володя выглянул на улицу, лицо его оживилось, глаза заблестели, он начал торопливо зашнуровывать ботинки. Но для Яшки вся прелесть утра была уже отравлена.

— Ты что, в ботинках пойдешь? — презрительно спросил он и

---

[1] *Ри́га* — крытое строение с печью для сушки льна или хлеба в снопах; иногда ригой называют обычный сарай.

[2] *Коса́рь* — здесь: большой тяжелый нож, который делается из обломка косы и употребляется обычно для щепления лучины.

посмотрел на оттопыренный палец своей босой ноги. — А галоши наденешь?

Володя промолчал, покраснел и принялся за другой ботинок.

— Ну да,— меланхолично продолжал Яшка, ставя удочки к стене,— у вас там, в Москве, небось, босиком не ходят...

— Ну и что? — Володя снизу посмотрел в широкое насмешливо-злое лицо Яшки.

— Да ничего... Забежи домой — пальто возьми...

— Ну и забегу! — сквозь зубы ответил Володя и еще больше покраснел.

Яшка заскучал. Зря он связался со всем этим делом... На что уж Колька да Женька Воронковы рыбаки, а и те признают, что лучше его нет рыболова во всем колхозе. Только отведи на место да покажи — яблоками засыплют! А этот... пришел вчера, вежливый: «Пожалуйста, пожалуйста»... Дать ему по шее, что ли? Надо было связываться с этим москвичом, который, наверно, и рыбы в глаза не видал! Идет на рыбалку в ботинках!..

— А ты галстук надень,— съязвил Яшка и хрипло засмеялся. — У нас рыба обижается, когда к ней без галстука суешься.

Володя наконец справился с ботинками и, подрагивая от обиды ноздрями и глядя прямо перед собой невидящим взглядом, вышел из сарая. Он готов был отказаться от рыбалки и тут же разреветься, но он так ждал этого утра! За ним нехотя вышел Яшка, и ребята молча, не глядя друг на друга, пошли по улице. Они шли по деревне, и туман отступал перед ними, открывая все новые и новые дома, и сараи, и школу, и длинные ряды молочно-белых построек фермы... Будто скупой хозяин, он показывал все это только на минуту и потом снова плотно смыкался сзади.

Володя жестоко страдал. Он сердился на себя за грубые ответы Яшке, сердился на Яшку и казался сам себе в эту минуту неловким и жалким. Ему было стыдно своей неловкости, и, чтобы хоть как-нибудь заглушить это непонятное чувство, он думал, ожесточаясь: «Ладно, пусть... Пускай издевается. Они меня еще узнают, я не позволю им смеяться! Подумаешь, велика важность — босиком идти! Воображалы какие!» Но в то же время он с откровенной завистью и даже с восхищением поглядывал на босые Яшкины ноги, на холщовую сумку для рыбы и на залатанные, надетые специально на рыбную ловлю штаны и серую рубаху. Он завидовал и Яшкиному загару, и той особенной походке, при которой шевелятся плечи и лопатки и даже уши и

которая у многих деревенских ребят считается особенным шиком. Проходили мимо колодца со старым, поросшим зеленью срубом.

— Стой! — сказал хмуро Яшка. — Попьем!

Он подошел к колодцу, загремел цепью и, вытащив тяжелую бадью с водой, жадно приник к ней. Пить ему не хотелось, но он считал, что лучше этой воды нигде нет, и поэтому каждый раз, проходя мимо колодца, пил ее с огромным наслаждением. Вода, переливаясь через край бадьи, плескала ему на босые ноги, он поджимал их, но все пил и пил, изредка отрываясь и шумно дыша.

— На, пей! — сказал он наконец Володе, вытирая рукавом губы.

Володе тоже не хотелось пить, но чтобы еще больше не рассердить Яшку, он послушно припал к бадье и стал тянуть воду мелкими глоточками, пока от холода у него не заломило в затылке.

— Ну, как водичка? — самодовольно осведомился Яшка, когда Володя отошел от колодца. — Небось, в Москве такой нету? — ядовито прищурился Яшка.

Володя ничего не ответил, только втянул сквозь сжатые зубы воздух и примиряюще улыбнулся.

— Ты ловил ли рыбу-то? — спросил Яшка.

— Нет... Только на Москве-реке видел, как ловят,— упавшим голосом сознался Володя и робко взглянул на Яшку.

Это признание несколько смягчило Яшку, и он, пощупав банку с червями, сказал как бы между прочим:

— Вчера наш завклубом в Плещанском бочаге[1] сома видал...

У Володи заблестели глаза:

— Большой?

— А ты думал! Метра два... А может, и все три — в темноте не разобрать было. Наш завклубом аж перепугался, думал — крокодил. Не веришь?

— Врешь! — восторженно выдохнул Володя и подернул плечами; по его глазам было видно, что верит он всему безусловно.

Яшка изумился:

— Я вру? Хочешь, айда сегодня вечером ловить! Ну?

---

[1] *Боча́г* — глубокая яма, залитая водой, или омут в реке; бочагом называют иногда и остаток пересохшей реки.

— А можно? — с надеждой спросил Володя, и уши его порозовели.

— А чего... — Яшка сплюнул, вытер нос рукавом. — Снасть у меня есть. Лягвы, вьюнов наловим... Выползков захватим — там голавли еще водятся — и на две зари! Ночью костер запалим... Пойдешь?

Володе стало необыкновенно весело, и он только теперь почувствовал, как хорошо выйти утром из дому. Как славно и легко дышится, как хочется побежать по этой мягкой дороге, помчаться во весь дух, подпрыгивая и взвизгивая от восторга!

Что это так странно звякнуло там, сзади? Кто это вдруг, будто ударяя раз за разом по натянутой тугой струне, ясно и мелодически прокричал в лугах? Где это было с ним? А может, и не было? Но почему же тогда так знакомо это ощущение восторга и счастья?

Что это затрещало так громко в поле? Мотоцикл? Володя вопросительно посмотрел на Яшку.

— Трактор! — ответил важно Яшка.

— Трактор? Но почему же он трещит?

— Это он заводится. Скоро заведется... Слушай. Во-во... Слыхал? Загудел! Ну, теперь пойдет... Это Федя Костылев. Всю ночь пахал с фарами, чуток поспал и опять пошел...

Володя посмотрел в ту сторону, откуда слышался гул трактора, и тотчас спросил:

— Туманы у вас всегда такие?

— Не... Когда чисто, а когда — попоздней, к сентябрю поближе — глядишь, и инеем вдарит. А вообще в туман рыба берет — успевай таскать!

— А какая у вас рыба?

— Рыба-то? Рыба всякая... И караси на плёсах есть, щука, ну, потом эти... окунь, плотва, лещ... Еще линь. Знаешь линя? Как поросенок. То-олстый! Я сам первый раз поймал — рот разинул.

— А много можно поймать?

— Гм!.. Всяко бывает. Другой раз кило пять, а другой раз так, только кошке...

— Что это свистит? — Володя остановился, поднял голову.

— Это? Это ути летят... Чиро́чки.

— Ага! Знаю... А это что?

— Дрозды звенят. На рябину прилетели к тете Насте в огород. Ты дроздов-то ловил когда?

— Никогда не ловил.

— У Мишки Каюнёнка сетка есть. Вот погоди, пойдем ловить. Они, дрозды, жаднющие. По полям стаями летают, червяков из-под трактора берут. Ты сетку растяни, рябины набросай, затаись и жди. Как налетят, так сразу штук пять под сетку полезут... Потешные они; не все, правда, но есть толковые... У меня один всю зиму жил, так по-всякому умел: и как паровоз, и как пила...

Деревня скоро осталась позади. Бесконечно потянулся низкорослый овес, впереди еле проглядывала темная полоса леса.

— Долго еще идти? — спрашивал Володя.

— Скоро... Вот рядом. Пошли ходчée,— каждый раз отвечал Яшка.

Вышли на бугор, свернули вправо, лощиной спустились вниз, перешли тропкой через льняное поле, и тут совсем неожиданно перед ними открылась река.

Она была небольшая, густо поросла ракитником, ветлой по берегам, ясно звенела на перекатах и часто разливалась глубокими, мрачными омутами.

Солнце наконец взошло; тонко заржала в лугах лошадь, и как-то необыкновенно быстро посветлело, порозовело все вокруг; еще отчетливей стала видна седая роса на елках и кустах, а туман пришел в движение, поредел и стал неохотно открывать стога сена, темные на дымчатом фоне близкого теперь леса.

Рыба гуляла. В омутах раздавались редкие тяжкие всплески, вода волновалась, прибрежная куга[1] тихонько покачивалась.

Володя готов был хоть сейчас начать ловить, но Яшка шел все дальше берегом реки. Они почти по пояс вымокли в росе, когда наконец Яшка шепотом сказал: «Здесь!» — и стал спускаться к воде. Нечаянно он оступился, влажные комья земли посыпались из-под его ног, и тотчас же, невидимые, закрякали утки, заплескали крыльями, взлетели и потянулись над рекой, пропадая в тумане. Яшка съежился и зашипел как гусь. Володя облизнул пересохшие губы и спрыгнул вслед за Яшкой вниз. Оглядевшись, он поразился мрачности, которая царила в этом омуте. Пахло сыростью, глиной и тиной, вода была черная, ветлы в буйном росте почти закрыли все небо, и, несмотря на то что верхушки их уже порозовели от солнца, а сквозь туман было

---

[1] *Ку́га*, или *осо́ка* — болотное растение.

видно синее небо, здесь, у воды, было сыро, угрюмо и холодно.

— Тут, знаешь, глубина какая? — Яшка округлил глаза. — Тут и дна нету...

Володя немного отодвинулся от воды и вздрогнул, когда у противоположного берега гулко ударила рыба.

— В этом бочаге у нас никто не купается...

— Почему? — слабым голосом спросил Володя.

— Засасывает... Как ноги опустил вниз, так всё... Вода — как лед, и вниз утягивает. Мишка Каюнёнок говорил — там осьминоги на дне лежат.

— Осьминоги только... в море,— неуверенно сказал Володя и еще отодвинулся.

— «В море!»... Сам знаю! А Мишка видал! Пошел на рыбалку, идет мимо, глядит — из воды щуп, и вот по берегу шарит... Ну? Мишка аж до самой деревни бёг! Хотя, наверно, он врет, я его знаю,— несколько неожиданно заключил Яшка и стал разматывать удочки.

Володя приободрился, а Яшка, уже забыв про осьминогов, нетерпеливо поглядывал на воду, и каждый раз, когда шумно всплескивала рыба, лицо его принимало напряженно-страдальческое выражение.

Размотав удочки, он передал одну из них Володе, отсыпал ему в спичечную коробку червей и глазами показал место, где ловить.

Закинув насадку, Яшка, не выпуская из рук удилища, нетерпеливо уставился на поплавок. Почти сейчас же закинул свою насадку и Володя, но зацепил при этом удилищем за ветлу. Яшка страшно взглянул на Володю, выругался шепотом, а когда перевел взгляд опять на поплавок, то вместо него увидел только легкие расходящиеся круги. Яшка тотчас с силой подсек, плавно повел рукой вправо, с наслаждением почувствовал, как в глубине упруго заходила рыба, но напряжение лески вдруг ослабло, и из воды, чмокнув, выскочил пустой крючок. Яшка задрожал от ярости.

— Ушла, а? Ушла... — пришепётывал он, надевая мокрыми руками нового червя на крючок.

Снова забросил насадку и снова, не выпуская из рук удилища, неотрывно смотрел на поплавок, ожидая поклёвки. Но поклевки не было, и даже всплесков не стало слышно. Рука у Яшки устала, и он осторожно воткнул удилище в мягкий берег. Володя посмотрел на Яшку и тоже воткнул свое удилище.

Солнце, поднимаясь все выше, заглянуло наконец и в этот мрачный омут. Вода сразу ослепительно засверкала, и загорелись капли росы на листьях, на траве и на цветах. Володя, жмурясь, посмотрел на свой поплавок, потом оглянулся и неуверенно спросил:

— А что, может рыба в другой бочаг уйти?

— Ясное дело! — злобно ответил Яшка. — Та сорвалась и всех распугала. И здоровая, верно, была... Я как дернул, так у меня руку сразу вниз потащило! Может, на кило потянула бы.

Яшке немного стыдно было, что он упустил рыбу, но, как часто бывает, вину свою он склонен был приписать Володе. «Тоже мне рыбак! — думал он. — Сидит раскорякой... Один ловишь или с настоящим рыбаком — только успевай таскать...» Он хотел чем-нибудь уколоть Володю, но вдруг схватился за удочку: поплавок чуть шевельнулся. Напрягаясь, будто дерево с корнем вырывал, он медленно вытащил удочку из земли и, держа ее на весу, чуть приподнял вверх. Поплавок снова качнулся, лег на бок, чуть подержался в таком положении и опять выпрямился. Яшка перевел дыхание, скосил глаза и увидел, как Володя, побледнев, медленно приподнимается. Яшке стало жарко, пот мелкими капельками выступил у него на носу и верхней губе. Поплавок опять вздрогнул, пошел в сторону, погрузился наполовину и, наконец, исчез, оставив после себя заметный завиток воды. Яшка, как и в прошлый раз, мягко подсек и сразу подался вперед, стараясь выпрямить удилище. Леска с дрожащим на ней поплавком вычертила кривую, Яшка привстал, перехватил удочку другой рукой и, чувствуя сильные и частые рывки, опять плавно повел руками вправо. Володя подскочил к Яшке и, блестя отчаянными круглыми глазами, закричал тонким голосом:

— Давай, давай, дава-ай!..

— Уйди! — просипел Яшка, пятясь, часто переступая ногами.

На мгновение рыба вырвалась из воды, показала свой сверкающий широкий бок, туго ударила хвостом, подняла фонтан розовых брызг и опять ринулась в холодную глубину. Но Яшка, уперев комель удилища в живот, все пятился и кричал:

— Врешь, не уйде-ошь!..

Наконец он подвел упирающуюся рыбу к берегу, рывком выбросил ее на траву и сейчас же упал на нее животом. У Володи пересохло горло, сердце неистово колотилось.

— Что у тебя? — присев на корточки, спрашивал он. — Покажи, что у тебя?

— Ле-ещ! — с упоением выговорил Яшка.

Он осторожно вытащил из-под живота большого холодного леща, повернул к Володе свое счастливое широкое лицо, сипло засмеялся было, но улыбка его внезапно пропала, глаза испуганно уставились на что-то за спиной Володи, он съежился, ахнул:

— Удочка-то... Глянь-ка!

Володя обернулся и увидел, что его удочка, отвалив ком земли, медленно сползает в воду и что-то сильно дергает леску. Он вскочил, споткнулся и, на коленях подтянувшись к удочке, успел схватить ее. Удилище сильно согнулось. Володя повернул к Яшке круглое бледное лицо.

— Держи! — крикнул Яшка.

Но в этот момент земля под ногами у Володи зашевелилась, подалась, он потерял равновесие, выпустил удочку, нелепо, будто ловя мяч, всплеснул руками, звонко крикнул: «Ааа!» — и упал в воду.

— Дурак! — сипло закричал Яшка, злобно и страдальчески искривив лицо. — Недотепа чертова!.. Рыбу распуга-ал...

Он вскочил, схватил ком земли с травой, готовясь швырнуть в лицо Володе, как только он вынырнет. Но, взглянув в воду, он замер, и у него появилось то томительное чувство, которое испытываешь во сне, когда вялое тело не подчиняется сознанию: Володя в трех метрах от берега бил, шлепал по воде руками, запрокидывал к небу белое лицо с выпученными глазами, захлебывался и, окунаясь в воду, все силился что-то крикнуть, но в горле у него клокотало и получалось: «Уаа... Уа...»

«Тонет! — с ужасом подумал Яшка. — Утягивает!» Бросил комок земли, которым хотел ударить Володю, и, вытирая липкую руку о штаны, не отрывая глаз от него и чувствуя слабость в ногах, попятился вверх, прочь от воды. На ум ему сразу пришел рассказ Мишки о громадных осьминогах на дне бочага, в груди и животе стало холодно от ужаса: он понял, что Володю схватил осьминог... Земля сыпалась у него из-под ног, он упирался трясущимися руками и, совсем как во сне, неповоротливо и тяжело лез вверх.

Наконец, подгоняемый страшными звуками, которые издавал Володя, Яшка выскочил на луг, кинулся к деревне, но, не

пробежав и десяти шагов, остановился, будто споткнувшись, чувствуя, что убежать никак нельзя: поблизости не было никого, и некому было крикнуть о помощи... Яшка судорожно шарил в карманах и в сумке в поисках хоть какой-нибудь бечевки и, не найдя ничего, бледный, стал подкрадываться к бочагу. Подойдя к обрыву, он заглянул вниз, ожидая увидеть страшное, и в то же время надеясь, что все как-то обошлось, и опять увидел Володю. Володя теперь уже не бился, он почти весь скрылся под водой, только макушка с торчащими волосами была еще видна... Она скрывалась и опять показывалась, скрывалась и показывалась... Яшка, не отрывая взгляда от этой макушки, начал расстегивать штаны, потом вскрикнул и скатился вниз. Высвободившись из штанов, он, как был, в рубашке и с сумкой через плечо, прыгнул в воду, в два взмаха подплыл к Володе, схватил его за руку.

Володя сразу же вцепился в Яшку, стал быстро-быстро перебирать руками, цепляясь за рубашку и сумку, наваливаться на него, по-прежнему выдавливая из себа нечеловеческие, страшные звуки: «Уаа... Уааа...» Вода хлынула Яшке в рот. Чувствуя у себя на шее мертвую хватку, он попытался выставить из воды свое лицо, но Володя, дрожа мелкой дрожью, все карабкался на него, наваливаясь всей тяжестью, старался влезть на плечи. Яшка захлебнулся, закашлялся, задыхаясь, глотая воду, и тогда дикий, небывалый ужас охватил его, в глазах с ослепительной силой вспыхнули красные и желтые круги. Он понял, что Володя утопит его, что пришла его смерть. Он дернулся из последних сил, забарахтался, закричал так же нечеловечески страшно, как кричал Володя минуту назад, ударил Володю ногой в живот, вынырнул и сквозь бегущую с волос воду увидел яркий сплющенный шар солнца. Чувствуя еще на себе тяжесть Володи, он оторвал, сбросил его с себя, замолотил по воде руками и ногами и, поднимая буруны пены, в ужасе бросился к берегу.

И только ухватившись рукой за прибрежную осоку, он опомнился и посмотрел назад. Взбаламученная вода в омуте успокаивалась, и никого уже не было на ее поверхности. Из глубины весело выскочило несколько пузырьков воздуха, и у Яшки застучали зубы.

Он оглянулся: ярко светило солнце, и листья кустов и ветлы блестели, и радужно светилась паутина между цветами, и трясогузка сидела вверху, на бревне, покачивала хвостом и блестящим глазом смотрела на Яшку, и всё было так же, как и всегда, всё

дышало покоем и тишиной, и стояло над землей тихое утро, а между тем вот только сейчас, совсем недавно, случилось небывалое — только что утонул человек, и это он, Яшка, ударил, утопил его...

Яшка моргнул, отпустил осоку, повел плечами под мокрой рубашкой, глубоко, с перерывами, вдохнул воздух и нырнул. Открыв под водой глаза, он не мог сначала ничего разобрать: кругом дрожали неясные желтоватые и зеленоватые блики и какие-то травы, освещенные солнцем. Но свет солнца не проникал туда, в глубину... Яшка опустился еще ниже, проплыл немного, задевая руками и лицом за травы, и тут увидел Володю. Володя держался на боку, одна нога его запуталась в траве, а сам он медленно поворачивался, покачиваясь, подставляя солнечному свету круглое бледное лицо и шевеля левой рукой, словно пробуя на ощупь воду. Яшке показалось, что Володя притворяется и нарочно покачивает рукой, что он следит за ним, чтобы схватить, как только он дотронется до него.

Чувствуя, что сейчас задохнется, Яшка рванулся к Володе, схватил его за рубашку, зажмурился, торопливо дернул тело Володи вверх и удивился, как легко и послушно Володя последовал за ним. Вынырнув, он жадно задышал, и теперь ему ничего не нужно и не важно было, кроме как дышать и чувствовать, как грудь раз за разом наполняется удивительно чистым и сладким воздухом.

Не выпуская Володиной рубашки, он стал подталкивать его к берегу. Плыть было тяжело. Почувствовав дно под ногами, Яшка положил Володю грудью на берег, лицом в траву, тяжело вылез сам и вытащил Володю. Он вздрагивал, касаясь холодного тела, глядя на мертвое, неподвижное лицо, торопился и чувствовал себя таким усталым, таким несчастным...

Перевернув Володю на спину, он стал разводить его руки, давить на живот, дуть в нос. Он запыхался и ослабел, а Володя был все такой же белый и холодный. «Помер?» — с испугом подумал Яшка, и ему стало очень страшно. Убежать бы куда-нибудь, спрятаться, чтобы только не видеть этого равнодушного, холодного лица!

Яшка всхлипнул от ужаса, вскочил, схватил Володю за ноги, вытянул, насколько хватило сил, вверх и, побагровев от натуги, начал трясти. Голова Володи билась по земле, волосы свалялись от грязи. И в тот самый момент, когда Яшка, окончательно обес-

силев и упав духом, хотел бросить все и бежать куда глаза глядят,— в этот самый момент изо рта Володи хлынула вода, он застонал и судорога прошла по телу. Яшка выпустил Володины ноги, закрыл глаза и сел на землю.

Володя оперся слабыми руками, привстал, точно собирался немедленно куда-то бежать, но снова повалился, снова зашелся судорожным кашлем, брызгаясь водой и корчась на сырой траве.

Яшка отполз в сторону и расслабленно смотрел на Володю. Никого сейчас не любил он больше Володи, ничто на свете не было ему милее этого бледного, испуганного и страдающего лица. Робкая, влюбленная улыбка светилась в глазах Яшки, с нежностью смотрел он на Володю и бессмысленно спрашивал:

— Ну как? А? Ну как?..

Володя немного оправился, вытер рукой лицо, взглянул на воду и незнакомым, хриплым голосом, с заметным усилием, заикаясь, выговорил:

— Как я... то-нул...

Тогда Яшка вдруг сморщился, зажмурился, из глаз у него брызнули слезы, и он заревел, заревел горько, безутешно, сотрясаясь всем телом, задыхаясь и стыдясь своих слез. Плакал он от радости, от пережитого страха, от того, что все хорошо кончилось, что Мишка Каюнёнок врал и никаких осьминогов в этом бочаге нет...

Глаза Володи потемнели, рот приоткрылся, и с испугом и недоумением смотрел он на Яшку.

— Ты... что? — выдавил он из себя.

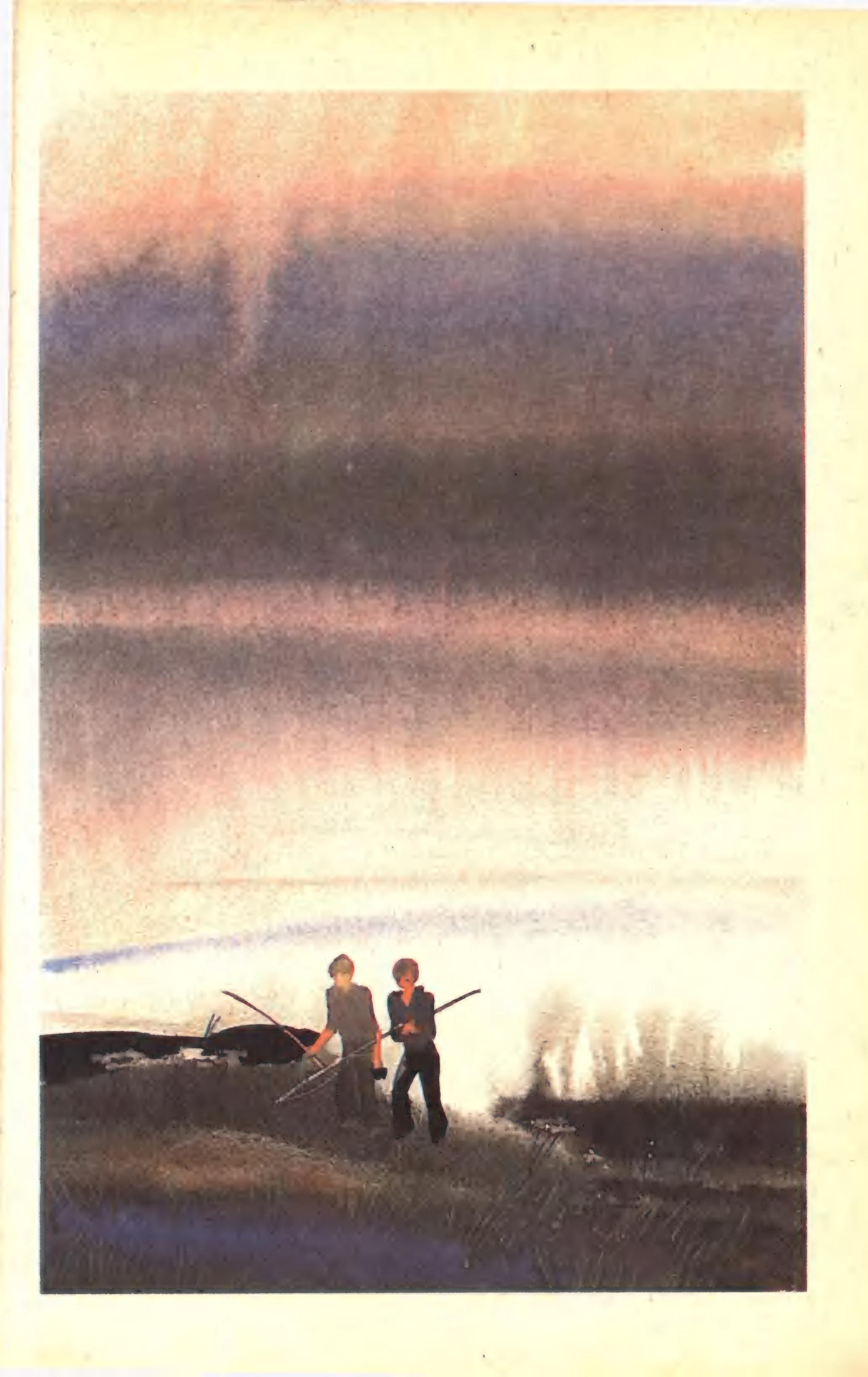
— Да-а... — выговорил Яшка, что есть силы стараясь не плакать и вытирая глаза штанами,— ты уто-о... утопать... а мне тебя спа-а... спаса-а-ать...

И он заревел еще отчаянней и громче.

Володя заморгал, покривился, посмотрел опять на воду, сердце его дрогнуло, он все вспомнил...

— Ка... как я тону-у-ул!.. — будто удивляясь, сказал он и тоже заплакал, дергая худыми плечами, беспомощно опустив голову и отворачиваясь от своего спасителя.

Вода в омуте давно успокоилась, рыба с Володиной удочки сорвалась, удочка прибилась к берегу... Светило солнце, пылали кусты, обрызганные росой, и только вода в омуте оставалась все такой же черной.



Воздух нагрелся, и горизонт дрожал в его теплых струях. Издали, с полей, с другой стороны реки, вместе с порывами теплого ветра летели запахи сена и сладкого клевера. Запахи эти, смешавшиеся с более дальними, но острыми запахами леса, и этот легкий теплый ветер были похожи на дыхание проснувшейся земли, радующейся новому светлому дню.

Роберт Иванович Рождественский

Родился в 1932 году

* * *

Нахожусь ли в дальних краях,
ненавижу или люблю –
от большого,
от главного,
я –
четвертуйте –
не отступлю.
Расстреляйте –
не изменю
флагу
цвета крови моей...
Эту веру я свято храню
девять тысяч
нелегких дней.
С первым вздохом,
с первым глотком
материнского молока
эта вера со мной.
И пока
я с дорожным ветром
знаком,
и пока, не сгибаясь,
хожу
по не ставшей пухом земле,
и пока я помню о зле,
и пока с друзьями дружу,
и пока не сгорел в огне,
эта вера
будет жива.
Чтоб ее уничтожить во мне,
надо сердце убить
сперва.

СОДЕРЖАНИЕ

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

ИЗ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ИЗ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

РАЗДЕЛ I

РАЗДЕЛ II

РАЗДЕЛ III

РАЗДЕЛ IV

Составители:
Вера Яновна КОРОВИНА,
Тамара Федоровна КУРДЮМОВА, Исаак Семенович ЗБАРСКИЙ

В МИРЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

6 класс

Заведующий редакцией *Г. Н. Усков*
Редактор *Л. А. Белова.* Младший редактор *Л. Б. Миронова*
Художники *Б. Гуревич, Н. Игнатьев, В. Кульков, М. Петров, В. Плаксин, И. Пчелко, М. Салтыков, И. Урманче*
Художественный редактор *Л. Ф. Малышева*
Технический редактор *В. Ф. Коскина*
Корректоры *О. С. Захарова, К. Д. Иванова*

ИБ № 7902

Сдано в набор 01. 09. 83. Подписано к печати 12. 04. 84. Формат 60 х 90 1/16. Бумага офсетная № 2. Гарнит. таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 20 + форзац 0,25. Усл. кр. отт. 81,5. Уч.-изд. л. 17,54 + форзац 0,45. Цена 1 руб. 10 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Просвещение» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 129846, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Отпечатано Карл-Маркс-Верк, Пёснек

1 р. 10 к.

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

МОСКВА „ПРОСВЕЩЕНИЕ“ 1984

Устное народное творчество